

**Василий Чернышев**

**I. МЕТАФИЗИКА ЛЮБВИ**

книга 2

**ПОЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ**

(РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ)

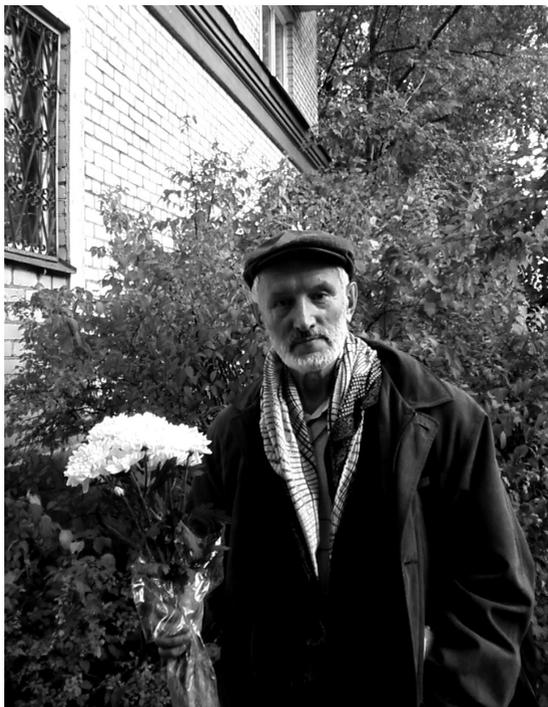
*Отказываясь от страдания, мы  
теряем пользу нашего горя...*

Блаженный Августин



Санкт-Петербург  
«Написано пером»

2018



ISBN 999-5-00000-000-0 © В. И. Чернышев. рассказы, 2018.

© А. И. Михайлов, Философская лирика, 2008.

© «NAPISANO PEROM», 2018

I

# РОМАНТИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ



## ПОЛЯНА В ЛЕСУ

(Майский роман)

*Вот я в ночной тени стою,  
Один в пустом саду.  
То скрипнет тихо дверь в рай,  
То хлопнет дверь в аду...*

А.Кушнер

### ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Прелестная Юлия!

У меня нынче температура 39 – это бы ничего, да в горле саднит, кашель и насморк. Я, видите ли, скис – и поскущел мир вокруг. И правда – противный холодный ветер, мрачное небо, выглянул в окно: люди бегут печальные и сердитые. Мне ни грустно, ни печально – мне – невозможно!

Я идеалист, но телесные недомогания переношу острее самых даже грубых материалистов. Вот чувствую, как воспаленная плоть заполняет мне душу, отравляет ее и не дает дышать и радоваться, – или, может быть, это душа простудилась и стучит изнутри кулачками в ребра, пытается вылезть в глазницы, застревает в горле, а бедное невиноватое сердце сбивается с ритма, глаза болят и слезятся, горло дерет сухой кашель. Но, как бы там ни было – мне плохо! Лекарства не помогают и домашние средства тоже – ни мед, ни молоко, ни медвежий жир! Я хватаюсь за письма к Вам как за спасение и вот воображаю, будто Вы пришли ко мне в гости, я все жалуясь, жалуясь, а Вы печально смотрите синими глазами, сочувственно киваете головой и даже – кладете холодную руку на мой лоб.

Вы – грустная утешительница.

Я не жестокий и все же радуюсь, что и Вам тоже плохо и Вы не отбросите эти листки и выслушаете мой бессвязный рассказ, мои бесконечные сетования, потому что Вы добрая, потому что Вам меня жалко, а потом, когда я выговорюсь, Вы расскажете мне о себе, и я пожелаю Вас тоже и сочувственно поглажу по плечу. Следовало бы нам влюбиться друг в друга, тогда мы объединили бы наши радости, как теперь объединяем печали, но, впрочем, кто знает, не стали бы мы еще несчастнее, если бы были счастливы.

А теперь мы полны жалости, и Вы покорно слушаете меня. Прелестная Юлия...

Я не стремлюсь к ясности – Вы терпеливы, к тому же мне ничего и неясно, я разболелся так сильно, что выделить ничего не сумею,

болит у меня все на свете. Кажется, все житейские неразрешимости свалились на меня, как рухнувший при землетрясении дом, и погребли под хаосом, распутать который я не в силах. Но, может быть, нет, не события внешней жизни, а разлетелись листочки рукописи, действие еще не прояснилось, сюжет нехотя стягивался в узел, и вдруг порывом ветра стопка маленьких листочков разлетелась, перемешалась, перепуталась, и я в нерешительности стою над пестрой грудой, не зная, что делать дальше. Не отыскиваются ни конец, ни начало, неизвестно, зачем и к кому приходит печальный случай и где хорошо, и что плохо. Сюжет рассыпался, и план построения позабыл творцом.

Вот и роман мой – действительность или иллюзия? Так мало осталось вещественного, одна лишь записочка краткая – от нее, и мое неотправленное письмо. С огорчением должен сознаться ... – Но нет, это уж слишком сегодня пал я духом, и из рук моих выпадает жизнь, как легко роняется чашка, когда болит сердце, а усталое воображение бубнит раздраженно, будто жизни в руках моих не было никогда, и только легкая пыль оседает беззвучно там, где пролетело стремительно облачко света.

Я в себя, конечно, не верю, не верил и раньше, так в безнадежную пору не заявлял я, что вот пойду и все переправлю, а только ждал кротко случай. И теперь не осмелюсь сказать, что жизнь засияет еще июньским нежным солнцем, что я воскрешу ее, соберу или склею. Но – жду июня, и робко надеюсь на странные капризы судьбы. И все же – разве не создал я что-нибудь и сам, соединяя мечту и случайность в призрачном образе, разве всецело полагался на случай, а не тербил, не стучался в него, как жеребенок о бок сонной кобылы?! Вот ведь и Вы... Да, надо стряхнуть хандру, надо собрать хоть немного листочков, припомнить все о Вас, а там, может быть, найдутся и другие...

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

Вы – моя поздняя греза. Ранние сны были о другой, я мечтал о любви, взаимности, счастья, и только пропитавшись бесплодностью снов, стал искать Вас – кроткого друга, умеющего выслушать жалобы, надежды, разочарования.

Впервые я увидел Вас семь лет назад, Вы переходили улицу, и Ваша легкая фигурка скользила над мостовой. Я был в счастливом, в восторженно мечтательном настроении, и все-таки и тогда я нуждался в Вас. Отозвались Вы охотно, несмотря на красоту и избалованность вниманием, – но тогда и все удавалось мне легче, и чашки не так часто падали из рук.

Вы торопились на свидание, я провожал Вас в троллейбусе, и десять минут в густой толпе сделали нас друзьями.

– Я живу в другом городе, – сказал я, – и нашими свиданиями будут телефонные разговоры. Вы будете дышать в трубку и уверять меня, что скучаете, а я буду разговаривать нежно и ласково.

Тогда Вам было восемнадцать, и через год Вы вышли замуж, и теплый Ваш голос остыл. Я потерял записную книжку, я позабыл телефоны, и снова один бродил по улицам.

Вы встретились мне опять в душный августовский день, собиралась гроза. Мы пили шампанское и читали стихи, но я слишком увлекся, я перепутал встречи, я слишком пристально начал смотреть Вам в глаза.

Прошла гроза, дождь размочил бумажную шляпу, которую я сделал из газеты, мы бежали по лужам и держались за руки, но Вы так прямо и гордо глядели, что я увидел, что убегаете Вы от меня.

И вот я опять Вас увидел. У Вас синие глаза, грустный взгляд, Вы тоже несчастливы, мои стихи не кажутся банальными, Ваши семнадцать лет более доверчивы, чем беспечны, я не прошу ответа, не назначаю свидания, не мечтаю о взаимности, не затягиваю разговоры, не беру Вас за руки, и, хотя и смотрю в Ваши синие глаза, но во взгляде моем только кротость.

Нынче долго стоял у окна. Я живу высоко над землею, и сверху мне кажется жизнь прекрасной. Школьницы идут из школы; малыши играют на детской площадке; стройная незнакомка бежит к моему дому, заворачивает за угол и пропадает – и никто не приходит ко мне и не поднимает голову вверх.

Мне становится страшно, что так вся жизнь протечет мимо моего окна, пока я ищу причин и страдаю, я одеваюсь тепло, и закутав горло, опускаюсь на землю. Народ пошел гуще, близок конец рабочего дня, хозяйки несут усталые сумки, девушки изящны и стремительны, но я не решаюсь остановить их бег.

Грустный, озябший возвращаюсь домой и складываю разлетевшиеся листочки, надеясь найти в них очертания той, имя которой так часто повторял я недавно.

### ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Я разговаривал по телефону, я только что сказал, что способен влюбиться в фотографию, сон, героиню романа пятнадцатого столетия – а в девушку, которой можно назначить свидание, влюбиться боюсь.

И в этот момент она подошла к телефонной будке и остановилась выжидающе.

– Вот! – закричал я в трубку, – вот пришла *она* и смотрит на меня...

Очаровательная, можно я угощу тебя конфетами?

Она удивленно на меня уставилась, и одна бровь поднялась высоко-высоко...

– Ну, давай! А у тебя хорошие конфеты?

– Еще бы! Я объездил полгорода, пока их нашел, и еле удержался, чтобы не съесть все сразу.

Я положил ей конфеты в ладошки, и она старательно переложила их в карман платяца.

– Тебя как зовут?

– Не скажу! Мама мне велела, чтобы я с незнакомыми на улице не знакомилась.

– Тогда познакомь меня с мамой, а она потом и нас познакомит.

– Ну ладно, хорошо, я скажу, только ты маме не говори, ладно?

Знаешь, как меня зовут? Меня зовут “Аленький цветочек”, потому что меня зовут Аленька, а мама называет “Аленький цветочек”. А еще она называет меня “мое горе”.

– А я тебя буду называть – “моя радость”, можно? Сколько тебе лет, “моя радость”?

Девочка распрямила ладошку и протянула ее мне радостно: “Вот сколько!”

Жила она в нашем же доме, чуть ниже, чем я, и вот как-то, запасясь конфетами, рискнул я пойти к ней в гости. Открыла молодая женщина, ее мама.

– Вы к кому? – удивленно спросила она.

– К Але.

– Аленька! – закричала мама в кухню, – разве к тебе, что ли, пришли?

Выпорхнула Аля, подбоченилась и сказала важно:

– Ага, это ко мне! Что, конфеты принес?

– Конечно! Но познакомь меня с мамой!

– Мамочка, познакомься, пожалуйста, это тот дяденька, с которым звонили мы в будке, правда, я еще не знаю, как его зовут.

Теперь мы встречались чаще, и она еще издали кричала мне “приветик!”, и я ей кричал тоже, не обращая внимания на взрослых. Аля при встрече начинала прыгать, петь песенки, вертеться в разные стороны и, надеюсь, радовалась мне больше, чем конфетам.

Однажды и она пришла ко мне в гости. Вошла независимо, прошла в гостиную и села на диван.

“Вот теперь начнется светская беседа”, – думаю я.

– У тебя конфеты есть?

– Есть...

– Ну так принеси их сюда!

Я принес конфеты, Аля встала.

– Ладно, я пошла.

– Почему же так скоро? А я хотел показать тебе книжки!

– Я еще приду! А теперь меня бабушка ждет, я буду кататься на велосипеде.

На прощанье я протянул руку. Аля пожалала ее и говорит:

– А между прочим, мужчине не полагается первым давать руку женщине!

– Я поэт, – протестую я. – Да и ты еще не женщина, ты – дитя!

– Но немножко уже все равно женщина, с этим ничего не поделаешь...

... Так быстро промелькнула розовая пора! Алю я долго не видел, потом тянулись будничные годы, я уходил и менялся, я позабыл видеть сны, и вот однажды снова кому-то звонил, и прелестная двенадцатилетняя барышня с маленькими сережками в маленьких ушках остановилась в ожидании у телефонной будки. В облике ее соединились вызов и обида, и, кажется, я догадался, что случилось.

– Тебя выставили с урока? – спросил я.

– Да... – протянула она, внимательно оглядела меня и со слезами в голосе добавила:

– Эта дура-учительница говорит, что у меня прическа растрепанная, и сережки носить не разрешает. А если мне так идет, что, я должна быть, как она, что ли?

Я тоже пристально оглядел ее, покачав головой даже, и остался доволен.

– Ты – прелесть! – сказал я ей сочувственно. – Такая жалость, что это не я твой учитель! Ну, не расстраивайся, меня выставляли из класса тоже, да и до сих пор жизнь меня мало балует, но я только наполовину сдался, а наполовину остался, как был. Если тебя будут снова ругать, подумай, будто нас ругают с тобою вместе, и тебе станет повеселее, правда?

– Ну, мама тоже на моей стороне будет...

#### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Прелестная Юлия! Сегодня у меня температуры нет, а уныния прибавилось. Все так же плохо, противно, жжение в глазах, и жить надоело. Писание отвлекает от мрачных мыслей – да, возможно; но оно не отвлекает от ощущения мрака.

Разве причина в том, что *она* меня не любит? Это лишь одна из многих причин мрака, а взятые вместе, они составляют “белый свет”. Пытаясь разделить и понять, немного понимаю, ибо разделение дробит и умножает, но не приводит к истокам, вот я дело “белый свет” и нахожу вместо него все цвета радуги, и желтый, и синий, и

фиолетовый, – но ни в одном из них нет Белого света, как нет в воде ни того, что горит, ни того, что окисляет. Падая с кручи и цепляясь за все былинки подряд и продолжая падать, разве скажу я, что в моем падении виновата слабость былинки? Так я падал раньше того, как она меня отвергла, и, быть может, отвергла меня она потому только, что слишком стремительно лечу я в бездну. Нужно уцепиться за всю кручу разом – но пальцы уже устали.

Прелестная Юлия! Ваш образ уже сложился, листки раз-метавшейся рукописи выстраиваются уже в порядок, я пишу на них номера и скрепляю, чтобы новый порыв ветра не разнес их дальше. Вы – наперсница моих грез, терпеливая слушательница, и, кажется, даже больше – кажется мне, что Вы рядом и помогаете мне собирать и складывать грезы.

Но я не вспомнил, еще не сложил я *ее* – разве лишь в том дело, что бы я влюблен? И разве я вправду влюблялся?

Нет, собирал я подснежники... Еще кое-где оставались островки снега, а рядом с ними сверкали маленькие капельки солнца, я выискивал цветы покрупнее и складывал из них огонь. Наверное, я влюблялся не раз, но на околице жизни были взгляды, встречи, видения, которым не судил случай повториться, и они вспоминаются ярче, чище и сладостней влюбленностей, имеющих имя. Вот припомнилась мне весенняя мокрая площадь, она в коротком школьном платье, волосы рассыпались по плечам, чуть-чуть полные стройные ноги, припухшие губы и – так рано! – обобщающий взгляд... Но я только и мог бестолково стоять и смотреть восхищенно. Стихи еще писал я – не ей!

Но – томила меня жизнь, ее железобетонная реальность, ее неколебимое течение, неразрушимая связь причин и следствий.

Увы, не могу я придти на ту же площадь и остановить угасающий луч. А он ведь сверкнул только мне, только один я увидел и пережил все – дитя и женщину, чистую радость духа и прекрасное безумие расцветающей плоти!

Я сопротивлялся жизни, я не хотел быть основательным и существенным, ибо более, чем объем и плотность, притягивало меня то, что бесплотно.

Шутники или циники в тайне вещества ищут разгадку тайн жизни, а мои мечты и иллюзии мало похожи на физику и химию и не интересуются движением молекул.

Всегда убегаю я на околицу, и, если другие заняты главным, то через меня протекают тени, отзвуки, намеки и недомолвки. Нет, не собираю креветок у берега моря, а слушаю шум прибоя и вдыхаю вкус и запах пены.

И в этих странных листках, которые я теперь собираю, нет места ни способам дробления камней, ни кладке каменных стен. Общее меня не занимает, я начинаюсь только там, где оно не царствует.

Смешное дело, которым я занят, не имеет общественной важности, и вовсе не дело в этом роде; оно от торжественной и серьезной работы литературного сочинительства отличается так же, как алхимия от науки, колдовство от медицины и тайное свидание от деловой производственной встречи.

Я не учу и объясняю, не сообщаю формулы житейских истин, а потому не нуждаюсь в одобрении, критике или анализе. Но из душевного мира мудрости зову я на зеленый луг, где растут подснежники, где бродит, распевая песни, моя единственная читательница, верящая в меня как влюбленная и внимающая моим словам так же, как я ее взглядам. Я пишу ей обольстительные письма, и цель моя – очарование. Я не подчиняюсь необходимостям и законам жанров, сколько бы их ни было, а складываю нечто из слов, оборотов, образов и фантазий так же, как в детстве складывал башню из кубиков, слушая восхищенно дыхание единственного зрителя, зачарованно наблюдающего не смысл строения – ибо цель его неведома нам обоим, – а только течение игры, и этот единственный не уходящий от меня зритель – хотя бы это была маленькая девочка, прижимающая куклу к груди – мне и нужен, и для него я пишу. Да только не слишком ли сложно, сухо и отвлеченно, испытывая терпение ее и искушая нетерпеливость? О, я верю в нее! Верю, что она не уйдет при неудаче, когда башня рассыплется и я начну сначала, когда и сам я запутаюсь в словах, наполовину непонятных ей, и даже когда начну твердить таблицу умножения или исчислять неисчислимо малые, протекающие сквозь пальцы словно песок, на котором строилась башня, – не уйдет и тогда. И если хоть весь мир отойдет, она останется со мною, ибо не услышит мнения мира, а слушать будет только меня!

Я расскажу ей и сказки и быль. Я открою ей сердце и все тайны его, и она разрешит своеволие и отступление от знаков препинания, и житейской мудрости, и правды, и общепринятого, и всем известного, и от всего, от чего захочу я. И если ко мне придут с Истиной и будут уверять, что Истина важнее всего, я не послушаю их.

Разве, идя на свидание, послушаюсь я виноградарей, зовущих собирать виноград? Ибо все виноградники мира готов я отдать за свидание и всякую Истину, которая для жизни. Ибо что мне Истина, которая для жизни, если и жизнь саму готов я отдать?!

Я ее люблю больше Истины – да и кто же вместо прелестной, смеющейся, как хор колокольчиков, и нежно рдеющей от робкого взгляда полюбит ту, в ком нет тайны, и кто стремится все обнажить и развязать, и понять, и измерить, и говорит так плоско, что я засыпаю, а сны вижу – о Ней?!

## ПИСЬМО ПЯТОЕ

На деревьях появились листочки, и день совсем летний – надо выходить из дому, забыв про жар, головную боль и слабость.

Вот напишу Вам страничку и выйду погулять: хотя и боюсь выползти из скорлупы, я потерял уверенность, иронический тон и чувство меры. Мне кажется, будто я был изгнан из мира, и потерянным и жалким возвращаюсь в него. Да я и всегда чувствовал себя слабым, а только притворялся гордым и независимым; силу же не любил за гладкость кожи, не знающей царапин, за слишком громкий смех, за упоение твердостью и правотою, за то, что она не знает нежной жалости, не испытывала унижения и того отчаяния, когда замолкают жалобы.

Надо выходить с высокоподнятой головою, играя в независимость и гордость, – а разве я смогу пройти мимо нее независимо, если она знает, что я ее люблю, а значит – зависим от нее?

Девочки идут из школы, расстегнув пальто, без косынок, звонко смеются, где-то и ее голос среди звонких голосов, а мне кажется, будто смеются они надо мной. Но совсем недавно голос ее звучал иначе...

Было начало мая, у дома сажали деревья, она проходила мимо...

– Нэлли! – позвал я ее, – давай вместе посадим дерево!

Она подошла с радостью.

– Давайте! А что мы посадим?

– Иву. Но я назову ее Нэлли и буду поливать и вспоминать о тебе.

– Можно, и я ее буду поливать иногда?

– Конечно! Тогда мы будем встречаться, выходя с лейками, а то я тебя почти не вижу.

Но видел я ее по-прежнему редко, следующая встреча случилась лишь через год, я догнал ее по дороге из метро, она шла с подругой, а я в трех метрах сзади. Вот развилка – дальше она свернет вправо или сначала проводит подружку.

– Катюша, ладно, я найду завтра, пока!..

Они расстались, и Нэлли пошла немного помедленнее.

– Здравствуй, Нэлли, я по тебе соскучился, а ты помнила ли обо мне?

– Да, я о Вас вспоминала тоже.

– Я тебя провожу, можно?

– Да, конечно!

– Мне отчего-то кажется, что теперь наши случайные встречи будут чаще, правда?

– Возможно ...

И вот наступил прекрасный май прошлого года.

Судьба моя изменила скучной прямой и очертила круг, в центре которого стояла она.

Я пролетал на велосипеде, я был упоен весной и движением, ребятишки гонялись стайками и налипали, как паутина.

Девочки ходили счастливые и важные, окутанные дымкой тайны, как дальний лес за железной дорогой.

Я двигался от дома номер 5 до дома номер 8, сворачивал под прямым углом, кружил и возвращался, пересекал дворы и заносился в скверы, меня носил ветер, как оторвавшийся осенний лист, или я носил ветер в себе. Открывался май, хлопали окна, зеленела трава, распускались почки, шел штурм здравого смысла и серьезности.

Ее розовая кофта мелькнула вдалеке; вот за поворотом зазвенел смех, в окне задернулась занавеска, но еще я успел увидеть две темных косички, испуганно убежавших, – она была все время далеко, но она была всюду, пространство, в котором я метался, было населено ею.

Я пытался охватить все, гонял мяч с первоклассниками, прыгал через веревочку, играл в волейбол, загадывал загадки...

Разве я влюбился в нее? Она была моею весной, это май прокатил меня по дворам, и я столкнулся с нею, как ветер, но я был скромненький, я не растрепал ее волосы, я лишь прикоснулся к сиянию глаз. Я возвращался с нею в прошлое, припоминал половодье снов и мимолетных взглядов, в нее я пытался вместить всех.

Юлия, Юлия, я не знал, кто она, и не хотел очертить ее образ твердыми линиями, я поливал маленькую иву и ждал, не зная, что будет. Ни разу не произнес я слово “Любовь” и всегда любил в ней только дитя, а не женщину.

И вот ей исполнилось четырнадцать лет, и наши пути пересеклись.

Я проезжал на велосипеде, она стояла с подругами.

– Девочки, кто из вас самая смелая, поедем кататься!?

Девочки смущенно замялись, я смотрел на нее. Она перестала смеяться, повзрослела, и как будто струна натянулась.

– Я о тебе помню всегда! – говорил мой взгляд.

– И я не забыла Вас, – отвечала она.

Катались мы долго. Проехали вдоль ручья и нарвали цветов. Бросали камешки плоские в воду. Смотрели на легкие облака над кромкой леса и беспричинно смеялись. А возвращались пешком, держась за руль велосипеда, и в первый раз в жизни были так близко. Я сказал ей почти все. Сказал ей, что я несчастен, что вижу сны и

верю им больше, чем дневным миражам, что жду неведомого и еще не отчаялся. Затем мы сидели на крылечке у школы, и я рассказывал ей забавные истории. Брызгал легкий дождь, вот побежала капелька по ее щеке.

– Ты не промокла?

– Нет еще ...

И я продолжал смотреть на нее, а она не спешила уйти.

Судьба с этих пор благоволила ко мне. Я не решался назначать ей свидания, но случай сталкивал нас почти всегда, когда я этого очень хотел.

Я начал верить в Бога, но разговаривал с ним всегда очень кратко.

– Милый Боженька, сделай так, чтобы я ее увидел! – просил я и выходил на улицу. Я делал круги и вызывал ее образ, и вот она сгушалась на дорожке, бегущей мимо школы.

– Тебе не кажется странным, – спросил я ее, – что я так радуюсь нашим встречам?

– А разве это плохо?

– Но десять лет назад я не решился бы с тобой, сегодняшней, разговаривать так серьезно. Мне кажется, что я шел к тебе долго, как идут на высокую гору, и только теперь подошел к тебе близко. Когда в моей душе музыка, я легко нахожу тебя, я предчувствую встречу и говорю себе: вот сегодня я увижу Нэлли. А в те дни, когда житейская пошлость проникает в меня как сырость, ты далеко от меня. Я не вижу в тебе маленькую женщину, вовсе нет! Так бы я мог влюбиться в цветок, в мечту, в сон... Я хочу дружить с тобою... как будто и я учусь в твоей школе, и посылаю записочку с предложением дружбы, я хочу такой дружбы, которую мог бы предложить влюбленный мальчишка... Ты будешь так со мною дружить?

Наверное, я сказал это Нэлли, когда она пришла ко мне в гости... Да, кончался июль, тихий летний вечер... я читал Нэлли стихи, и они ей нравились.

“Люби меня и нежно, и легко!” – говорил я в стихах, и Нэлли смотрела на меня почти так же нежно, как я на нее.

– Да... – прошептала она.

– И теперь я твой друг?

Нэлли наклонила голову, я взял ее руку на мгновение, но долго держать не решился.

Я повторял ее имя постоянно.

Это не Любовь, наверное, нет, но – “Влюбленная дружба”.

## ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Милая Юлия! Я Вас давно не вижу... День уже такой теплый, ребятишки бегают по двору в рубашках, а я все еще болен и лежу в постели.

У меня теперь болит сердце...

Еще много листков не разобрано, а мне и скучно и тоскливо, и с ужасом чувствую я невозможность собрать их воедино.

Два года назад ездил я в лес за саженцами, выкопал березку и елочку, замотал в тряпку и вез на багажнике велосипеда. Какими мелкими и невзрачными показались мне маленькие деревца в плену у моей прихоти!.. Если бы мог увезти я их вместе с лесом! Перед тем, как острая лопата разрежала дерн, смотрел я на них, как на чудо – но чудом они были лишь на тихой поляне в лесу...

Если бы мог написать обо всем!

Нэлли – лесной цветок...

Я выпал в прореху времени, и май закружил меня между домами...

Я видел сны и сочинял их днем...

Нет, ничего не сумел рассказать я!

Я не сумел рассказать Вам, как долго готовилась почва для ивы, как долго вытесняла меня жизнь на реальности, чтобы в грезах искать последнее утешение... И... не рассказал я о “Поляне в лесу”, на которой нашел темноглазую Нэлли.

А иногда сам себе вдруг кажусь я такою поляной. Мимо проходит поезд, на котором и Нэлли, и Вы, и все, чьи взгляды меня волновали.

Поезд возле нее не стоит, но можно спрыгнуть. Однако – слышу я радостные голоса и восхищенные взгляды ловлю, но миг проходит, и снова рядом никого нет.

Веселая публика приезжает на станцию, где все знакомо, обычно, близко... И “Поляна в лесу” кажется только странным сном...

А передо мною перепутанные листки, болит голова, и я не знаю, как окружить, заколдовать, переиначить, преобразить этот мир в подчиняющуюся мне волшебную грезу.

## ЛАНДЫШЕВОЕ ПОЛОВОДЬЕ

### 1

Игорь Алексеевич любил вспоминать. А были ли это истории действительно с ним случившиеся, или выросли они так, как жемчужина растет под створками раковины, хранившей первоначально всего лишь песчинку, ничем, кажется, неотличимую от других – никто не спрашивал; или, точнее, всякий почти думал, что вначале была песчинка, но Игорь Алексеевич думать не мешал, и предоставлял всем право – считать ли серебро прахом, или водяной прах на рассветной траве – серебром.

Вот и в субботний декабрьский вечер, окружив чашу с глинтвейном, гости приготовились услышать очередную историю.

Глинтвейн слегка обжигал губы. На столе горели две свечи. Чайник поставлен уже на конфорку, а для прозябших что-то где-то потаенно стояло, и Игорь Алексеевич счастливо подмигивал, к удивлению горячих внутри и непонимающих ... но уже *Муза восхищенной критики* забралась с ногами в кресло и приготовилась слушать.

Вот и в субботний декабрьский вечер ... но прежде объяснимся всерьез.

Кресло было старым и драным, а под одну ножку подложена дощечка. Мастер по обивке давно и безбожно запил, и кран на кухне капал не переставая. Свечи символизировали полу-уют. В прихожей половину занимал велосипед, одежда гостей толкалась в шкафу, но под стеклом сияли золотым тиснением бесчисленные ряды энциклопедического Брокгауза, выуженного из пыльного ларя пункта по сбору бумаги.

*Муза восхищенной критики* помешивала чай серебряной ложечкой с выгравированным цветком, *Сердитой критике* попалась ложка из алюминия, а Игорь Алексеевич окунал в глинтвейн мизинец и слизывал терпкую каплю. Все было наполовину. Так, в Александринском театре среди возвышенно роскошных декораций прилично одетый господин красиво и возвышенно декламировал стихи скучающей героине в бальном платье, а 13-е и 14-е кресла в 7-м ряду пустовали. На улице лил дождь. Чуть подалее гардероба на 2-м этаже, за поворотом из узкого коридора стояла, перегораживая коридор, большая деревянная рама с натянутым на нее полотном, и счастливые обладатели билетов на 13-е и 14-е место прятались за этой рамой от нескромных взглядов зрителей. Было тесно и пыльно. Они сидели не дыша. Он спрашивал. Она повторяла “не знаю...”.

Полу-уют означал незаконченность, дисгармонию. Необходимо было преодолеть в восприятии и переживании скованную нервность жеста и слова, стать плавным и ленивым, удлинить и запутать тени на потолке, отодвинуть угловатость материальности, не одухотворенной красотой или страданием. Так явилась чаша с горячим вином и шоколадные конфеты, а за ними явилась удлинённость и естественность интонации – воистину горячего и сладкого ищет не плоть, а душа, ибо плоть не нуждается в утонченьи наслаждения, и праздник плоти – праздник для души, а будни не духовны вне зависимости от того, плоть ли буднична или дух прозябает.

Глинтвейн допили, и прежде чаю и “потаенного” выслушали историю Игоря Алексеевича, которую он рассказывал со множеством отступлений, доходя в них чуть ли не до троюродной тетки покойного деда, а я передам проще и суше – но не упущу ли главное с отклонениями, не знаю, так только для пьяницы в вине главное – крепость, для гурмана же – букет, для скупца – стоимость, а для сноба – редкость.

## 2

Я застрял в командировке в Москве, в пятницу не успел разделаться с делами, и в полночь на ленинградском вокзале уже думал, не бросить ли монету, чтобы она решила, оставаться мне в Москве или ехать домой на уик-энд.

Душа была слегка помята. Компания в командировках находится быстро, но пить со случайными людьми для меня то же, что есть сильно пересолённый суп – горчит во всем теле и постоянно хочется сплюнуть.

Достал я крепко потрепанную записную книжку, перелистал страницы, нашел телефон тети Зины. Не виделись мы пять лет, но меня не она привлекала, а – девочка с темно-синими глазами в коротком ситцевом платье.

Проезжая через Москву душным летом 197... года, устал я ждать поезда, и приехал к тете Зине выпить чаю, но встретил ее уже выходявшей из дому под руку с Танечкой – они собрались поехать в музей, или в парк, или в магазин, т. е. пошли на улицу рассеять однообразие воскресного дня, проводимого дома.

Я не нарушил планов, и придал им некую определенность: тетя Зина направилась в магазины, мы же с Танечкой оказались на качелях, в течение двух часов то влетали к небу, то спускались вниз за мороженым или газированной водой.

Перемещение в иной мир было стремительно, как прилет кометы – с утра тянулись вокзальные будни, а в третьем часу дня мир наполнился музыкой, вложил в мою ладонь маленькую доверчивую руку девочки, соединил неразрывно синий небесный взгляд с

недоверчивым и усталым взглядом потрепанного полу-философа, полу-поэта и полностью лишил здравого смысла.

Так вот случилось, что в сердце моем за два часа вскопали и засеяли какой-то твердый угол, куда никто не заглядывал, и где раньше даже бурьян не рос.

И после в этот угол любопытные взгляды не проникали. Цветов не выросло, и ничего не выросло, но я помнил и знал, что в неотвердевающей почве лежат живые семена.

Помнил и в майскую полночь на Ленинградском вокзале, когда горькая слона жгла душу. И к тому же пить больше я уже не мог, ругаться не умел, бить стекла не хотелось – так что же мне делать было, чтобы успокоить душу, которую легко успокоить собаке или волку – становись против полной луны и вой тоскливо и горько – а человеку успокоить всякому нелегко, а полу-поэту кажется сложнее других?!

Телефон звонил долго, я уже чуть не повесил трубку – когда капризный молодой голос произнес “Алло!”

– Вы – Таня? – спросил я.

– Да.

– Вероятнее всего, что Вы меня забыли, так как виделись мы лишь однажды в жизни только два часа. Я не знаю, называть ли Вас на Вы или ты, так как в то время Вы были маленькой тринадцатилетней девчонкой с синими глазами... Я Ваш троюродный брат ...

– Игорь Алексеевич! – закричала Таня. – Знаешь что – во-первых, давай будем называть друг друга на ты, а во-вторых, ты можешь не поверить, но я почувствовала, что это ты звонишь, еще не услышав твой голос.

– А я тебя все время помнил, все хотел письмо написать ... знаешь, я ведь влюбился в тебя тогда без ума ... ты не знала?

– Знала.

– И что я тебя помню все эти годы?

– Я чувствовала. Даже не удивляюсь звонку, как будто знала и ждала, что ты позвонишь.

– Ты хочешь увидеться?

– Конечно! Завтра я на дачу еду, мама уже там, поедем вместе, хорошо?

Так вот назавтра, в субботу 12 мая мы встретились на Курском вокзале. Я боялся, что мы не узнаем друг друга, и потому я держал в трубочку свернутую газету, а Таня должна была быть в синей косынке. И предусмотрел я и другое неузнавание после столь долгой разлуки (или не разлуки? Уж не знаю, как назвать эти годы ожидания, когда судьба вновь поставит нас друг перед другом...) – так предусмотрел я возможность разочарования... Я потускнел, износился

за эти годы, стал похож на облезлого волка в ту минуту, когда ждет он полной луны.

Мог ли я ждать того волшебного очарования, того синеглазого сияния, когда качели взлетали вверх и я, боясь высоты, замирал от страха и наслаждения и все умолял – Танечка, ну, пожалуйста, потише, не так бесшабашно! – А она смеялась, показывала язык, кричала: трус, трусишка! А смотрела... о, Боже, как смотрела в ответ на мое восхищение! И я тогда поклялся запомнить минуты эти и думал – неужели она когда-нибудь забудет?

Встретились мы в половине девятого – для субботы мне казалось это рано, я опух с похмелья, чувствовал себя несвежим, невыспавшимся, и девушка в синей косынке тоже была заспанной, с припухшими глазами, одета по загородному, в выцветшей кофте, мятых брюках, старых сандалиях. Мгновенно бросилась мне в глаза будничность, обычность, упрощенность облика, и я с трудом сдержал свое разочарование, но зато в следующее мгновение перестал стесняться облезлого волка в себе самом, вздохнул покорно – что ж, редко снится один и тот же сон дважды, как волшебны краски на ранней заре, пока не взошло солнце или только краешек показывается – а через полчаса пыльно, туман очарования растаял, мир виден весь, мир весь только в видимом, невидимый мир растаял как туман – и был ли?

До дачи мы добирались часа два. Правда, как ни странно, я вдруг стал красноречив. Что я говорил тогда, уже не помню, но Таня слушала внимательно и начиная восхищаться.

А что говорила Таня, это мне не важно было. В женщине я видел и ценил только слушательницу, только восхищенную соучастницу моего вдохновения – она должна была зажигать меня, внимать моим речам, кивать иногда головой и говорить лишь то, что согласно было с моими словами. Я слушал не слова ее – я ловил ее взгляды, движения, жесты, улыбки, интонации и тембр голоса. Она могла говорить по-гречески и, может быть, это даже лучше было бы, ибо смысл не мешал бы воспринимать звуковую стихию речи!

Я был воплощенным сознанием, запутанность, противоречивость и чрезмерность его тяготила меня, и в женщине я искал музыкального отклика, безусловного эха ...

Я был плотью Духа, в ней искал я его поэзию, я был дошедшим до предела, до тупика пониманием, обесмыслившимся смыслом, растерявшейся целью – в ней любил очарование тайны.

Я был движение, не знающее куда и зачем, она – вечное пребывание.

Еще я мог бы сравнить себя с охотником, отправившимся за добычей, женщину – с цветущим лугом. Лишь заблудившись, лишь

забыв про цель похода, способен охотник вдохнуть полную красоту природы.

Воистину красиво лишь то, что бесцельно, в цели красоты нет.

На дачу мы приехали подружившимися, забывшими про детскую влюбленность, тетя Зина образовалась мне как сыну, и я прожил в райском саду, среди цветущего луга три дня.

### 3

В первый же день начались дачные приключения. Таня осталась помогать матери по хозяйству, а я, найдя в сених велосипед, выехал в ало сияющий мир.

Мир был затоплен майским солнцем. Солнце сверкало в велосипеде. Солнце наполнило мои глаза, согрело тело, темное все изгнало из меня.

В центре дачного поселка возвышалась большая угольная куча. Объехав ее два раза, понял я, что это – крепость перед хоромами царицы. На угольном холме сидел злой стражник и бросался камнями. Рабы толпились у подножия холма. На заборе около холма сидела, сохраняя чудом равновесие, шестнадцатилетняя девчонка по имени Ася, и улыбалась. Казалось, что она улыбается уже давно, но не устает. Она как будто и вовсе была не девчонкой, а явлением природы. Она улыбалась так, как улыбалась заря, или – в темноте улыбается розовое окно.

Безумные мотыльки кружились вокруг ее улыбки, камни летели в них, стражник при попадании дико вопил и исполнял индейский танец.

Я объехал холм в третий раз и понял, что это не царица, это Богиня какого-то древнего племени, и ей необходимы человеческие жертвоприношения.

– Эй ты, хмырь! – завопил страж. Он был бос, светловолос, колени ободраны, под глазом синяк. – Тебе что, жить надоело? Убирайся вместе с велосипедом, пока не проломил тькву!

Я отъехал немного, вынул белый платок и поднял над головой.

– Ты что, сдаешься? Пленных я не беру!

– Нет, я хочу в переговоры вступить.

– Проваливай без всяких переговоров!

– Аська! – закричал я в азарте. – Хочешь на велосипеде кататься?

– Аська, не смей! Обоих убью!

Аська загадочно покачала головой и улыбнулась еще ослепительнее.

– Слушай, Навуходносор, тебя как зовут?

– А тебе какое дело?

– Сережа его зовут ... – промолвила богиня.

– Сережа, я буду штурмовать тебя!

– Как штурмовать? – заинтересовался он.

– А вот сейчас увидишь.

Я отъехал далеко, на верх улицы, и бешено закрутил педалями. С дикой скоростью несся я на холм и завопил еще страшнее:

– Ура! ... а... а... !

Сережа еле отскочил, на вершине холма велосипед дернулся, я вылетел из седла, перевернулся два раза через голову и врезался в забор как раз там, где сидела Ася. Удивительная Ася удержалась на троне и продолжала все так же улыбаться.

Я лежал.

– Ты что, сдурел? – подбежал ко мне Сережа.

Я молчал. Глаза мои были плотно закрыты.

– Слушай, Ася, а может он разбился? – в голосе послышалось опасение.

Сережа стал меня поднимать. Я не подавал признаков жизни, и когда он отпустил, мешком повалился на траву.

– Аська, беги скорей за водой, он без сознания! – И тут я с воплем укусил его за плечо, вскочил на ноги и заорал: Ура! Победа! ... Но воды надо принести, я ранен ...

Я поднял штанину, по голени бежала кровь.

Страж оказался не таким уж жестоким, он даже оказал мне первую помощь.

– Слушай, хочешь на велосипеде покататься?

– А ты не будешь к Аське приставать?

– Не буду... пока...

– Ну ладно, тогда можно.

Он уселся на раму и мы покатали по улице. Недавняя вражда тут же забылась, и через полчаса Сережа предложил мне с утра отправиться на рыбалку.

#### 4

Солнце еще не вставало. Еще не занялась заря, а только побледнело на востоке небо и воздух стал светло-синим... Я спал на чердаке и видел странный сон: голубые камни падали с неба, а я ловил их на железную сковороду... Один, два, три... На десятом камне раздался страшный звон, я открыл глаза.

Окно зияло дырой, возле головы лежал булыжник. Я выглянул.

Сережа выглядывал из-за угла.

– Ну и засоня ты! Вставай скорее, всю рыбу прозеваем.

– Ой, как спать хочется!

Но, нечего делать, по холодной росе отправились мы к речке, и уселись возле удочки – а я в жизни ни одной рыбешки не ловил и не поймал.

Промучился так часа три. Поймали мы трех окуньков и какую-то безымянную мелочь, да и я даже что-то поймал. Но в одном отношении прогулка была полезной: узнал я всех Аськиных ухажеров, и кто из них опасен, а кто не опасен, и влюблялась ли Аська, и целовалась ли она. Оказалось, уже в этом году целовалась два раза, но им не поздоровилось. Один уже третий день из дому не выходит, глаз совсем заплыл, а другой в Москву умотал.

– Знаешь что, у меня еще идея появилась, – сказал я – давай их велосипедом давить! Разгоняемся и врезаемся – всмятку! Все же таки велосипед – оружие! Древние на колесницах врезались в неприятельское войско, один царь на колеснице против тысячи воинов сражаться мог, а чем велосипед колесницы хуже?!

## 5

После завтрака у Сережи я взял отпуск. С Танечкой условились мы пойти за ландышами; недавно шли дожди, а теперь стояла теплынь, и ландыши должны были процветать.

Вышли за околицу, прошли мимо запруды, углубились в лес, а идти было так хорошо и весело по мягкой дороге, и я не заметил даже, что держимся мы за руки, и беспричинно счастливо смеемся, и я не говорю ни проповедей, ни поучений.

В одном месте встретилась нам широкая лужа, Таня с сомнением взглянула на босоножки и остановилась.

– Хочешь, перенесу тебя на руках?

Я взял ее на руки, оказалась она легкой и бесплотной, перешел через лужу и дальше все шел по дороге, не опуская ношу. Таня обхватила меня рукою за шею и прильнула так, как ребенок в счастье или при испуге, и снова оказались совсем близко синие глаза и нежные губы.

И тут что-то случилось со мною ... Да, может быть, не со мною случилось, а с миром, в котором был я, но переменялся и я сам, и весь мир переменялся.

Я никогда не жил так, как живет человек обычно, то есть не переживал жизнь непосредственно, как она происходит со мною. Нет, жизнь со мною не происходила. Я жизнь сочинил и придумал еще задолго до нее самой, пережил, увидел ее в грезах, снах, воображеньи, размышлении бесчисленное число раз, и все то, что не походило на придуманное, было не жизнью, а вокзальным ожиданием, сном, пережиданием, антрактом между действиями

жизни. Ждал и переживал я то, что воплощало в явлении ранее созданное мною в душе. Так, еще в детстве создал я свою любовь. Она была милосердие и Вера, она была дитя и женщина вместе, и этот миг, миг безграничного доверия, когда самозабвенно полудетская рука обовьет мою шею и как дитя женщина будет кротко покоиться на моих руках – о, этот миг ждал я целую жизнь.

Только этот миг я и ждал, и только он мне и был нужен, а что за жизнь будет вслед за ним, да и будет ли – о, об этом не думал я. А может быть никакой жизни вслед за мигом этим не нужно было, всякая жизнь должна была уже остановиться и прекратиться.

– Остановись, мгновение! – воскликнул я. – Бóльшего я не хочу.

## 6

Все было в сладком тумане с тех пор. Я обедал, катался с Сережей на велосипеде, разговаривал с тетей Зиной – но все было в сладком тумане, и я не слышал своих слов.

На третий день рано утром с Сережей мы снова поехали за ландышами – он знал такую поляну, на которой ландыши расцвели как море, и на эту поляну мы поехали.

В море мы утонули. Я был пьян, а опьянел еще больше. Охапки цветов закрыли велосипед, лежали за пазухой, в карманах, и я тосковал лишь, что всю поляну с собой унести не могу.

Кажется, снова и снова восклицал я – остановись, мгновенье! – но это было то самое мгновение, которое уже остановилось вчера.

Сереже я сказал, что перед вечером уезжаю и приду проститься, и грусть на него находила временами, как облачка в этот майский день проплыли над ландышевою поляной – но облачка проходили быстро, и снова поляна сияла цветами и светом.



Таня... Таня удивлялась, широко открывала глаза, а я осыпал ее ландышами... но среди сладкого туману облачка появлялись и появлялись...

В пять часов дня пошел я проститься с Сережей. Он сидел на угольном холме, у подножия его было пустынно, Аси не было.

– Вот я и пришел...

– А ты совсем уезжаешь?

– Совсем.  
– И что, в июне разве не приедешь?  
– Нет.  
– И что, летом совсем не приедешь?  
– Нет, больше не приеду.  
– Слушай, а может быть приедешь, а? Ну хотя бы в будущем году?

... Что, неужели больше никогда не приедешь?

... Мы помолчали. Сережа стоял, опустив голову.

– Подожди меня, я сейчас приду, – вдруг сказал он и стремительно ушел. Через минуту за калиткой послышался шепот, а потом громче... – Ну, кому говорю, иди! Человеку проститься надо! Ну, дура!... И за что только дур таких ...

Калитка открылась. Смущенная вышла Аська, не богиня, а робкая красивая шестнадцатилетняя девочка, за руку ее держал крепко Сережа.

– Вот, Ася... Ну, что, Вы поговорите, я пошел. Ну, что, всё? Ну, я пошел. Простись с человеком, Аська. Он больше не приедет. Ну, всё, ладно. Ничего ... Ладно... Все равно...

Все равно хорошо, что ты приезжал. Я тебя вспоминать буду. Все равно.

И Сережа повернулся и стремительно побежал за угол дома.



## БЛАГОСЛОВЕННА БОЛЬ

**С**уббота наступала, благословенный день, окно уже начало синеть поздним ноябрьским рассветом.

Будильник не звонил, карманные часы остановились – в субботу часы в доме не шли до обеда, пока с дежурства не возвращалась жена и сын из школы. Вероятно, было около девяти... Комната, наполненная книгами, дышала мирно и ласково, в ней душа чувствовала себя так уютно, как в морозный день уютно в сухих и теплых валенках. Медленно проступали пятна фотографий на боковой стене, в правом углу матово поблескивало рифленое стекло старинного книжного шкафа, дубовый стол на львиных ногах еще спал темно и бесформенно, и груда книг на нем топорщилась как грива.

Всегда было счастьем выплывать из ночи в ласковое субботнее утро и негу лени пить беззаботно и томно, как неяркий солнечный луч на закрытых ресницах, словно из уличного ничто входя в привычный и милый зал филармонии – но сегодня теплая шкура культуры не грела.

Слишком резко и глубоко заявляла свои права та, вторая жизнь, в которую Юрий Александрович погружался, засыпая. Оглядев печально привычные и милые ряды книг, он снова закрыл глаза и стал вспоминать вчерашний разговор у невропатолога, уже было поздно, половина девятого, прием кончался в девять, но так как других посетителей не было, то врач не спешил и не перебивал; и больше того, казалось, что и ему захотелось неспешно посидеть за разговором.

“Жаль, что *не взял с собой*, – подумал Юрий Александрович, – и уже не успеть в магазин... Ну да ладно...”

– Видите ли, – начал Юрий Александрович, – мне показалось, что с Вами можно откровенно говорить, поэтому я не буду бродить вокруг да около, а скажу основное, а Вы уж о деталях сами спрашивайте ... Ну так вот – я сошел с ума! Тронулся, *з глузду зыхал*, как говорят на Украине, или черт его знает, что со мной случилось!..

– Хм, интересно! Но это не так уж необычно, дорогой мой, все мы немного не того, а иногда и много не того, только одни умеют скрыть свое сумасшествие и поэтому считаются нормальными, а другие скрыть его не умеют. Вот, например, я убежден, что я – гений, но – молчу! А впрочем, почему Вы ко мне пришли, а не к психиатру?

– К психиатру нельзя! Во-первых, они сами так глубоко повернуты, что уже и не развернешь, а во-вторых, еще и опасны – чуть что – зовут санитаров и в желтый дом! Однажды я столкнулся уже с одним из их братии, в военкомат вызывали, прошел глазника, терапевта, а потом к хирургу надо было, а я кабинет перепутал и к психиатру попал.

– На что жалуетесь? – спрашивает.

– Да так, пустяки – говорю – палец болит... Да я лучше в поликлинику схожу.

– А голова не болит?

– Нет, не болит, с похмелья только, но и то редко ...

– Закладываете?

– Ну, как сказать ... как все.

– Как все – это ежедневно, или реже?

– Ну, что Вы, конечно, реже! По настроению...

– А палец давно болит?

– Полгода.

– Тоже с похмелья? (Это он пошутил так...)

Ну, я тоже пошутить решил и говорю:

– Нет, не с похмелья, а с выпивки. С девушкой одной стоял у забора, хочешь, говорю, пальцем забор проткну?

– Ну, и?

– А за забором собака на цепи сидела, она и тянула за палец.

– Так и не заживает до сих пор?

– Нет, у собаки все зажило, а у меня вот палец болит...

Он такую кнопочку в столе нажал, тут и явились двое, в халатах...

– Да, дорогой, психиатры – народ суровый, они чужих шуток не понимают!

Да и своих, по правде сказать, тоже... Но, все-таки, почему Вы решили, что сошли с ума, в чем это проявляется?

– Видите ли, я начал видеть странные сны ... или, скорее, не сны даже, а словно воображение сгустилось чрезмерно и стало и сном и действительностью. Вначале я легко засыпаю, а среди ночи, проснувшись, в полудреме погружаюсь в воображение и сочиняю истории, в которых и действую, но и одновременно остаюсь в этом мире и наблюдаю за действием со стороны, то есть одна моя половина мечется и страдает, а другая благоденствует в роли зрителя в мягкой постели. Но беда в том, что я погружаюсь в вымысел настолько, что именно он становится главной и реальной жизнью, и я действительно погибаю в тяжелых волнах в то время, как мое другое я стоит на берегу и безучастно следит за гибелью. Впрочем, во мне ли самом все дело? Если бы удушливый сон затягивал только меня, то не проще ли было бы очнуться, стряхнуть наваждение и, повернувшись на другой бок, перейти в другой сон?

Вначале я почти так и сделал. Мне приснилось снежное поле, воронки, серое небо, короткие столбы с рядами разорванной колючей проволоки, и раненый мальчишка лет шестнадцати, он был ранен в бок, страдал от боли, холода и безнадежности, не мог двигаться, а на этом поле оставался один.

Во сне я был ранен тоже, но легче, в ногу, ползти надо было куда-то на закат солнца, там ждало спасение, но я знал, что если сам, быть может, и доползу, то он помощи не дожидается, замерзнет, да и от отчаянья ослабеет и умрет. И вместе с тем мне и одному ползти было нелегко, а еще и его тащить я бы совсем не смог. Когда я подполз к нему, он был в забытьи, но только тронул его за плечо, и он увидел меня, так от радости даже заплакал: “Дяденька, говорит, родной (я как теперь с бородой был), ты ведь меня не бросишь?!”

Я перевязал его, руки у него заоченели, оттер, согрел и подмышки ему засунул, устроил его на снегу, как мог удобнее, из фляжки дал глотнуть ... “Ну, говорю, лежи, а я помощь пришлю” и пополз. Оглядываюсь, а он такими глазами на меня смотрит, как бы без осуждения, кротко, но так, будто теряет больше, чем жизнь, а – веру в любовь и сострадание, как если бы собственная мать его в беде бросала. Глянул на меня, и голову отвернул.

Верите ли, я сам заплакал, сердце у меня словно на части разорвалось, и к нему снова пополз, но только поворотился, и он еще не увидел меня, как проснулся.

Щека мокрая, и жена проснулась – что с тобой, спрашивает, тебе плохо?

Я кое-как объяснился с нею, повернулся на другой бок, что бы крепче заснуть, и вдруг глаза его вспомнил, и словно сам пережил то отчаянье, что свалилось на его еще невинную душу. А он ведь и не увидел, что я к нему вернуться хотел. С тех пор каждая ночь была пыткой мне. И только с одной целью ложился в постель – вновь очутиться на снежном поле. Я не мог жить, помня отчаянье, с которым он умирает.

Конечно, я понимал, что он мне никто, что его как будто вовсе нет и он не страдает, и поля нет, и отчаянья нет, и что это не более, чем сон, который живет только в моей душе и нигде больше – но понимание меня не утешало. Так, приходя проститься с умершим, разве не знаем мы, что он не узнает, пришли мы к нему или нет – а ищут неизвестные могилы детей иногда десятилетия – во имя чего? Вот я для примера расскажу совсем ничтожный случай, и уж там во внешнем мире ровно ничего не изменялось, поступи я так или иначе, и ни добра, ни зла не было бы ни в том, ни в другом, но я видел ясно, чувствовал и переживал, что где кончаюсь я и начинается внешний мир, и где внешний мир кончается, а начинаюсь я – не мне судить.

Шел я больной и усталый по вязкой глинистой насыпи, путь был бесконечен, и бесконечен тягучий дождь, а на плечах был тяжелый и мокрый, избивший в кровь плечи рюкзак. Я ни о чем не думал, ни на что не смотрел, а шел покорно и тупо, боясь, что упаду и не захочу подниматься. И вдруг увидел посередине грязной дороги свежий алый, словно горячий уголь, цветок тюльпана. Дождь должен был смыть румянец с его лепестков и самые лепестки вбить в грязь и запачкать, другие прохожие могли наступить на его хрупкое тело, не заметив или поленившись обойти, но я не мог наклониться, чтобы поднять его, потому что неминуемо упал бы на колени и затем опирался бы на грязную глину руками, чтобы встать. Да и душа устала и не хотела отзывать ни на боль, ни на красоту. И я прошел мимо, и пошел дальше, уныло волоча ноги, оглянулся раза два и даже мысленно попросил его простить меня и понять. Уже я вышел на твердую дорогу и впереди за рекой видел селение, а горячий уголь цветка никак не хотел погаснуть и забыться.

И вдруг я понял, что уже не смогу забыть его, а он занозой останется в душе моей и будет саднить. И если и через год в приятной беседе за рюмкой душистого вина я заговорю о красоте и сострадании, и скажу, что нет большего греха, чем неотзывчивость, и что неотзывчивые – это люди, у которых умерла душа – тихий и робкий голос прошепчет мне: а разве ты не бросил цветок на дороге и не поленился поднять его?!

И что же мне оставалось делать, как не вернуться по вязкой глине, и снова тащиться по ней с неодоушевленным укором в руках, а после плакать от усталости, проклиная отсутствие силы и твердости в душе моей?! О, Господи, разве не втаптывают в грязь живые цветы, не сжигают иконы и рукописи, не сокрушают брезгливо и злобно дворцы и храмы, рощи и улицы, не отравляют реки и не убивают тысячелетние города – и не плачут и не сокрушаются, а напротив почтены почитанием? За что же душа моя так беззащитна и так бессильна быть гордой, холодной и твердой, и подобна мягкому воску, который легко плавится и сгорает, а не подобна твердой скале, или свирепому вепрю, или остророгому зубру и не привлекает тех, кто молится силе?

Да, не мог я забыть ни брошенный цветок, ни человека, оставшегося умирать на снежном поле и последним чувством в жизни испытать безысходность брошенности.

Я пытался вернуться в сон с большей страстью и мукой, чем влюбленный пытается вернуть изменившую ему подругу. Я молился Богу, но мольбы не помогали. Я решил продать душу дьяволу, но дьявол ею не прельстился. И когда я уже отчаялся совсем, когда уже в миллионный раз представлял в воображении все, что увидел в том

первом сне, и ничего не получалось, и он по-прежнему отворачивался, не зная, что я возвращаюсь – я вдруг закричал из всех сил и – на ничтожно малое мгновение – заметил, что движение его прервалось, хотя одновременно прервалась и иллюзия, и проснулась жена. Но с каждой следующей ночью дело шло успешнее, и наконец наступил момент, когда я ухватился за ткань несуществующего бытия, и стал входить в него легко, как входят в собственную квартиру.

Да, конечно, я знал, что когда ползу по снежному полю, то остаюсь в собственной квартире – но так же ясно я знал, что он умирает от раны в боку, и может быть не от меня зависит, останется ли он жив, но будет ли он утешен, или безутешной скорбью захлебнется душа – зависит от меня.

– Вы извините, – прервал его невропатолог, – у меня прием заканчивается. История очень занятная, но, может быть, Вам действительно следует сходить к психиатру?

Юрий Александрович стусевался и пробормотал неуверенно:

– Да, да, я слишком увлекся ... видите ли, я фантазер и часто смешиваю быть и небылицу, а пришел я к Вам с жалобой на бессонницу ...

– Ну, что же, я пропишу Вам снотворное, но к психиатру Вы все-таки сходите ...

## 2

Юрий Александрович тосковал, и тоска его не проходила. Приближались роковые события, он их предчувствовал, более того, он звал их, он изменял течение времени, и уже скоро время должно было вынести его в водоворот, в котором захлебнуться предстояло его собственной душе – и хотя в любое время, прежде чем события примут необратимый характер, Юрий Александрович мог выйти из игры и отойти от стола, и никто не заметил бы его отсутствия – он знал, что не сделает этого и пройдет свой путь до конца.

Но тоска его мучила все сильнее, и пытаюсь с ней справиться, он выбился из привычного стиля жизни, то вдруг одержимо ходил в театры, то бродил по случайным знакомым, то просто бродил по улицам.

И в эту субботу не усидел дома, а ринулся на Невский, прошел его весь, проехал на Васильевский, оттуда на Театральную площадь, машинально купил бутылку водки и во втором номере автобуса доехал до Литейного проспекта. Твердого плана у него не было, и действовал он необдуманно, но – отчасти – под влиянием вдохновения. В этот раз вдохновение приняло образ очаровательной девушки лет двадцати, которая заняла свободное место рядом с ним –

хотя были и другие свободные места – и, открыв книгу, углубилась в чтение. Это был четвертый том сочинений Аристотеля, недавно поступивший подписчикам, который и Юрий Александрович на днях выкупил, но, откровенно говоря, еще не раскрывал – как, впрочем, и большинство книг в своей достаточно обширной библиотеке. Кстати сказать, для характеристики Юрия Александровича не мешает остановить внимание на этом обстоятельстве; действительно, он не только не был прилежным читателем, но даже утверждал, что книги покупает не для того, чтобы читать больше, а совсем напротив, ибо по мере того, как их число возрастает, средняя вероятность, что некоторая книга окажется прочитанной, разумеется, падает. Более того, Юрий Александрович вообще не любил утилитарного отношения не только к людям, но и ко многим вещам, а уж тем паче к книгам, к которым он относился, быть может, еще лучше. Книги он любил – как женщин и цветы – он приходил к ним на свидание, брал в руки, словно обнимая, рассматривал переплет и титульный лист, раскрывал там и сям – но – не читал.

Так же загадочны были его отношения с женщинами, он любил знакомиться и ухаживать за ними, но прямо оскорблялся даже невинным намеком на то, что целью знакомства является желание завести роман – конечно, если этим словом называть любовные приключения известного характера.

Но некий фантастический непостижимый роман затягивал их всех независимо от воли действующих лиц, как водоворот затягивает все, что неосторожно оказывается рядом – плелись интриги, писались записки, устраивались пикники и вечеринки, сцены ревности перемежались объяснениями в любви, выяснения отношений кончались ссорами, перемещением акцентов, предпочтений, утешений – но кто кого любит и кто от кого страдает, выяснить было решительно невозможно.

К досаде идеалистов, желавших заполучить Юрия Александровича в свой лагерь возможно полнее, любовные драмы носили не вполне идеальный характер, ибо в стихах воспевались не одни душевные добродетели, но и ланиты, и очи, клятвы давались любить до гроба, по телефону передавались нежные поцелуи, а однажды одна из пылких героинь и самым натуральным образом поцеловала Юрия Александровича в щеку. Правда, и материалисты не могли торжествовать победу, ибо, увы, интонациям голоса, взгляду, наклону головы Юрий Александрович придавал гораздо больше значения, чем даже пожатью руки, а многие важные для материалистов вещи не замечал вовсе, и доходил в своей неспособности видеть очевидное до того, что, когда одни из фей, которой он поклонялся, совсем как самая обычная ведьма начала присылать на свиданья вместо себя

подругу, так как сама вышла замуж, то он был в неведении. Правда, подруги были похожи.

Но в последние недели роман буксовал, записки не писались, телефон бездействовал, и Юрий Александрович чаще стал бросать тоскливые взгляды на счастливую очередь в винный отдел, а то и сам становился счастливым.

Сегодня приятная тяжесть уже оттягивала карман, а рядом, так близко, нежные губки шевелились от усердного чтения, и глянув искоса, Юрий Александрович прочел на 130-й странице: “Приниженный – это тот, кто считает себя достойным меньшего, чем достоин. Но кто достоин великого, а считает себя достойным малого, тот кажется, пожалуй, самым приниженным – каким же он считал бы себя, если бы не был столь достоин?”

Юрий Александрович был потрясен соединением в одном времени и одном лице нескольких неординарных явлений – молодости, красоты, привлекательности, интереса к философии и – что было удивительнее всего – явно выраженного удовольствия от его внимания. Собираясь выходить, девушка смотрела на него удвоенно приветливо и ожидающе, словно приглашая выйти вместе с нею.

На остановке у перехода он замешкался, замигал желтый свет, девушка решительно пересекла проспект и оглянулась. Он вытягивался вслед за нею, уже почти летел, но еще не решался от земли оторваться, и тут случилось чудо – она приложила свою нежную красивую маленькую руку к губам и послала ему воздушный поцелуй.

– Стойте! – закричал Юрий Александрович и рванул в догонку и напротив Большого Дома взял ее за рукав.

– Погодите немного, только три минуты! Я или безвозвратно уроню себя в Ваших глазах, и тогда не отвечайте мне ничего, оставьте иллюзию сочувствия, взгляните, например, на часы, и зашпешив по делам, которые, конечно же, подождать не в силах, молча, но без осуждения, отойдите от меня потихоньку! – или – на что я совсем не надеюсь, не смею надеяться – уверьте меня, что законы реального мира хотя бы на мгновение утратили бдительность пусть только в этой части пространства, и мы пребываем в Чуде.

Я в смятении, горит душа, мне нужно хотя бы выговориться ... но нет, мне нужно большее, нужно, чтобы меня пожалели и утешили! Мне нужно утешение, но сверх него еще нечто необъяснимое и неожиданное, как будто я иду в темном глухом лесу, в безнадежной, бесконечной, безысходной и страшной чаще – и вдруг посредине пустого и мрачного *ничто* открывается ослепительная цветущая долина и как призрак, мираж – горит в лучах закатного солнца

прекрасный дворец. Вот я теперь в безысходной чаше, и уже не знаю, остались ли надежды. Мир не рушится вокруг меня, ни голод, ни жажда меня не гложут, ни смертельная болезнь, стены домов прочны, деревья растут и зеленеют весной, и люди веселы и беспечны. Круто и крепко заварена похлебка жизни, которую жадно и торопливо поглощают нетерпеливые гости, званные на кипучий и радостный пир. Но я не зван, и похлебка моя не солонa, все та же жизнь, что и у всех, меня окружает, но соли нет в ней, и сухая ложка дерет больно горло. Темное пряное вино налито в высокие цветные бокалы, и нежен и остер аромат его, но в моем бокале вода. Все та же жизнь, что и у всех, меня окружает, но нет вина в ней, и события не опьяняют. Мощно гремят трубы оркестра на званом пиру, дирижер в черном фраке исступлен и безумен, и самозабвенно играют музыканты. Влюбленные пары танцуют. Поэты слагают стихи. Риторы декларируют и ораторы вторят, проповедники утверждают и пророки разрушают – и разве не то же ли самое вижу и я, забившийся в темном углу за вешалкой, чтобы не увидел швейцар и не вывел на грязную улицу? Но музыка жизни погасла, и стертые и невыразительны слова и звуки. Мир вещей незбылем, и для меня, как для всех, холоден снег и мокра вода, тяжел гранит и колюч шиповник – мир вещей жив и действителен – но душа мира умерла, и вода не утоляет жажду, белый снег не очищает, шиповник не радует глаз – вот отчего я нуждаюсь в утешении и чуде и ишу его.

Если Вы безрассудная, если не от этого мира, из которого я из последних сил выдираюсь, если я не обязан взвешивать слова и поступки, быть расчетливым как торговец, и точным как землемер, а могу нелогично и отчаянно швырять последний пятак как игрок – то, что бы я ни сказал и ни сделал теперь, события подчинятся не пресной обыденности, а непредсказуемому капризу сна.

Быть может, нужно порвать последнюю нить, которой чудесное привязано к бездействию, отпустить пружину и вступить в поток непривычных событий. В этом городе миллион юных дев и молодых женщин со смехом или смущением отшатнутся от моих слов и горячего воображения – но неужели не будет даже одной, которая решится расцеловать железобетонную предопределенность поступков, свершаемых по всеобщим правилам и законам, которая решится захотеть иного, чем приказано мироустройством?

“Дети, напишите букву “а” – говорит учитель на первом уроке, и пишут покорно и прилежно – но эта единственная разве не напишет “я”, или не засмотрится в окно, когда все смотрят на доску?”

Неприлично знакомиться на улице – а она и суженого своего найдет в канаве! Непривычно изучать древнегреческий – а она изучит санскрит! В обществе безудержного сложения она

единственная вычтет, и когда останется нага, увидит Бога! Среди благопристойности она останется милосердной, среди правильных – праведной, и около праведных – святой! Благонамеренность вызывает у нее зевоту, и когда все спят, она в серебряном свете месяца купает свои длинные волосы! Разве теперь не чудо вступает в действие, у которого нет ни законов, ни правил, но внутренняя соразмерность, соответствие, верность красоте? Разве не ожидание чуда питает воображение, и разве не воображение наполняет чудесное плоть?

О, это воображение, неприхотливое и капризное, неограниченное и непредвиденное! Не оно ли уселось за ткацкий станок и стало усердно ткать ткань событий, и что было, что случилось с Юрием Александровичем, было ли в той действительности, которую можно потрогать как платье на манекене в Гостином ряду, или же в притягательной и зыбкой действительности, близкой и недоступной, сшитой из той же грубой материи материалистов, но облекающей столь нематериальную плоть, что даже воображение боится к ней прикоснуться и только жадно слушает слух шорохи платья и биения сердца, такого близкого и спрятанного так запретно! – где же еще, как не в воображении, и с кем же еще, как не со своими собутыльниками – но не с юной и очаровательной – можно купить на закуску сырок плавленый и четвертушку ржаного хлеба и, ставив у автомата с газированной водой два стакана, пойти на поиски темного и теплого угла? В песне не заменишь слова, не испортив ее, и ритуал, принятый на званом обеде, не уместен в парадной.

Во дворе между сараем и поленицей дров валялись ящики, было тепло и сухо, водка грела, незнакомка смеялась, и Юрий Александрович осмелел и придвинулся совсем близко, так что чувствовал жар тела, а она сидела смирно. Он взял ее за руку и поцеловал ладонь.

– Я хочу Вам рассказать две истории, и тогда Вы узнаете, почему я ждал и искал Вас, и почему хочу, чтобы Вы не любили меня, а жалели. Вот Вам история первая.

Года четьре тому назад ехал я в командировку в Москву, переживал тогда душевный кризис – как и теперь, впрочем – разочаровался в своих стихах и рассказах, в жизни, в вере, тоска горло давила, друзья бросили, смысл жизни потерялся, а главное, я понял вдруг, что мои претензии к жизни неосновательны, мечты несбыточны, сам я ничтожен и бездарен. О, вот это горше всего, горше, чем друзья и вера! На талант я, кажется, готов был променять и Родину, и Бога, я был бы счастлив и в тюремной камере, если бы сознавал и чувствовал, что гений творчества меня не покинул.

– Еще полгода! – сказал я себе. – Если судьба не переменится, если Муза в меня не влюбится – к черту эту жизнь пресную! и пошлую и – не знаю – как, не знаю – куда, но здесь, на этом пустыре я не останусь. Пусть лучше черви жрут тело мое, чем теперь они в душе копошатся.

Ну вот, сел в поезд, вагон плацкартный, суматоха улеглась около одиннадцати, кто спать отправился, кто беседует вполголоса, а меня отчего-то озноб бьет, как перед дуэлью или арестом, чувства обострены, и предчувствие взлета или падения.

Сначала меня разговор заинтересовал, мужчина лет эдак около пятидесяти уверенно и словно безразлично рассказывал соседу:

«Старик, вообще-то ненормальный, в лагерях насиделся, ну и свихнулся. Сам русский, но блажь найдет, и вдруг по-русски совсем не говорит, а например, по-немецки или по-японски – он в лагере и японский выучил. А когда по-русски говорил, занятно было его послушать. Кстати, женился он на бандеровке, там же и раскопал, где был. Вот раз он взялся объяснять, почему в русских разочаровался. Я, говорит, до войны, как все был, да еще пуще других в нас верил, и паровоз мы изобрели, и родина слонов, и дух самый крепкий. Ну, верно, на пулеметы лезли, и я в атаку бегал, бывало, что один только и добегал, но победили, и дух восторжествовал наш. Но как в лагерь попал, так понял, что дух и характер народный проявляется полнее в обстоятельствах унижающих и требующих самостоятельности, а нормальная жизнь ничего не выявляет. Скажем, человек ест-пьет каждый день и не ворует – значит ли это, что не вор? Нет, не значит, не прояснилось. А вот ежли он с голоду пухнуть начнет, а сосед за водой на Неву ушел, и дверь открыта, а сын его с фронта на пять минут забежал и краюшку хлеба оставил – но нет, с голоду опухнет, а хлеб не возьмет – вот это уже точно человек честный, прояснилось! Так вот и в лагере много прояснилось, кто какой человек, и кто какой народ. Мы ведь вперемешку сидели с блатными, а блатные тогда лютовали и измывались над нами, не приведи Господь! А потом и женщины сидели в бараке рядом, да и на пересылках в общих бараках встречались – тут уж лютовство другого рода. И что же меня поразило тогда пуще всего? Нас ведь сидело наверно тыща наций всяких, и русские, и осетины, и даже японцы военнопленные, и сектанты – а это особый народ, вроде нации отдельной. Так, что япошки? Я к ним раньше презрительно относился, что за народ такой, мол? И язык неясный, лопочут, как птички в лесу гомонят, а к тому же народ все мелкий.

Держались они отдельно от нас, родных-то в Сибири не было у них, но от Красного Креста посылки приходили. Приходят им, значит, посылки, наш староста – здоровый такой мужик был, урка,

старостой его и не выбирал никто, сам стал, и кодла за него – вот староста и стал распоряжаться. Те – ни в какую – зачем, мол, ты наше забираешь, попросишь, так сами дадим, а силой не позволим. Ну, тут потасовочка вышла, а япошки даром что мелкий народ, но и кодле попало, и пахану крепко захелало. Ладно. Посовещались урки, ножи достали и опять к японцам, дескать, не отдадите, будет вам хакакири. Ну, конечно, пару япошек и прирезали...

Наутро японцы на работу не выходят ... А это ЧП! Окружили их, пулеметы наставили, а они условие выставили – чтобы их, значит, от урока отделили! Начальство лагерное аж челюсти от удивления вывихнуло, виданное ли дело – условия в лагере ставить?! А те опять – мол, не будет по нашему – мы банзай будем делать! И что же? Выходят наутро человек десять японцев, орут изо всех сил “банзай” свой по-ихнему, и кидаются на проволоку, что вокруг лагерь огораживает, а по ней ток бежит!

И вот, говорят, теперь каждый день “банзай” будем делать, три дня, а потом по всем зонам “банзай” будет до последнего человека. Три дня так банзай поделали, замолчали, вечер настал, петь начали, и слух прошел – завтра по Сибири великий банзай будет, все до единого японцы на смерть пойдут.

Оно, конечно, дикий народ, жизни не жалко им, не то, что русским, или другим каким, крепко за жизнь держащимся. Но, так ли, не так ли, из Москвы человек прилетел, условия их все приняли, а начальство наше в другой лагерь перевели, только уже не в начальники, а в такие же зэки, над которыми измывались перед тем. Правда, над нашими урки еще пуще лютовать стали, особенно девчонкам доставалось – но тоже – поплачет – а куда отвертись? Русский человек податливый, да и привычный к тому же, ты ему в морду, а он – ежели послабей тебя – утрется и смотрит ласково. Ну, а бабы наши вообще только битье и уважают! Ну, вот и не перечила уркам ни одна ...

Да тут бандеровок пригнали, молоденькие, лет по восемнадцати, и одна другой краше. Наш пахан их первый встречает, кралю одну приглядел, подошел, по плечу потрепал, не робей, говорит, не пропадешь со мной! А наши бабы, которые уже опытные, им потом все объяснили, что и как...

После отбоя, значит, затихли все и краля эта, в своем бараке на нарах в уголку затихла и лежит молчком. Час проходит, приходит женщина одна к ней – ты чего же не идешь, говорит? А то отнесут тебя, если хочешь, да только обращение похуже будет! Та молчит... Эта ее стала в бок толкать ... а та какая-то не такая ... И тут баба эта смотрит – батюшки, а на полу лужа уже кровянистая, и еще капает, и краля вроде и не дышит уже... Но откачали, правда...»

Сосед, рассказывающий эту историю, вздохнул:

«Вот, видно, старик из-за нее, бандеровки этой, и повернулся. Как стал тут шум, фельдшера забежали, девчонку в медпункт понесли, старик этот – тогда-то он еще не старик был – пошел к пахану, вошел, значит, шестерки к стене прилипли – такой, вроде, ужас наводил он – а в руке деревяшка острая, вместо ножа – и вот бывает же такое! – вроде бы этой деревяшкой здоровенного мужика он насквозь пробил! Ему, правда, к сроку еще десятку надбавили, а бандеровка, как освободилась, так его ждала, пока не отпустят.»

История про старика – продолжал Юрий Александрович – взволновала меня, и я уже не сомневался, что впереди ждут меня события необыкновенные, что занавес уже открыт, и вот-вот начнется первое действие неизвестной драмы. И когда по коридору прошла необыкновенно красивая девушка, в высоких сапогах, брюках, коротком сарафане поверх брюк и кашемировой шали на плечах, я решил, что действие началось. Выждав несколько секунд, пока сердце чуть успокоится, я пошел ее разыскивать, дошел до конца вагона, но ее не было; с бьющимся сердцем толкнул дверь в купе проводников и вошел. Сидели на диване два молодых парня лет по двадцати пяти, а напротив них поразившая меня незнакомка.

– Простите, что я вошел столь бесцеремонно, – начал я, не имея никакого твердого плана и говоря наобум, не зная, что скажу в следующее мгновение, – тревожно на душе, ночь темная, быть может, нам лучше выпить, чем прятаться в сон от тоски и предчувствий?

– Магазины закрыты, дядя! – отозвался один из проводников, – а в остальном мысль серьезная и греет сердце ...

– Ну, это пустяки, это несущественно! – возразил я. – У меня гастроном при себе, хватит на всех!

– Коли так, отчего же не выпить?! Конечно, мы согласны! Вы не возражаете, Ирина?

Я обрадовался местоимению “Вы”, словно оно решало, разделяет нас с нею судьба, или нет, находится она по другую сторону некой черты, естественно разделяющей меня от проводников, или она не с ними, и тем самым чуть ли не со мной ...

Я притащил две бутылки водки, банку с солеными огурцами и большой кусок сыра. На столике у окна было прибрано, постелена белая салфетка, стояла открытая банка с персиками, чайные ложки и четыре стакана. Но выпить нам удалось не сразу – в дверь постучали, бутылки мгновенно исчезли, и вошел бригадир поезда.

Мы с Ириной вышли в коридор и стали напротив друг друга. Свет горел не ярко, но я хорошо ее видел – бархатная кожа, прямой точеный нос, чистый лоб, матовый цвет лица, темные густые брови и большие темно-карие, почти коричневые глаза. Глядя в них, я словно падал на дно колодца и чувствовал, будто этот мир исчезает,

преображается, заменяется на другой, волшебный ... Эти прекрасные, тоскующие, манящие глаза изменяли пространство и время, и сами были тем преображенным миром, в который я падал стремительно и безвозвратно.

– Дайте мне Вашу руку! – прошептал я.

Ирина протянула руку и я сжал ее горячие нервные пальцы.

– Вы верите в любовь в первого взгляда? – спросил я ее.

Она помедлила несколько мгновений, вначале как будто удивилась вопросу, а потом порывисто, будто падая в ту же пропасть, твердо ответила: “Да!”.

Я взял ее за вторую руку и тихонько притянул к себе. Она не сопротивлялась. Тогда я обнял ее и поцеловал в мягкие покорные губы – прикоснувшись так легко, как прикасается мотылек к цветку. Губы ее шевельнулись в ответ, а глаза сияли странным светом, и я стал целовать ее страстно, целовал ее лоб, щеки, губы, глаза и, поддавшись моей настойчивости, она отвечала мне с тою же страстью, но очень мягко – так цветок начинает благоухать, когда мы тронем его рукою. Это была минута полного блаженства, и по щекам моим катились слезы, которых я не замечал. Наступило то состояние восторга, когда внешний мир растворяется в музыкальной стихии и существует только она. Так, в концертном зале кресла и хрустальные люстры, блестящий черный рояль, палочка дирижера и легкое покашливание публики не заполняют ни пространство, ни время и не составляют ни сущности, ни формы происходящего, ибо происходит не то, что выражается в скрипе кресел и миганьи люстр, но что существовало бесплотно в виде черных нотных знаков на белых листах бумаги, а теперь облеклось в звуки и аккорды, плач скрипок, пень флейт, вздохи барабана и звенящий смех колокольчиков фортепьяно – ибо происходит не то, что половодьем звуков наполняет физически физическое пространство, в котором дрожат струны и напряжены нервные волокна, происходит не колебание струн и воздуха, но в темном ночном саду по белой дорожке стучат испуганно изящные туфельки, сердце томит ожидание, легкое скерцо замерло и рассыпалось и темное пламя сжигает тела и души.

Так существовали ли эти бутылки, стаканы и золотистые кружки сыра – я не знаю; единственное ли то было, что горячо и нервно сжимал я жаркую девичью руку и пропадал в нежном и вязком взгляде, а тесное купе, случайные собутыльники и неустанный стук колес мне приснились – не понимаю и теперь. Уже как сигаретный дым повисло опьянение, Ирина выскользнула вновь из купе, чтобы глотнуть ночной прохлады, и тут случилось происшествие странное, и хотя несовместное ни с серебристой музыкой адажио, ни с тяжелым шквалом бетховенских симфоний, но необходимое в этой неясной цепи случайностей, которая отныне заменяла мне судьбу.

– Тебе Ирина нравится? – спросил меня один из новых знакомых.

– Да.

– А деньги есть?

– Сколько-то есть, конечно!

– Видишь ли, мы с тобой будем говорить откровенно. Она к нам села без билета, и кто она такая – мы не знаем. Может быть, она чиста и невинна как ребенок, а может быть нам и не снилось, что она уже испытала. Так ради чего мы ее тебе отдадим? Хороший букет цветов, понимаешь, стоит рублей десять, а тут девушка, да еще такая эффектная! В общем, если хочешь, чтобы мы тебе не мешали, а даже и помогли, то гони нам по четвертной – и дело с концами!

– Значит, Вы мне ее продаете? И даже не спрашиваете Ирину, согласна ли она быть проданной – словно она вещь, у которой не спрашивают согласия... Ну, что же, я заплачу вам, благо цена не велика – хотя не пожалел бы за нее и пятьдесят миллионов, если бы был миллионером...

Мне всегда казалось, что мы, выбирающие пути и направления, распоряжающиеся желаниями и намерениями – не более, чем актеры, играющие в уже написанной пьесе. О, от нас зависит многое, гениальная игра оживляет и делает глубже даже тускло написанную роль, она может несчастье поднять до трагедии и глупость расширить до размеров несчастья, равно как игра бездарная мужество превращает в упрямство и великодушие лишает величия, оставляя в нем лишь уступчивость – и все же, и при самой гениальной игре обреченный на роль Сальери не в силах подняться до Моцарта! Но кто же тогда подлинный автор пьесы нашей жизни и надо ли биться головою об стену, чтобы разрушить темницу, если по замыслу пьесы нам суждено умереть в ней? Самодовольный взгляд на самого себя, как на творца и хозяина был мне всегда чужд, ибо в себе видят причину событий только люди ограниченные – но и быть всецело рабом чужой воли я не хотел согласиться. Ужели пряжа Судьбы уже соткана вся, ужели драма написана набело? Нет, верящий в Судьбу, как в сильный ветер, что гонит и волны, и корабль на опасные рифы, верил я и в усилие кормчего и в дружную помощь тугих парусов, спорящих с бурей! Верил я и в тысячу других вещей, которые могут повлиять на Судьбу и изменить ее. Быть может, в тот самый момент, как пытаюсь я проникнуть мыслью в ее тайные пружины, три девушки-шалуни с помощью ножниц и клея переклеивают ее и переиначивают, вырезая абзацы и сцены и вставляя целые действия из пьес давно забытых? Да к тому же, разве “не дан нам случай, как конь лихой” – по выражению поэта – и не можем ли мы с его помощью махнуть так далеко, что и Судьба не догонит? Встречу с

Ириной я принял как главную сюжетную линию, к которой все другие линии стягивались как геометрические кривые к своей огибающей, и даже в этой странной и нелепой покупке ее увидел роковой замысел. Когда мы остались одни, и щелкнул замок двери, я прямо рассказал ей о случившемся.

– Не сердитесь, что плата столько незначительна! Но ведь сказал Христос, что одна лепта вдовы дороже золота богатых! Прошу Вас простить меня и не беспокоиться. Я буду вести себя нежно и кротко, и никак не обижу Вас ни словом, ни намерением.

Ах, эта ночь была восхитительной! Чувства мои звенели, как перетянутая струна, и она горела в огне тоже, а ночь вырвала нас из привычного мира, остановила время и словно в метели сгустила ощущения.

Я глядел в глаза ее и падал в пропасть. Я ощущал и страх и наслаждение вместе, и знал, что падение никогда не кончится, и мне хотелось смотреть в глаза ее вечно. Я стоял перед нею на коленях, и плакал, и читал ей стихи, а она читала свои стихи тоже, и они казались мне самыми прекрасными в мире. Я целовал ее пальцы, ладони, вдыхал запах волос, и снова читал стихи. Я не был ни святым, ни грешником, ни законов, ни приличий не существовало для меня, кроме нее, единственной, и все, что делало ее роднее и ближе, было хорошо, а что отдаляло – плохо. Я забыл и стыд, и законы, не смея оторвать взгляд от ее глаз и губы от ее губ – но я забыл и все, что существует за гранью стыда, и для чего забывал стыд – забыл тоже. Когда опомнился, когда я вспомнил, когда я устал целовать ее руки и исповедоваться, когда я вспомнил, что существует грех и ночь существует для греха – розовое небо приликло к стеклу (ночь уже кончилась), и поезд прибыл в Москву.

Моя поездка была важна для меня. Если я скажу, что решалась моя судьба – я совру, потому что не знаю я, когда моя судьба решится, и вряд ли она тогда решалась – но поездка была действительно важной. Я сдал в издательство рукопись, над которою работал десять лет, которую переделывал десять раз, и отказавшись переделывать ее в одиннадцатый, я ехал для окончательного объяснения. Я написал единственную книгу, которую писал всю жизнь, и вот должно было решиться, жить этой книге или умереть.

С Ириной мы условились встретиться через два дня, она мне дала московский адрес – на квартире ее подруги – а в эти два дня я должен был умереть или воскреснуть. Уже утром я был в издательстве. Уже через полчаса я получил рукопись и вежливые слова соболезнования. А вечером я был в одном загородном доме, где жил мой старинный

приятель, и топил печку – и конечно, Сатана оказался не прав, и рукопись горела легко и радостно. Остаться в Москве было уже незачем – но оставалась Ирина, и вдруг я почувствовал, что умру, если не увижу ее теперь же.

Я постараюсь рассказывать и коротко и сухо, тем более, что не скажу ничего, что уже не было сказано всеми разочарованными людьми в мире. Не правда ли, очаровываемся мы все по-разному, всякий раз, как мы влюбляемся, она оказывается единственной и неповторимой, она – исключенье из правил; когда разочаровываемся, она вдруг возвращается во все возможные правила, оказывается банальной как снег и дождь – или еще банальнее – она оказывается такою, каким бывает день в ноябре, когда нет ни дождя, ни снега, ни жары, ни холода, ни даже сильного ветра, а просто ноябрь, пошлый пустой день, кругом дома и пустыри, люди снуют по своим делам, а зачем я живу, и почему до сих пор не умер – решительно невозможно понять.

Итак, в Замоскворечье, в первом часу ночи я поднялся на третий этаж и позвонил в квартиру номер 13. “Что-то будет?” – подумал я. Долго не открывали, но я все звонил. Звонок захлебывался... Шаги... Молодой мужчина, отлично сложенный, в брюках, но без майки, с лицом спортсмена, в глазах злость и сытость...

– Простите, пожалуйста, Ирина здесь живет?

– Ирина? Да, есть такая, ну и что?

– Нельзя ли мне ее увидеть?

– Нельзя!

И он захлопнул дверь.

Я позвонил снова. Спортсмен вернулся тут же.

– Тебя что – с лестницы спустить?

– Но я должен увидеть ее! Скажите ей, что я жду, и пусть она сама решит, выйти ей или нет.

– Тебе долго объяснять? Она не может выйти, понимаешь ты это?

И не хочет, и не может!

– Почему?

– Ты дурак? Или сумасшедший? Она не одета .. Она раздета, ты это понимаешь?

– Нет... не понимаю... – пролепетал я и почувствовал сильный удар в лицо.

По дороге к Ирине я грезил и размышлял. Я думал о Франциске Ассизском и боярыне Морозовой, о Христе и Марии Магдалине, и мысли мои слагались в стройную систему, они вспыхивали в моей душе и соединялись так, как аккорды соединяются в симфонию, они

сияли, как сияет над головой небосвод в темную звездную ночь. Я нес в себе звездное небо, и оно было неповторимо, оно было так же ярко и горело страстью, как поэма о Тристане и Изольде, как небесная музыка Лознгрена.

– Не бейте меня! – сказал я, захлебываясь звездами. – Я поэт! Я сочиняю стихи, и они совершенны. Я мог драться раньше, пока был на земле, но теперь – не могу. Мне унижительно размахивать руками и унижать другого после того, как я только что беседовал с Богом. Позовите Ирину!

– Чтобы она увидела, как ты здесь ползаешь в луже крови? Ну хорошо, я позову ее, но ты еще пожалеешь о своей просьбе!

И он исполнил обещанное.

Ирина стояла, закрыв свое прекрасное тело кашемировой шалью, а я очень скоро пожалел и о том, что так настойчиво просил ее позвать, и о том, что увидел ее вчера, и о том, что Бог дал мне душу.

Я нес ей букетик ландышей, это были первые ландыши в Подмоскovie, друг мой сказал мне, что около его дома они расцветают раньше всего. Цветы рассыпались, но я их подобрал, я старался на них не наступить, хотя немного запачкал в крови. Я отвез их на ту поляну, где в конце дня сорвал, и положил на то самое место, а сам лег рядом. Нет, сердце мое не разочаровалось, и душа не умерла, и сам я не умер, а только сильно продрог, и вернулся в дом к другу, и там нашел в остывшей печке один несгоревший листок. Странно мне было читать на нем слова о любви, как будто я лгал и был уличен в постыдной лжи.

Но разве я перестал с тех пор влюбляться и писать стихи, и признаваться в любви – я, знающий, что все слова лживы и не более вечны, чем иероглифы на мокром песке? В безумном поцелуе прихлынет волна, и отхлынет – и вновь чиста и приглажена желтая полоска берега, и ждет новых писем и новых поцелуев. Женщина – словно вечная грифельная доска, на которой равно мгновенны и жалкие каракули первого любовного порыва, и страстные проклятия разочаровавшейся веры.

Теперь, узнавший правду, я называю жизнь, которая была у меня прежде этой лестницы, так – это время до того, как мне объяснили первичность материи; а все, что с тех пор протекло, протекает под знаком вторичности души и духа. Ну, а теперь давайте выпьем, и может быть, я смогу рассказать и самую последнюю главу моей жизни, которая, как ни странно, не подвластна ни лестничным площадкам, ни кашемировой шали!

## 3

Как злопамятно тело! Проходит двадцать лет, но даже не очень крупные царапины напомним вдруг повышенной чувствительностью, когда холодный ветер продувает кости ... А что же душа? Как ведут себя царапины на ней? Не подобны ли они царапинам на граммофонной пластинке? – И вот, представьте, пришли гости, пришли друзья детства, или, напротив, совсем юная и еще не разочарованная пришла, и в ожидании, пока закипит чайник, Вы достаете вашу любимую пластинку с балладой о любви и – вот, дорогая, только для Вас, я не слушал этого ромansa двадцать лет, здесь чудное меццо-сопранo, почти контральто, здесь плач и улыбка умиления вместе, подождите одну минуточку, сейчас она распоется, вот я прибавлю звук и изменю тембр ... закройте глаза, дорогая, дневной свет слишком ярок!

Но гостя глаза потупила, иголка скрипит и скрежещет, а где же баллада, где чудное контральто? Паутина времени в темные пелены запеленала душу так плотно, что даже глаз не видно... царапины ожили, и только они и живы... Сеяли на поле пшеницу, а вырос осот ...

Юрий Александрович жил общей со всеми жизнью. Утром его будил будильник, вечером убаюкивал телевизор. Цветы он покупал и восьмого марта, и в другие дни тоже. Газеты он то читал, то не читал, книги – так же, осенью ездил в деревню, раз в год принимал поздравления с тем, что и ему не подвластно время, как и другие, бросал пить и снова начинал, мечтал о повышении зарплаты и снижении цен на водку, простужался, ходил в баню, ходил в гости, загорался надеждами и остывал... Во всем Юрий Александрович был общим человеком, но сны видел в особицу, а главное – бесконтрольно...

После последнего разочарования мы виделись один только раз и толком поговорить не сумели... Как будто было ему совсем нехорошо, так что Юрий Александрович и рассказывать не хотел – но и сам виноват он тоже – можно ли верить словам красивой женщины, опьяненной собою, успехом, безответственной и бессердечной? Банальная история с мужем или любовником, раздражение, обида и желание отыграться хотя бы и на безвинном, а тут попадается наивный и глупый поэт и мечтатель, красота и Аристотель так поражают его воображение, что он впадает в восторг и веру, а когда бесстыдная интриганка хохочет ему в лицо, то кажется, что рушится весь мир и нет правды ни на земле, ни на небе.

Женщина не лучше – но и не хуже бабочки-однодневки, беззаботно порхающей среди цветов; порхание – ее душа, а зачем она сама и ее полеты, и цветы на лугу, и луг цветущий, и грешно или нет перелетать от одного цветка к другому – мысль об этом не смущает ее, как, впрочем, и никакая мысль вообще.

Вот я читаю теперь его прощальные записки, его сумбурные объяснения, пытаюсь представить и последние минуты его на этой тоскливой земле, где никому ни до кого нет дела и каждый наедине со своими страданиями – но так и не могу понять, что с ним случилось. Быть может, теперь, собирая вместе его объяснения и свои фантазии, проходя с ним рядом шаг за шагом в то апрельское утро, на край последней канавы, в которую свалились и тело его и душа, я и преодолю хоть отчасти разъединение душ, как преодолел он, а потому – к делу!

... Сегодня я не выдержал. Кристина была так несчастна, губы ее обкусанные так горько вздрагивали в плаче, глаза глядели так печально, что я наблюдателем только уже оставаться не мог.

– Кристина! – позвал я тихонько, – не пугайтесь, я Ваш друг, я Вам только добра хочу, и ничего худого не сделаю.

– Кто Вы? – она вздрогнула. – Где Вы? Я никого не вижу, здесь нет никого!

– Сделайте так, как я скажу, и Вы меня увидите. Я – Ваш сон. Закройте глаза и лягте на топчан. Смешайтесь с полудремой, а я буду говорить с Вами, и постепенно, засыпая, Вы начнете видеть меня. Если же Вы будете послушной ученицей, то скоро сможете видеть меня и с открытыми глазами.

– Я больна? Я заболела?

– Нет, дорогая девочка! Я реален как и ты, мы оба реальны, только встреча наша не совсем обычна, и я сам не смогу объяснить, как мы оказываемся вместе. Но ведь если ты не знаешь, какая сила переносит твои слова, когда говоришь по телефону с милым, ты не сомневаешься в том, что это действительно он? Закрой глаза и представь луг и реку, синие цветы на берегу, и дай мне руку. Ты чувствуешь пожатие моей руки? Значит, я больше, чем воображение?

– Да, я чувствую... Как странно, мне должно бы стать страшно, но я не боюсь... Ах, да, Вы ведь мой сон, а зачем сна бояться? Ну, вот, я засыпаю... И правда, теперь я Вас хорошо вижу, и мне совсем не страшно, даже наоборот, без Вас было страшно, а Вы успокоили меня... Посмотрите на меня опять так ласково, как в первый раз! ... а я буду Вас тоже слушаться, хорошо? Но ответьте мне, пожалуйста, почему Вы ко мне пришли, я думала про Зосю, про девочек,

с мальчиками я почти совсем не дружила, до войны у меня был один друг, но тогда мне было всего тринадцать лет – и вдруг, неожиданно Вы ко мне приходите...

– Ты обо мне не думала, не искала, но ведь друг тебе нужен, правда? А я тоже нуждаюсь в тебе, я долго искал тебя, ты мне, может быть, еще нужнее, чем я тебе! Знаешь, счастливые люди не нужны друг другу, им и с собою хорошо, а вот тебе без меня никак нельзя, и мне без тебя тоже! Я тебя такую и искал, что ты будешь меня за одно то любить, что я рядом с тобою.

– А ты меня не бросишь, не уйдешь?

– Нет, ни за что не брошу!

– До самого конца?

– Да!

– Но ведь я тогда не смогу видеть сны, а как же без сна мы встретимся?

– Что сон, а что явь, Кристина? Я спал, пока не проснулось во мне прошлое, пока я не услышал голоса тех, кто умер в отчаянии, и не почувствовал их боль так, будто болит моя собственная душа. Все, что было прежде, чем к тебе пришел, побледнело, как тени на закате.

– Рассказывайте мне еще! Я хочу знать, почему Вы захотели ко мне придти, и как нашли меня.

– Я жил в благополучное время, Кристина. Но если дух дышит, где хочет, то страдает он тем сильнее, чем глубже дышит. Я был почти как все, ходил на службу, возвращался в семью, встречался с друзьями – но душа моя болела не только от житейских ссадин... Если бы в мире не стало любви, то есть того состояния безумия, когда невозможно дышать, если не слышишь ее дыхания, то для многих ничего бы не изменилось в мире, и они все так же исправно ходили на службу, а может быть, еще исправнее... Но кто заболел любовью, или хотя бы тоской о ней, тот не способен жить в мире, в котором нет любви! Ах, Кристина, мои разговоры не заменят тебе жизнь, и все же, насколько возможно, я хочу, чтобы ты была счастлива. Я буду приходить к тебе каждый день, и ты расскажешь мне обо всем, что случилось с тобою, расскажешь о своих друзьях, о мечтах и снах, о ссорах и примирениях, надеждах и разочарованиях... Пережить жизнь в воспоминании – это все равно, что еще раз прожить на свете – или даже лучше, потому что время сохраняет из прошлого только самые крупные и самые чистые цветы, как и самые глубокие раны. Сумерки души и жизни выгорают, и остается лишь значительное – радуга, заря, порывы ветра, восторг и муки...

-----

В январе 1945 года Кристина обратилась к начальнику тюрьмы с просьбой разрешить переписку с матерью. Вот что она писала в одном из писем.

“Дорогая мамочка! Тебя удивят мои слова, тем более, что в двух предыдущих письмах слезы и тоска прорывались несмотря на все мои старания сохранять бодрость духа. Мне было больно не только оттого, что я так рано должна умереть, но еще больше потому, что ничего не успела сделать, чем могла бы гордиться. Я даже не успела влюбиться и ни разу не целовалась. Вспоминаю, как бедный Яцек пытался ко мне приставать, а я его толкнула так сильно, что он стукнулся о забор. Может быть, теперь я была бы к нему снисходительнее. Но, милая мамочка – только не подумай, что я сошла с ума – все же я счастлива, несмотря ни на что! Сердце способно раздвинуть стены камеры так, чтобы в ней помещался весь мир, и хотя я не вижу его столь же ясно, как если бы гуляла по нашему саду, но я его чувствую, как горячий луч солнца чувствуешь и с закрытыми глазами. И если вчера мир был холодным и тусклым, то теперь засиял как радуга на небе – ах, милая мамочка, я полюбила!

Не спрашивай, как можно полюбить в тюрьме, потому что умом я не смогу объяснить – ты только поверь мне и пойми меня своим сердцем. Это почти то же самое, что сон, и все же он не менее действителен, чем Яцек, только Яцека я не любила, а сон – люблю! И это такое чудо, что я даже смерти перестала бояться, ведь никто никогда не достигнет в жизни большего, чем способность любить и быть любимой и быть готовой умереть ради любви.

Мой сон приходит и берет меня за руку, и я забываю все слова, которые хотела ему сказать, я забываю, что умру и что несчастна, а жалею только его. Наверное, это письмо последнее, может быть, через неделю произойдет то, из-за чего ты плачешь, моя дорогая, только я прошу тебя, пусть слезы будут не слишком горькими, твоя дочь уходит не в отчаянии, а с улыбкой... Меня торопят, целую тебя миллион раз, прощай!”

#### 11 МАРТА 1945 ГОДА

День был пасмурный. Около двенадцати их вывели во двор. Кристина увидела кое-кого из своих друзей, и успела обменяться несколькими словами приветия, но обняться не удалось, их развели и поставили около рва.

Юрий Александрович был одет как все, и ничем не выделялся среди осужденных, его никто не окликнул, так как никто его не знал, а конвоиры только пересчитали узников и сверили их номера с

номерами в списке. И то ли торопились, то ли и впрямь все совпало, но заминки не вышло, и Юрий Александрович стоял рядом с Кристиной в эти последние минуты. Она жадно вглядывалась в него.

– Я тебе нравлось? – шепотом и волнуясь спрашивал он.

– Да, очень! – так же шопотом она отвечала.

– Не думай о том, что произойдет через три минуты!

Кристина улыбнулась печально и ласково.

– Милый, я только о тебе думаю, ведь ты меня любишь?

– Да, я люблю тебя! – он произнес эти слова медленно, так, словно пил последний глоток воды или воздуха.

– Я обожаю тебя! Ты самая красивая и самая великодушная девушка на свете! Я тебя долго искал, я искал ту, которая полнит меня вначале как дух, и только затем как плоть, и нашел тебя. Я видел, как ты раздевалась ночью, еще когда был невидим сам, я смотрел на тебя плачущую, и знаю о тебе все! Ты – женщина-дитя, нежный и робкий весенний цветок, удивленно выглянувший из-под снега на Божий мир, и недоумевающий, что кругом так много снега. Ты – чистый и прекрасный цветок, и я счастлив, что увидел тебя и люблю! Кристина, дорогая моя, смотри только на меня – и мир исчезнет, но ты не заметишь этого. Когда ты перестанешь видеть все, кроме меня, я поцелую тебя в губы... вот они все ближе... Любимая, разве это не больше, чем жизнь?

– Да, мне хорошо, я плачу не оттого, что о чем-нибудь жалею, не сердись на меня, кроме тебя ничто больше не существует, обними меня, а я закрою глаза – слишком ярко солнце и мешает тебя видеть, а с закрытыми глазами я буду чувствовать твои губы.

Удар был не слишком сильный, лопнул воздушный шарик и солнце больше не мешало видеть.

– Милый, повернись на бок, так будет легче лежать! – еще прошептала Кристина и попыталась сделать движение, чтобы прижать его к себе и прикрыть своим телом, но только смогла положить руку ему на плечо и на этом последнем ощущении замерла и тихонько стала терять земную тяжесть.

– Благословляю боль, которая меня привела сюда! – сказал Юрий Александрович... Но сердце его уже не белело.

*1984–1986 годы*

## ВЕДЬМА

Мне всю жизнь казалось, что я заблудился, тащусь уже без сна по мрачному лесу, пытаюсь выбраться на светлую поляну, и уже отчаялся выбраться.

А как-то заблудился и вправду, всю ночь шел, не зная куда, небо было в тучах, и ни луна, ни звезды не могли указать дороги. Страшно было не то, что ночью я в лесу, а не дома, а что лес стал чужим и гадким, тянулись бесконечные топи, дорогу перерезали глубокие канавы, поваленные деревья, кустарник тесный и колочий, какие-то коряги и борозды.

В таком лесу я не мог остановиться и переночевать, я должен был из него выбраться куда угодно, хоть дальше от дома, но чтобы было светло и красиво. Казалось мне уже, что весь мир порос тесным и колючим, что нет другого мира, что простирается на север и на юг все одно и то же, грязные канавы и черное небо, кривые чахлые деревья и мокрые топи.

Господи, да неужели всю жизнь так вот и жить, так и бродить в этом мраке без выхода и исхода? А ведь и бывает так, это уж кому как повезет, если небо тучами затянуто, то ни ум, ни характер не помогут, одно болото сменится другим, и чем упорнее идешь, тем в более мрачные и тяжкие топи и тем безысходнее!

Что же, разве нет таких страдальцев, даже и с возвышенной душою, сгинувших во мраке, проклиная этот мир?

Господи, может быть, твой Ангел помогает мне выходить из дебрей лесных и не дает пропасть совсем? Но и мое небо не светлое, а тучи бегут одна за другою, и лишь в разрывах туч я вижу звезды и месяц и воскресает надежда...

Тяготясь обыденностью, привычным нудным миром с его заботами и безрадостным долгом, я всю жизнь мечтал вырваться из рокового круга тесной пустоты, прорваться за грань, отделяющую наш мир от иного, высшего, прекрасного и чудесного мира, найти иную жизнь и самому стать иным.

Всю жизнь я мечтал о Преображении, в котором душа и мир переменяются так же, как переменяется и плоть и Дух Бытия, когда человек просыпается от сна. Бывает невкусной вода, и жаждущий ищет источник свежей и чистой воды. Я же не искал воду, я мечтал и стремился к тому, чтобы вода обратилась в вино.

Не находя иного мира в собственной душе, стал я искать его в случайных встречах и необычных положениях, полюбил бродить

по ночам и перелезает через заборы. Иногда подходил ночью к освещенному окну и заглядывал в него, надеясь, что стекло – та грань, которую я ищу, и за стеклом откроется! Полюбил приходить на вокзал и всматриваться в таинственные окна ночного поезда, заглядывал в заплаканные женские глаза, пренебрегая веселыми, подходил к пьяным женщинам и к мужчинам, валяющимся в канаве.

Люди необычные светят ярко, а горит в них тоска и, когда она звенькивает жалобно и без отзыва, единственно только канавка приходит на помощь и стирает объятия.

И кто не останавливается, тот разжигает ее все пуще и пуще, пока не вспыхивает огнем вся душа разом и не разбивается сердце как бокал с вином.

Много было встреч и с мужчинами, и с женщинами, пытающимися перейти роковую грань, ничего мне эти встречи не объяснили и ничем не помогли, но однажды, когда было не с кем выпить, а выпить было надо, поставил я бутылку на кухонный стол и налил две рюмки... И тут словно тень чья-то подошла и уселась напротив, и подумал я выпить с тенью.

Славно мы провели вечер, бутылка почти опустела, я вышел на улицу, приставал к женщинам, они смотрели гневно и оскорбительно, и я вернулся домой.

Тень скорбно сидела, меня дожидаясь, и я подумал, что уж тени я смогу пожаловаться на жизнь, и мы пойдем друг друга.

Много теней перебивало с тех пор за кухонным столом, и чтобы не потускнели их образы насовсем, решил я записать то, что о них знаю.

Снова захотел пережить те горькие поцелуи и пьяные ночи, услышать страстные слова и тоскливые взгляды.

Года полтора назад познакомился я с человеком одержимым, Николаем Васильевичем Лебедевым, о котором тоже следовало бы написать подробнее, но пока я на его судьбу отвлекаться не буду, ибо передо мною другая ... Николай Васильевич бредил гитарой, играл сам, разыскивал гитаристов, собирал все, что мог узнать о гитаре, писал ее историю, и сгорал от страсти. Искал он что-то странное самому себе и временами казался странным. Так странен человек, отправившийся на поляну за цветами и проходящий равнодушно мимо лютиков и жарков, колокольчиков и купавниц, и возвращающийся с пустыми руками... Что же он ищет? – спросите вы.

А ищет он Аленький цветочек, которого нет ни на этой поляне, ни на другой, ни на одной поляне в мире, которого нет нигде, но который краше всех цветов, и лютиков, и купавниц, и без которого жить нельзя. И либо найти Аленький цветочек, либо умереть.

Один существенный недостаток был в Николае Васильевиче – он не пил, не пил совсем, и пока я шатался с ним по дворам и закоулкам в поисках Аленького цветочка, вел, к несчастью, и сам трезвую жизнь и чуть вовсе не разучился пить.

Как-то забрели мы к гитарному мастеру, старенькому уж старичку совсем, еле душа держалась, Иннокентию Петровичу Саврасову, который художнику известному был как-то родней, к нему многие гитаристы приходили, и Николай Васильевич любил потолкаться среди них, посмотреть, поговорить, а то и игру их послушать. Пришли мы, а у старичка гость один, высокий парень, лет тридцати пяти, глаза печальные, впалые, щеки тоже как-то впали, худой и одет неважно. Ходит по комнате как-то небрежно, подойдет к одной гитаре, проведет по струнам, повесит и говорит презрительно – не то все, не то, Иннокентий Петрович!

Другую возьмет, тронет струны и тоже отложит ... А Иннокентий Петрович ходит перед ним чуть не на цыпочках, смотрит подобострастно, отвечает робко, униженно.

– Меня даже злость взяла – Ах, думаю, наглец какой!

Дождались мы его ухода, Николай Васильевич и говорит – Что же ты, Иннокентий Петрович, не одернул его? Такого разве к гитаре можно подпускать?

– Что вы, что вы! – замахал Иннокентий Петрович руками, – да послушали бы вы, как играет он! Я плакал, на колени перед ним встал, и руку поцеловал.

Сереженька, говорю, теперь умирать не страшно!

Он Бог, Бог он, а Богу все позволено, даже если б все гитары мои об стену поразбивал, я б простил ему, все б ему простил.

Николай Васильевич так расстроился от слов этих, он ведь тоже на колени вставал и плакал, выскочили мы, за один угол завернули, за другой – да нет уж парня долговязого, след простыл.

Вернулись к старичку, да не утешились.

– Приходит, говорит, иногда, а где живет, не знаю. Он ко мне не столько гитары смотреть ходит, сколько выпить, я ему маленькую в шкафчике держу, придет, выпьет, поиграет мне, и уходит невесть куда... Знаю, зовут его Сергеем, живет у Пяти углов, жена у него будто с год тому ушла, а больше об нем ничего не знаю, не рассказывает.

Ну, ушли мы от Иннокентия Петровича и началась для нас веселая жизнь – как с работы приду, мне Николай Васильевич уж звонит, торопит, поесть не дает, в семь мы с ним уже на Пяти углах и пошли по дворам – где гитару заслышим, так сразу туда – но все напрасно, никто про Серегу не знает...

Недельки две прошатались так-то, милиционер нас уже заприметил, в участок грозился сволочь, пришлось и ему бутылку покупать.

Ноябрь стоял холодный, сырой, компании то больше не на скамейках, а в подворотни жались и гитару не жаловали.

Но – пришло к нам, наконец, и счастье. На Разъезжей заглянули во двор один, сидят на скамеечке пацаны, человек пять, а у них девчонка одна на всех, в короткой юбочке, замерзла вся, они ее и греют, то один обнимет, то другой, она вроде отбивается от них, а глазки закатывает – нравится.

Подожли и мы, сели сбоку ... Пацаны на нас глянули, один и говорит Николаю Васильевичу – слушай, отец, вали отсюда, чего приперся? Тебя нам здесь не хватало!

А Николай Васильевич к лавке прирос уже, гитара там у пацанов была, он в нее и впился – Мальчики, – говорит, – не ругайтесь, я слышал, у вас гитарист один иногда играет, Серега – верно? (Спырил-то наобум, а ждет уверенно)

– Серега? Приходит иногда. Но если послушать хочешь, так за бутылкой беги, без бутылки играть он не станет.

– Мальчики! – восклицает тут Николай Васильевич – я две бутылки сейчас принесу, Вы только задержите его, если придет, я мигом!

Вскочил тут же и побежал, и я за ним. Через двадцать минут вернулись с бутылками, подходим, смотрим – верно, тот самый Серега сидит, гитара меж колен, ладони ко рту прижал, греет, сам весь жалкий какой-то, понурый...

Николай Васильевич к нему с бутылкой сразу, неловко как-то суетиться начал, сырок достает, у самого аж руки задрожали, как наливать стал. Налили и пацанам, и девчонке засинелой, по такому случаю и сам он стопочку выпил (а надо вам сказать, что с собой мы носили стопочки полиэтиленовые, а вот бутылку заранее купить не догадались – то есть я то догадался, да не стал Николаю Васильевичу раньше говорить, а то по холодным блужданиям душа не утерпела бы). Выпил и я малость, по сердцу грусть разлилась, Серега гитару положил на колени и ударил по струнам. Видно было, что доставалось его подруге, уж и дребезжать струны начали, и пальцы его плохо слушались, срывались временами, погрел он еще руки, подмышки сунул, выпил еще стакан и снова по струнам ударил.

Боже мой, как он играл!

Ах, не знаю я, как играл он, и рассказать не смогу ... То играли и звенели не струны, а сердце его рвалось и звенело и обнаженное на холодном ветру плакало перед нами.

Плакал и Николай Васильевич, и у меня, грешного, спазмой горло схватило.

Тут вдруг Серега вскочил и, не прощаясь, пошел быстрыми шагами, мы его не стали удерживать... Пацаны нам адрес его дали, и договорились мы назавтра часам к шести нагрянуть к нему прямо домой, и там уж познакомиться как следует и гитары всласть послушаться.

Но – роковое витало, пронизывало его жизнь, и нас коснулось дыхание Рока.

Вот ведь, не днем раньше, не на следующий день встретили мы Серегу, а именно в вечер тот, когда рвались струны души его, слышали мы эти струны, а больше их слышать нам не пришлось.

Подошли мы к его квартире, а дверь настежь, и какие-то важные люди входят и выходят, так что мы и войти не решились.

Но – узнали все, не входя. Опоздали придти мы. Часа три назад Серега пошел из дому с потрепанной своей гитарой, куда пошел, никто не знает, а был уже пьян-пьянехонек, и на ногах держался с трудом, недалеко ушел от дома, переходил Загородный проспект и тут рок и настиг его, гитара отлетела на тротуар и ударилась о тумбу, и струны в ней лопнули. В одну секунду смерть настигла, гитару и гитариста.

Сколько после Николай Васильевич ходил, узнавал, упрасивал, унижался, а сумел, все-таки гитару эту разбитую достал, но чинить не стал, а так, разбитую, на стену и повесил.

Осталась от Сереги тетрадка, там были стихи, ноты, записки разные, иное я и для себя выписал.

### ИЗ ЗАПИСОК ГИТАРИСТА

Посмотрел в зеркало – лицо опухло, рука дрожать стала ... Пить не стоило бы, да что взамен?

Было б взамен – рюмку б об пол разбил, не дрогнул ... – Но ...

Иным, говорят, вредна соль.

Что же, можно и без соли щи хлебать, да не так вкусны будут. Можно и из жизни соль вынуть, да только вот вопрос – стоит ли жить в жизни такой?

Конечно, вино – не соль жизни, а пошлая замена ее, но если подлинной соли нет, и нигде в мире нет, и никак не отыскать, хоть головой бейся об стену, то – что ж? Тогда и вино годится!

Сегодня не буду пить, сегодня у меня день воспоминаний, две недели как Ника ушла. Играть не могу трезвый, стихи – умерли, и вот решил припомнить наваждение, которое на меня нашло и в плен взяло, но слаще которого нет ничего, перед которым и гитара, и стихи – пар жизни, а не жизнь сама.

Увидел ее я полтора года назад.

Ехал в метро, мартовским днем, уже тепло было, но с утра всегда холодно, не разобрать, что днем будет, и я в пальто длиннополом, шапке зимней и шарф вокруг шеи обмотан... Понуро было с утра, такой вот понурый и ехал, как воробей мокрый сижую, да и в шапке жарко.

На площади Александра Невского села напротив девчушка, роста среднего, глаза синющие, губки пухлые алые, нос прямой, брови темные, лицо безмятежное и чуть-чуть припухшее как ото сна, будто только что с подушки головку оторвала...

Такая невинность, такая безмятежность в лице, так полуоткрыты губы по-детски, что ну – в пять лет можно ангелом таким прелестным сидеть! Она так сонно безмятежно взглядом скользнула, на мне пока не задержалась, а я смотрю пристальнее, и сердце отчего-то колотиться начало, не унять.

Нет, вижу, конечно, не пятилетняя девочка, но все ж таки девочка, наверное лет двенадцати, молоденькая такая, никак девушкой назвать нельзя, но что удивительно – так сидит, так одета, такая глубина жизни в лице и взгляде вместе с невинностью, что девочки в двенадцать лет не могут же быть такими! В ушах кораллы рдеют, на шее цепочка тоненькая золотая, пальто расстегнуто, на кофточке верхняя пуговица расстегнута и цепочка вниз в ложбинку скользит, я взглядом вдоль нее скользнул и смутился.

Тут девчушка на меня посмотрела и ожгла, и в туман мягкий я стал обволакиваться.

Смотрела она на меня – странно... Взгляд был нежной и страстной женщины, почти бесстыдный взгляд, но и невинный вместе, покорный и гордый, манящий, загадочный. Бог его знает, что это был за взгляд! Лицо преобразилось, теперь проснулась женщина, о, теперь ей было девятнадцать лет!

И я не мог отвести взгляда, я взглядом молил ее смотреть тоже, я целовал ее взглядом. Я пропадал, умирал, я был в ее власти, валялся в ее ногах, я смотрел отчаянно, как смертник в последнюю секунду смотрит на небо.

И ведь я ждал ее! Я целых три года создавал в воображении, я вылепил эти детские губы, темные брови, невинность бесстыдства, я видел ее в снах, я ждал ее всю жизнь, и вот – дождался!

Так мы ехали, почти вечность, но поезд остановился на станции Приморская и у выхода из метро я догнал ее и заговорил. Я был жалок. Я лепетал ей, что Поэт и музыкант, что буду жить для нее, построю ей хрустальные чертоги, а она ослепительная стояла напротив и смеялась надо мною.

– Ведьма – воскликнул я – Вы ведьма! Но все равно ... Я должен Вас увидеть еще раз!

Солнце нас заливало, она была одета роскошно, так одеваются только гетеры, и я никак не мог решить, двенадцать ей лет или двадцать, дитя она или женщина.

Конечно, я был смешон и жалок, но я умолял ее взять мой адрес, я сказал, что ведь может настать минута, когда отчаяние настанет, а пойти будет некуда, вот тогда она и придет ко мне!

Она взяла адрес, засмеялась на прощанье и ушла.

Что мне было нужно? Только ли женщина? О, нет! Женщина была мне нужна, ибо только в ней было спасение и новая жизнь, но без спасения и новой жизни мне не нужна была никакая женщина ...

Я ждал чуда.

В звуках гитары, в резких аккордах, пронзительных ассонансах я молился и кричал небу – отзовись!

Но – отзывались только соседи и бегали жаловаться.

Я не ожидал чуда как изменения личной судьбы, неожиданного подарка, поддержки или взлета. Ни императорские почести, ни сокровища миллиардеров, ни знания и слава ученого меня не волновали, но проломиться сквозь каменные стены тюрьмы, в которую меня запер мир, можно было лишь при помощи чуда. Необходимо нарушить естественные законы, чтобы явилось новое сознание. Если камень всегда падает вниз, и никогда иначе, то существует только этот проклятый мир, а иного нет. Я ждал падения камня к небу, ждал бескорыстно, ибо ни денег, ни почестей мне его взлет не сулил, но только бы содрогнулся весь мир и треснули его каменные законы, и вздыбилось бы мироздание. Другая жизнь стала бы возможной и оправданной, ибо Необходимость как единственная мера бытия больше не царствовала бы.

Так прошел год, и вот апрельским мокрым вечером, в субботу, в мою дверь постучали робко.

Сердце сразу упало. Я даже не подумал, что это она, я ничего не подумал, но взволновался, голос пропал, и открывал медленно, медленно, боясь вспугнуть.

Да, она стояла на пороге, такая же красивая, такая же роскошная, обольстительная, и обволокла взглядом. Опомился я не сразу, уже в прихожей, когда она удивленно спросила:

– Что ж Вы не разденете меня, не предложите войти?

Лихорадочно снял я пальто, помог снять сапоги (заедала молния) и когда она уже надела тапочки, вдруг бросился перед ней на пол и обнял ноги.

Воистину, она была неземных кровей. Я поднялся с пола смущенный и красный, а она стояла невозмутимая и высокомерная. Провел ее в квартиру, скороговоркой показал остатки бывшего великолепия, усадил на диван, сам сел напротив, и мы замолчали.

Тут вдруг спасительная идея мелькнула – Послушайте, Вы будете пить?

– Буду...

– Тогда ... тогда ... я мигом... Вы пока начистите картошки (Господи, неземную заставил картошку чистить!). А я... я принесу.

Хорошо хоть – деньги были...

Купил шампанского, вина и водки, конфет, пряников, и бегом запыхавшийся прибежал. Ведьма уже картошку начистила и скатертью стол накрыла.

В тот вечер я был в ударе.

Играл ... да, мне самому начала нравиться игра моя, а ведьма сидела околдованная... Я бы и всю ночь играл, но она подошла, отобрала гитару, сказала, что хочет спать.

Я постелил ей на диване, себе на пол бросил старую шубу, прикрыв одеялом.

Ведьма смотрела с улыбкой на мои приготовления.

– Ты что, на полу собираешься спать?

– Да ...

– А я?

– На диване.

– А потом?

– Когда потом?

– Разве ты всю ночь и проваляешься на своей шубе?

– Да.

– Ты что, псих?

– Пожалуй, и псих...

– Тебе женщины не нужны?

– Ты – нужна!

– Так почему?

– Я хочу большего ...

– Чего?

– Безумия... Я хочу, чтобы ты меня любила. Нет, вовсе не того хочу я, что теперь так легко называют словом “любовь”, а чтобы огонь упал с неба и спалил нас обоих насмерть, а мы бы благословляли смерть. Когда ты на меня в первый раз смотрела, время останавливалось и не существовал ни мир, ни я сам. Я хочу, чтобы время остановилось и для тебя.

– Такого не бывает, дурачок, да никому и не нужно, а тебе первому...

Ника не приходит, такая тоска на сердце, какой и раньше не бывало. Когда она в первый раз пришла, я поклялся, что пить больше не буду совсем – и вот, увы, напиваюсь теперь, когда уже не пью, чаще чем раньше, когда еще пить не бросил.

Ника, Ника! Кого из вас люблю больше, тебя или гитару? Я тогда пытался объяснить, что мне нужно, я снова взял гитару и сыграл “Каменный плач”. Что это такое?

Вот, вообразите, лежит себе один камень у ручья, на него сверху небо смотрит и солнце светит, и жить хорошо. Ручей течет и мурлычет, в пору и камню мурлыкать тоже. И вдруг, не знаю я, не знал и он сам, почему, вдруг узнает он, что он – камень, что сердце у него не взорвется от боли и любви. И находит на него тоска великая такая, что лютее любви и боли, и начинает он томиться желанием перестать быть камнем, а стать живым и страдающим.

Эту тоску вырывал я из струн, и милой сказал: – Жду Преображения, ничего не приму и ни на что не соглашусь, если не переменится мир и я сам так, как переменяется мир в Преображении. Я не стремлюсь играть хорошо, даже не стремлюсь играть лучше других – нет, призываю, томлюсь об игре, в которой разрушаются законы мироздания и оно становится другим. Я хочу играть – магически, так я люблю и тебя. Человеческим пресытился я, и стучусь в другой мир. Хорошо ли там будет, не знаю, но и ты из него, хотя – не сознаешь.

Спал я на шкуре медвежьей крепко, поздно проснулся – обольстительная испарилась, и только легкий запах духов остался.

Потом я ездил до Приморской каждый день, но все не мог ее встретить; а все равно уже не сомневался, что дорожки наши встретились и не разойдутся, и они сошлись.

Пришла поздно вечером, пьяная, глаза горели и прожигали насквозь, и бросилась в мои объятия. Но в моем сердце пересохло что-то и я взял гитару. Гитару я обнимал и целовал, и рвал струны, и Ника плакала.

– Ты знаешь, кто я? – спросила она.

– Да, знаю, богиня.

– Нет, я ведьма!

– Хорошо, ты – самая божественная богиня ...

– Подожди, сейчас ты узнаешь, какая я богиня. Ты кого любишь больше, меня или гитару?

Я молчал. Во мне внутри холодеть начало. Я молчал.

– Вот возьми свою гитару, и разбей ее об стену! – и я буду только твоя и ничья больше. А не разобьешь – уйду навсегда, и ты меня больше не увидишь. Разобьешь?

Я молчал. Ведьма захохотала...

– Зачем тебе моя гитара? – спросил я.

– А ты от меня разве не того же требуешь? Разве не хочешь ты, чтобы я больше никому не принадлежала, а сам принадлежишь целому миру?! Ну, так, голубчик, я задам такой пир, какой еще тебе и не снился! Я пошла сзывать гостей... Я еще вернусь – но не одна!

Человек суеверный, я придумал себе новую веру – воскресным утром, усаживаясь за чай, расставляю я два прибора – в последний год живу я замкнуто, и утром пью чай один, но второй прибор ставлю для Ники.

Так прошло шесть воскресных утр, и я был верен себе, и даже если томилось что-то в голове и ныло, я ограничивался крепким чаем. Наступило седьмое утро, и сердце екнуло. – Господи! – сказал я ... и остановился.

У нас уговор.

Я отступился от Господа после того, как он от меня отступился. Видите ли, до сих пор я твердо уверен, что ничего, влияющего на Судьбу, человек одними своими силами сделать не может. Например, человек может замыслить и написать роман, но будет ли это гениальный Роман, зависит от Господа, от того, вложит ли Господь в человека великое чувство и змеиную мудрость. Так и любовь, то есть огонь, падающий с неба, зажжет ли человеческое сердце или напротив, обратит его в пепел, никак не подвластно воле того, на кого огонь сей пал.

Люди, конечно, в большинстве думают иначе, потому что те мелкие чувственные приключения, которые выпадают на их долю, им как будто подчиняются, и пойти ли сегодня вечером в кино, или в подворотне распить бутылку, точно они сами решают, да и никакой уважающий себя Бог не станет вмешиваться по мелочам.

Но вот стать ли Дон Кихотом и, невзирая на людские насмешки, искать свою Дульцинею, стать ли Дульцинеей из пустой и пошлой бабенки – о, для этого одной человеческой воли мало.

И потому, зная ничтожество своей силы, обратился я как-то к силе небесной, но небо надо мною только посмеялось.

– Ну, что же, ладно, – сказал я. – Больше просить ни о чем не буду, и вообще знать Тебя больше не знаю.

Так вот мы с Господом расстались, и я даже перестал в церковь ходить.

Итак, в седьмое утро, сердце екнуло и я чуть не изменил уговору, но сдержался... Но чай не спешил пить, медлил, уж чайник остыл и я поставил его вновь на огонь – тут дверь скрипнула и медленно стала открываться. А я не закрываю ее на крючок или щеколду, и если нажать на ручку, то она и откроется. Я встал. Я уже знал. Нет, только еще верил, но – без сомнения – что это она, моя Ника.

Дверь отворилась широко, и на пороге она предстала, робеющая и смущенная. Робость была в движении руки, рука нерешительно опустилась к бедру, и так замерла, а в лице – в лице порхала какая-

то неясная улыбка, почти насмешливая, чуть ли не наглая... ну, улыбку эту я сразу схватил и понял, колкая улыбка была иголкой ежа, которую он от волка выставляет, я смотрел все внимательнее, да, даже слишком внимательно, то есть взгляд мой сгустился до опасной черты, когда уже обрывается сердце... Она мой взгляд поняла тоже... по своему поняла, как рабовладелица признает и понимает раба.

И я почувствовал, что снова падаю в ту бездну, в которую уже однажды падал, глаза ее широко открылись и проглотили меня, взгляд обволакивал, отступал, приближался снова, разгорался тем жарким пламенем, как в морозный день горит костер, обещал и муку и блаженство и дарил их... и не только взгляд затопил меня! Губы ее приоткрылись и влажно блестели, чуть-чуть дрогнули, так, как при слове “да”, и еще, и еще дрогнули, и я слово слышал, и упивался им, я переживал то состояние, когда слово становится плотью.

Слово даже не было произнесено, но было замыслено и воплотилось.

Что же это было такое? Я позже вглядывался мучительно в воспоминания, и кажется, все понял, но ... писать не решусь...

Может быть, мучительное блаженство длилось лишь мгновение. Вот передо мною стояла робкая девчонка лет пятнадцати, насмешливая от смущения, а наваждение мне только приснилось.

– Ну, вот я и пришла! Ты ждал?

– Как же! Я жду тебя семь недель, и даже чаю налил.

– Только чаю? Я думала, ты будешь ждать меня с цветами и шампанским.

– Дорогая! Цветы и шампанское приобрести несложно, мы пойдем гулять и зайдем за цветами. Но я жду тебя семь недель и готов подарить все, что имею – мечты, воображение, тоску и любовь.

– Как, всего семь недель? Иные ждут и по семь лет.

– А я разве не всю жизнь ожидаю тебя? Я прошел все сады и улицы этого города, заворачивая и в подворотни, но тебя нигде не было.

– Хорошо, я верю, что ты ждал и искал именно меня! А ты разве один?

– Да!

– Почему же?

– Со мною трудно ужиться. Я слишком покорный, а женщины этого не любят, поэтому даже самая властная не выдержала больше года и ушла.

– Но ведь и я не насовсем пришла... Пока – только на несколько дней... А потом – не знаю ... Знаешь, меня прогнали из дому, и

жить негде... то есть, конечно, нашлось бы где, но я о тебе вспомнила, и решила заглянуть... Так я поживу у тебя? Я не надоедливая. Ты будешь делать, что хочешь, писать, пить чай, играть на гитаре, а я заберусь с ногами в кресло, как кошечка, и так посижу. Хорошо?

Странная неделя пролетела как мгновение, я не буду ее описывать, и не смогу! Одно только скажу – это была молитва. Ника спала, а я молился.

Но странная неделя промелькнула и настало утро, когда Ника исчезла, и я снова ставил на стол две чашки и медлил пить чай.

Я, конечно, запутаюсь в противоречиях, если буду следовать дальше по течению мысли, хотя это все же не значит, что мысль не верна. Так и плывя вниз по реке, которая распадается при впадении в океан на тысячи протоков, мы можем потеряться в них и воскликнуть – река пропала!

Но, распадаясь, мысль не уличается в ложности, ибо, подойдя близко к истине, мы должны помнить, что никакою мыслью Истина не обнимается, и мысль, следовательно, бывает ложной не тогда, когда не охватывает истину, а когда не подводит к ней вовсе.

Ну и ладно, Бог с ними, с противоречиями! Я говорю о Религии. Итак, религиозность есть связанность и, хотя бы человек и не сознавал своей связи с тем, что вне его, но она может существовать независимо от его знания.

Всякая ли связь есть Религия, боюсь утверждать несомненно...

Но ученый, живущий для науки, хотя бы его наука была отрицанием Бога; революционер, преданный революции, пусть даже революция его взрывает храмы и сжигает иконы; самый обиденный человек, далекий от общественного дела и философского сознания, а занятый исключительно работой и семьей – все они религиозны, и Бог их – наука, революция или семья. Они служат и живы некоей внеличной идеей, они продолжены за грань своего “я” и соединены с тем, что вне их.

Я же освободился от иллюзий и ограниченности, стал духовно свободен и – страшно одинок.

Священные тексты утратили священность, как детские игры теряют пленительность, когда ребенок превращается во взрослого. Можно умиляться воспоминанием; можно с умилением смотреть на игры детей; можно на мгновение притвориться играющим – но ведь не сделаешь детские игры своей жизнью, если только не сойдешь с ума, как не наденешь всерьез короткие штанишки.

Я прихожу в церковь, чтобы вспомнить детство. Многие думают, что Бога нет, но заставляют себя верить в него. Я знаю, что Бог есть – и не могу в него *верить*.

Еще меньше жизнью может наполнить меня наука и познание. Вот я сижу с затаившимся сердцем у двери и жду шаги Вероники. Если она придет – я буду хотеть жить. Если же не придет – ничто меня не утешит. Неужели так важно знать, кто правил в Китае в 3-м веке до нашей эры? И не все ли равно, на сколько частей разбивается атом при столкновении... Раздался звонок – и чашка выскользнула у меня из рук... Разве я буду считать осколки чашки?

Форма и строение сцены, на которой заканчивается моя трагедия, ничего для меня не значат. Вероника меня не любит! И пусть хоть исчерпается атом до дна, и пусть он воистину неисчерпаем – разве от этого мое сердце разобьется менее?

И, не в том дело, что поскользнулся, влюбившись... Я по своей воле – когда одни пошли болеть на стадион, другие приникли к микроскопу, а третьи обратились к Богу – пошел искать Нику. Мне скучно все другое.

Быть может, Бог, Наука и повседневная жизнь – это ваша любовь, поэтому они и позволяют вам жить и светят вам. А мой свет – любовь к Нике!

И, может быть, атомы, молитвы или прорывание каналов на коже Земли – все равно что рождение женщиной детей, и привязывает вас к тому, что вне вас – а мое дитя – моя Ника!

Но стала ли она моею религией, и привязала ли меня к жизни? Увы, утерял я свободу мало! Не более, чем тот, кто закрывает дверь изнутри – в его ведь воле выйти из укрытия! Так я знаю, и знал всегда, что любовь не заключила меня в себе, а я ее как птичку в клетке стерегу и лелею. Может быть, я не люблю ... не люблю так, как любят, когда несомненно чувствуют, что любовь – цель и оправдание жизни.

Если бы Ника бросилась передо мною на колени, я не знал бы, что делать с ее любовью. Я испугался бы ее любви больше, чем боюсь, что она меня навсегда покинет.

Вот она какая нужна – гордая, холодная, издевающаяся, унижающая меня беспрестанно, но привязанная ко мне страстью отталкивания...

Хотя... но это несбыточно... однажды, за минуто до пробуждения, мне почудилось, будто ангел, кроткий и бесконечно любящий, прижался щекой к моей руке и беззвучно заплакал, жалея меня. И я услышал – или мне почудилось? – Мой бедный, несчастный, мой одинокий покинутый мальчик... Несбыточно... ведь надо было вместить меня со всей моей отделенностью от мира, как мокрого котенка согреть за пазухой, и понять про меня все – и всю мою философию, и безрелигиозность, и одиночество, уязвленную гордость, отчаяние, и – нежелание больше жить...

Да, если бы полюбила меня преданной жалостью – не гордостью, желающей меня поработить, а жалостью, готовой позаботиться обо мне и пожертвовать собой для меня.

Ах, как я сладко распелся! К черту бестолковые грезы! Довольно смотреть сны! Надо взглядеться пристальней в реальность!

Да, я больше не хочу жить... Но я хочу уйти высокомерно, торжествуя над жизнью, а не униженный ею. Не оттого уйду я, что ты не любишь меня! Самая ненавистная для меня мысль, будто я протянул руку за похлебкой, а мне не дали, и счастливые даже готовы пожалеть меня – унижающей жалостью!

Нет! Я ударил руку, протягивающую мне милостыню... Вам ли дано накормить меня?! А, черт! Этот высокопарный тон... Но кому же я объясняюсь? Не импульс, не минутное чувство ведут меня. Я отказываюсь от вашей жизни в ледяной холодности, так и не смейте думать, будто в запальчивости!

Теперь второй час ночи, Вероника не пришла и сегодня. Ну, что же, я не буду спешить. Лягу-ка я спать... Я ведь свободен и, следовательно, умереть могу не спеша...

Вероника мне была нужна, чтобы смерть мою оправдать. К жизни она меня все равно не привязала бы, я не поверил бы в вечность и абсолютность ее любви, а тогда стоит ли? Ну, если она сегодня пригласила меня на танец, а завтра страстно к другому прижмется? Временное не может быть основанием жизни... Самый заядлый материалист нуждается в вечном еще больше сектанта, он над вечностью Бога, Духа, Истины, Любви и прочей вечной мишурой смеется, а сам-то, сам-то! Заботится об – шире некуда – пользе человечества ... строит счастье всех грядущих поколений... Истину с большой буквы презирает, а до какой напыщенной гордости гордится своим положительным мировоззрением! Наука, мировые законы, прогресс – вот камни его Храма ... Еще как Храм-то ему нужен! Еще как он молится! Только не Богу живому, а схеме, абстрактному идолу – науке, прогрессу, пользе человечества!

Нет, мне Вероника нужна, чтобы пуше разочарованность мою оттенить!

Вот я в последний раз пришел с надеждой – и отвергнут. Ну, теперь гордо уйду – и презираю ваше отвержение!

Прости за многословие, но еще немного попрошу твоего внимания...

Ника, если еще раз ветер тебя занесет ко мне, и случится это раньше, чем стану совсем невидим, не провожай за черту. Я и живой-то чувствовал себя бессильным около тебя, а уж теперь-то...

Все говорят, что надо жить... Мол, иным очень трудно дается жизнь, а сокрушая преграды, живут ... Но – живет человек вовсе не

потому, что тащит жизнь за собой как по глинистой мокрой дороге тащишь сапоги, нет, силу надо приложить, чтобы остановить жизнь, а так она сама собой несется как метеор, пролетая и безвоздушные пространства, и в плотном воздухе дымя и раскаляясь, и только врезавшись в землю, в ней уже остается навеки. Попробуй потащить жизнь после того как она остановилась – вот тогда, напрасно раскачивая ее (так забуксовавший автомобиль качают) и спросишь себя – а зачем жить? Стоит ли? То есть, спросишь – жить ли? Впрочем, врезавшись в землю, уже не спросишь, но застряв в вязкой глине, и спросишь, и проклянешь.

Ну, почему я не могу жить так, как все? Люди вон смеются, радуются жизни: утру – что солнце встало; вечеру – что работа кончена... Жизнь весела, заманчива... Скажи им, что не могу больше, не поймут, осудят, засмеются...

Вот я в растерянности перед днем сегодняшним, и перед завтрашним... Но что же было вчера? Как я прожил все прошедшие годы, и чем жил? Что наполняло жизнь и душу? Ведь наполняло что-то, светил свет... А кажется, будто только сейчас проснулся, и раньше ничего не было...

Нет, прежде я не жил! Вся моя жизнь была – лишь ожидание тебя! Но уже и ждать перестал. Уже впал в забытие, и время текло и несло меня бессознательно.

И вот – очнулся... Почему же теперь хочу убежать из этого мира, только ли из-за тебя? Нет, мука моя в другом, и ты не виновата в ней – напротив, ради тебя я отдалил свой побег, который, быть может, жил во мне всю мою жизнь. Трудно объяснить тем, кто не знал другого мира, почему я из него хочу убежать – так, кто родился в тюрьме и никогда не был на воле, станет ли тосковать и плакать и биться об тюремные стены, и не посчитает ли безумцем того, кто и плачет и бьется? Я одного лишь боюсь – что и за тюремными стенами – та же тоска и скука, и холод, и мрак душевный...

Ника, Ника....

## ПЕТИ-МЕТИ

**В** конце ноября установилась мягкая снежная зима, днем выглядывало солнце, а вечером падал легкий чистый снежок. Сережа Лодочкин и теперь работал через пень-колоду, часто прогуливал, но пил изредка и понемногу. Нельзя сказать, чтобы повлияло собрание, на котором его прорабатывали, или ежедневные упреки матери. К проработкам он привык с двухлетнего возраста, и они не то, чтобы не трогали его, а даже доставляли удовольствие. Слушал он их музыкально, то есть переключал какой-то рычажок в душе и переставал воспринимать слова, а только слушал интонации. Сначала было легкое скерцо, двигались стулья, хлопали дверью, затем звучала трагическая тема судьбы, вступали валторны, гремели барабаны, близилось возмездие, – но вдруг порыв слабел, барабаны смолкали, дул легкий патетический ветер, Сережа поднимал голову, стучал в грудь и клялся исправиться.

И как не поверишь этому круглому розовощекому лицу, синим глазам с длинными девичьими ресницами и простодушной и невинной улыбкой, играющей на пухлых красивых губах?

Ему верили еще раз, в последний, верили снова, разуверялись, начинали сначала, а Сережка лежал в девять часов утра с большой головой и мечтал... Ну, мечты были не слишком возвышенные, известную роль играла в них темно-вишневая жидкость и конфеты трюфели, до которых он был охотник в не меньшей степени, чем ... Впрочем, о еще менее возвышенном я пока умолчу и предоставляю простор читательскому воображению.

Итак, с утра падал легкий снег, будильник уже не звенел, мать была на дежурстве, да и день был субботний.

Легкие мысли промелькнули о компании и растаяли, как июньский иней. Сережа повалялся до одиннадцати, выпил чаю и снова лег. Сна не было, а какое-то необыкновенное состояние присутствия в другом мире или – предчувствия другого мира. Казалось, что вся эта жизнь протекает не в жизни, а во сне, и оттого самые обычные вещи становились волшебными.

Чай был тот же, те же обои на стенах, шторы на окне – и все же ничто не было прежним. Прежний мир состоял из немых предметов, и какими бы они ни были красивыми или дорогими, но не добавляли души и жизни, как не добавляет жизни самая звучная виолончель, пока спит в шкафу. А сегодняшний новый мир наполнялся звуками, пеньем и музыкой, и предметы ожили.

Так в полубодрствовании провалялся Сережка до вечера, потом погулял по центральной улице, улыбнулся двум девчонкам, проводил

их нежным взглядом, не имея сил пришвартоваться, и, наконец, попал в кинотеатр на последний сеанс. В глухом провинциальном городишке ложились спать рано, и в десять часов в зале было всегда пусто, а нынче вечером в железнодорожном клубе были танцы, и все, кого не клонило ко сну, отправились туда.

В третьем ряду сидела девушка в алой вязаной шапочке. Сережа прошел мимо нее два раза, бросая небрежные взгляды, и, оставшись доволен осмотром, остановился.

– Вы не разрешите сесть рядом с Вами?

Девушка подняла медленно серые глаза, внимательно осмотрела Сережу и спросила неожиданно:

– Я жду кавалера. Вы – кавалер?

– То есть в каком смысле?

– В прямом. Вы сможете проводить меня домой после кино?

– Господи, да я только об том и мечтаю!

– И я мечтаю. Дело в том, что я здесь живу всего лишь третий день и боюсь возвращаться поздно одна. Так садитесь же, кино начинается.

Сережа сел уже вполне очарованный. Что за кино мелькало там на экране, не знал и не видел, а либо смотрел искоса на очаровательную соседку, либо просто плавал в розово-синем тумане.

Кончился фильм, зажегся свет, выпустила их дверь на улицу, и пошли они по Тракторной улице в дальний городской район Китайки, в которой и впрямь возвращаться поздно было опасно.

Как Сережка был первый балагур и весельчак еще в школе, и шибко девок покорял краснобайством, то пустился и ныне вязать словесные силки, авось птичка попадетса и запутается, но странное настроение музыкальности все нарастало, и говорить попусту расхотелось. Тут прошли они 2-й километр, предместье Китайков, и остановились на высокой железнодорожной насыпи. Внизу мигал синими глазами одноэтажный деревянный домик, окруженный ровной белой снежной скатертью, резкие нежные пушинки летели сверху и таяли у серых Анютиных глаз. Сережа не то оробел, не то смутился, обнять и поцеловать эту странно красивую девушку было отчего-то неловко, будто поцеловать вдруг красный цветок. Он отошел на шаг и сказал отвычно нежно:

– Вы – аленький цветочек на снегу. До Вас и дотронуться боязно.

– Конечно, если я и вправду этот волшебный цветочек, то могу принести несчастье, не желая этого.

– Скажите, а отчего вдруг возникает такая симпатия, будто весь век только и искал одного человека и вот вдруг нашел? Отчего одни люди нравятся друг другу, вовсе об том не стараясь, а другие, хоть расшибись об стену, ну никак не нравятся?

– Не знаю, в одну причину и не вместишь. Может быть, иные давно уже искали друг друга, уже до встречи увидели и вообразили, вымечтали до веснушки и родинки, а другие смешались случайно, как, например, при переплете книги листы разных глав соединяются рядом, а потом оба разбивают сердца друг другу в ненависти и озлоблении, не зная, что виноваты не они сами... Но есть еще влечение сходных судеб, когда люди как будто и совсем разные, но души провидят друг в друге что-то роковое и от страха или жалости теснятся друг к другу. Вот мне Вас отчего-то ужасно жаль.

– Странно как-то. Пока меня еще никто не жалел, да и не за что было, я, вообще-то, не очень хороший человек был... Боюсь, в Ваших глазах упасть могу, ну, в общем, я был пьяницей и хулиганом.

Девушка засмеялась.

– Это не страшно. Теперь-то мы другие! Я вот раньше грешницей была ...

– Как это?

– Вот так это! В шестнадцать лет сбежала из дому и вышла замуж, муж меня бил, а через два года и вовсе бросил. Он меня бьет, а я руку его поймаю и целую и на коленях перед ним стояла. Теперь приехала к тетушке грехи замаливать, тетушка у меня сектанточка, и за меня Богу молится.

– Как же она молится, когда у нас и церкви нет, еще до войны, говорят, сломали?

– А зачем сектанточке церковь? Ей церковь не нужна, она в нее и не пошла бы, коль и была б церковь. Они, сектанточки-то, знаешь, как говорят? Они говорят, что кто в Бога верит и в церковь ходит, все равно как в законном браке живет, и вместо веры, то есть любви, у них привычка. А они Бога любят страстно и считают себя его любовницами, помимо него никакой другой жизни не ищут и не хотят. Тетушка у меня молодая, ей чуть за тридцать, ее тоже вот муж бил, пока она замужем была, да она сама опомнилась и ушла от него, а я вот не смогла опомниться.

– Баптистка тетка-то, что ли?

– Не, у них своя секта, они *высотницы*. Вот, если помнишь, Мономах говорил: Держи очи долу, а душу – горé! Они так и живут, каждый день ввысь устремляются, к Богу, оттого и высотницы. Которая вера человека на месте оставляет, та не вера, а если беспрестанно влюбленный ближе к Нему подвигается и только для того и живет, та только Вера.

– Послушайте, Анюта! – с тоскою спросил Сергей и со страхом, боясь грозного соперника, – вы-то хоть не сектанточка, Вы не верите в Бога?

– Нет, не сектанточка я! – протяжно пропела Анюта и засмеялась

ласково. – Меня Бог в секту не принял бы. Муж мой, когда не бил меня, ведьмой звал, ну а когда бил, то и похуже. Ты, конечно, спросил меня о мнении, принимаю ли я, что Бог есть или что нет его. А это ведь совсем не важно, что мнит человек, один и мнит, что есть, а равнодушен к Нему, а другой сомневается, но держит Его в сердце. А я и не сомневаюсь в том, что Бог есть, даже попросту знаю это, но – не люблю Его. Он – не моей души кавалер, он грозен, непостоянен, не нежен; вот, например, Христос исцелял больных и увечных, но не чувствую я, чтобы он жалел их, чтобы кого-то из окружающих он жалел, даже тех, которые шли за ним. Даже когда проповедует любовь и добро, он холоден, а страсть в словах его лишь при обличениях и угрозах. Нет, кто людей жалеет, тот скажет иначе; тот скажет так: дорогие мои, ведь мы все одинаково несчастны, и добрые и злые, так для чего же делать друг друга еще несчастнее? Не оттого не надо побивать камнями грешницу, что и мы не без греха, то есть что это только мы – грешники не вправе осуждать ее, но перед Богом она виновна, – нет, не вправе ее и Бог осудить, потому что и перед ним невиновна тоже. Есть грех только один – жестокость и ненависть, и у кого сердце доброе, тот безгрешен, хотя бы и все заповеди сразу преступил.

Еще говорит он – не судите, чтобы и вас не судили! Но не должно бояться суда, а судить себя надо самому и судить так, чтобы душа суда не боялась. Но ближних не судите, потому что где любовь, там нет осуждения, там или сочувствие, или скорбь.

Еще он говорит, что ближних любить надо, как самих себя, а ведь кто раз хоть полюбит, тот узнает, что любить как себя невозможно, что полюбить другого значит пожертвовать собою совершенно и любить больше, чем себя.

Мне в его проповедях одно только понравилось, что и врагов любить надо, но и эта проповедь несправедлива. Любить надо лишь тех, кто любит нас, и жить так, чтобы и враги нас полюбили, а тогда и их можно будет полюбить.

Ну, да ладно, Сереженька, я замерзла, иди домой, а приходи завтра к нам в гости часов в семь, я борщ сварю и поцелую тебя завтра, если захочешь.

И она легко скользнула с насыпи и скрылась за калиткой.

Где бродил Сережа всю ночь, не помнил.

И днем не ложился спать.

А в воскресенье вечером был уже у голубого домика и робко стучался в дверь.

Встретили его радостно и ласково, тетушка-сектанточка сверкала черными глазами и цыганским ожерельем, изгибала стройный девичий стан и звонко смеялась, борщ дымился и благоухал, вино искрилось в

бокалах, но к нему не притронулся Сережа. Он слышал ясно все и ничего не слышал, потому что, кроме волшебной музыки, наполнившей удивительную келью схимниц, другая чудная музыка звучала в душе.

Поздно вечером, забравшись босиком на диван, обе монашки занялись рукоделем, а Сережа сидел с мотком ниток у их ног и то ли распутывал, то ли запутывал нитки, незримо обвивающие его сердце.

Звякнула полночь. Зашумел ветер за окном, стукнула калитка, и потянулась белая снежная насыпь, белая снежная дорога, по которой Сережа шел, пьян-пьянехонек без капельки вина. Блаженная улыбка порхала по его красивым губам, и синие глаза вспыхивали.

– Ах, вот где ты, гад! – вывернулся из-за товарного состава черный малый в полушубке и без шапки. – Трое на одного, падлы, шапок вам не хватает?

Он прыгнул, сдернул шапку с Сережиной головы, в левой его руке тускло блеснуло острие ножа.

– Послушай, погоди, ты что-то путаешь, я не был здесь, ты ошибаешься ... – залепетал Сережа. Он прежде был ловок и смел, но незримая сила сковала его движения и язык, он не мог так сразу уйти из мира, где звучала музыка, и двигаться стремительно и решительно в черном и грязном мире.

– Ты мне эти пети-мети брось! – крикнул малый и бросил руку вперед. Падая, Сережа увидел на его лице злые слезы ненависти и отчаяния, и недоумением прикрылись его глаза.

– Что же здесь? – подумал он. – Не должно быть так скоро, я не ответил, не возразил, пусть эшафот, приговор, но здесь – не так, слишком скоро ... Так красиво музыка летела, сияла, и вдруг струна оборвалась – и все? И больше ничего? И спорить не с кем, возражать нечему? Что же это за Бог такой, что вместо спору и силлогизмов взял кол в руку и саданул? Нет, в этакое верить я не хочу, не буду!

А любовь?

Он увидел лицо Анюты, глаза ее и губы. прощались у калитки минутку одну, мучительно хотелось обнять, но сердце обрывалось робостью. Удивительная проповедница засмеялась легко, обняла за шею и поцеловала так мучительно нежно, что Сережа заплакал и побежал по белой насыпи, а черный малый уже ждал его за товарным составом и плакал злыми слезами.

Левая рука дернулась слабо, с нее сбежала алая струйка крови – аленький цветочек на белом снегу, и вдруг последний отблеск радости пробежал по угасающему лицу. Крепка, как смерть, любовь, но и крепче смерти. Не виноваты ни в чем ни добрые, ни злые, а злые несчастнее всех, ибо их смерть некому будет оплакивать.

## УЧИТЕЛЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Я любил слушать и собирать разные истории о необыкновенных людях или необыкновенных случаях из жизни, и зная это, всякий раз, как я приезжал, тетя Зина принималась рассказывать мне были и небылицы – либо которые воочию происходили, либо которые слышала она из других уст. Много было легенд о тайных явлениях Иисуса Христа и Девы Марии на нашей грешной земле, или пророчества о скором конце света, наказаниях за богохульство, за сожжение икон – последние сюжеты, кажется, кочевали по всей стране и даже в литературу попали, и хотя тетя Зина клялась, что либо по соседству, либо в соседней деревне сие происходило, я клятвам не очень верил; но интересовали меня не рассказы о чудесах, а те бытовые истории, в которых проглядывало что-либо не от мира сего.

– Ну-ка, я тебе сказывала, как Петька Евстигнеев со своего двора коня украл?

– Сказывала, тетя Зина.

– В то вот еще пасечник Ермолай с чертями самогонку гнал ...

– И это говорила.

– Так я тогда про нашего учителя расскажу. Перед самой войной приехал к нам учитель молодой из Питера, там он в университете учился, да за какой-то непорядок к нам попал – и то еще, говорил, милость ему была дадена. Университета он не кончил, и все тосковал по Питеру да по учению.

Учил детей хорошо, справедливо, дети его любили, но к нашей жизни прилепиться никак не мог, ходил по деревне все такой задумчивый, и стихи сочинял, идет и бормочет, толь свои, толь чужие. У меня младшая сестра Поля у него училась, и каждый день только про него все и рассказывала, и что он им сказал, и как смотрел, и был ли весел али задумчив.

А как в апреле побежали ручьи, да почки зеленые на деревьях лопаться стали, и словно хмель какая по миру полилась, учитель проповедовать стал. То либо из истории что-нибудь назидательное рассказывает, как в былые времена люди спорили, кто лучше другого добра да любви людям желает, да друг дружку жгли за споры эти, и про Галилея, и про Джордано этого, которого сожгли, и про нашего раскольника протопопа; то из ученой жизни – кто как мир мыслил да объяснял.

И вот раз у него такая проповедь вышла.

Стал он говорить против слепой Веры и против подчиненья людей ложным идеям. Верить, говорит, ничему нельзя, а можно только самому до всего дойти. Младенец, говорит, к новой жизни голым рождается, и так же, кто хочет в Духе родиться, тот должен сначала от всего отказаться и во всем усомниться. Авторитетов, говорит, нигде нет, ни на небе, ни на земле, только своя собственная душа источник всякого знания и всякой Веры. Распался потом, и приказывает: а ну-ка, дети, повторяйте за мной – нет у меня авторитета большего, чем я сам! Все врут, а авторитеты пуще других! К черту авторитеты и всякие их идеи!

Ну, повторяют ...

– Вы меня любите? – спрашивает.

– Любим! – кричат.

– И всякому моему слову верите?

– Всякому!

– Так сделаете, что я вам скажу?

– Да, сделаем.

– Ну, так теперь Вы почтенье к авторитетам уничтожьте в себе, и освободитесь! Я научу вас стать свободными, а это выше всякого другого ученья. Сделаете, что скажу, и станете новыми людьми. Вот пусть каждый из вас подойдет ко мне и громко скажет: – Все авторитеты лгут, и учитель наш лжет тоже, Аминь!

Для чего он тут аминь приклеил, не знаю, но уж так и было.

– А кто, говорит, не подойдет, тот в царство свободы не достоин войти!

Вот и стали они подходить один за другим, первый то чуть дыша пробормотал, а прочие уж осмелели.

Последней Поля подходит.

Ну, тут я тебе должна вот что объяснить. Школа у нас хотя была семилетка, но в седьмом классе иные девки уж и на вечерки ходили, Поле то никак шестнадцатый год пошел, это только так говорил он – дети, а дети эти, бывало, кто седьмой класс окончит, смотришь, уж через год и замуж выходят.

Вот он и спрашивает их – любите ли вы, мол, меня? Ну, дак не одна и сохла по нем, и любим, говорят, а сами краснеют да глаза опускают. Парнишки, конечно, те и по простоте отвечали, привязаны были все к нему, он ведь в школе и жил, комнатка у него там была, к нему вечерами в гости приходили, книжки почитать, ну и так давал, книг он много с собой привез... А пуще других все "Братьев Карамазовых" хвалили, а как про Ивана Карамазова начнет рассказывать, дак того и в книге нет, так и кажется, что не то сам он Иван Карамазов, не то черт, который к тому приходил. Ну, вот. Подходит к нему Поля. Он Полю тоже давно заметил и как задумается, так и смотрит на нее, не отрывается, но будто в забытье

смотрит. Подходит, значит, Поля, останавливается перед ним и говорит ...

... Ах ты, ну до чего это окно проклятое, все скрипит и скрипит, душу выматывает! – вскрикнула тетя Зина и пошла окно закрывать.

– Теть Зин, ты прямо как американское телевидение! Те тоже – дойдут до самого интересного, и вдруг – реклама какого-нибудь порошка ... Ну, говори же скорей!

Тетя Зина вернулась медленно, села, задумалась, и словно нехотя продолжала.

– И говорит она ему: Виталий Андреевич, Вы самый умный и самый красивый, все авторитеты лгут, а Вы никогда не лгали и лгать не будете

– Постой, ты что должна сказать? Ты ведь должна освободиться, понимаешь, а для этого свергнуть все авторитеты, и одну только душу свою за авторитет почитать и одну ее слушать! Для освобождения своего ты и меня должна свергнуть, Вы вот мне верите, а я вот, может быть, худший искуситель и есть!

– Виталий Андреевич, а если послушаться авторитета, так разве не значит это свергнуть его?

– Ну, значит ...

– Вот я и решила послушаться! То, что Вы говорите, будто Вы еще пуще лжец, чем другие – неправда и ложь! Вы самый умный и самый правдивый из всех людей, и я Вас всегда любить буду ...

Последние-то слова она сказала тихонечко, так что только учитель и слышал.

Разговоры кое-какие по деревне было пошли после этого, но потом затихли, да и учитель затих, и так еще год прошел. Поля в город уехала учиться, сам он ее туда и отвез.

Вот снова апрель настал. Учитель в город поехал, вернулся веселый-развеселый ... Встретил меня как-то и говорит, усмехаясь: – А что, говорит, ведь Поля самая моя способная ученица оказалась, все же таки освободил я ее, и от авторитетов тоже.

И пошел, усмехаясь.

В школу он целую неделю не ходил, все пил, и никого к себе не пускал. Ночи были холодные еще, лужи ледком схватывало, и как-то конюх утром его на огороде нашел, лежит босиком и в рубашке одной. И что удивительней всего, вроде и не пьяный вовсе.

Принесли в избу, а у него жар, банки поставили, компресс обертывали, да уж ничего не помогло, на второй день к вечеру помер. За Полей ездили, сидела возле него, за руку держала, и тоже чего-то улыбалась. Очнулся учитель, спрашивает – будешь ли мне верить?

Что Поля ответила, не расслышала я ...

*Апрель 1982 г.*

II

# СУДЬБА И ВОЛЯ



## ЗАПИСКИ НЕНУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЛИ ИСПОВЕДЬ ОТЩЕПЕНЦА

### ОПРАВДАНИЕ

Решаясь представить эти записки на суд небольшого числа близких мне по душевным мытарствам людей, чувствую необходимость дать предварительные чистосердечные показания, как следователю или священнику. У гроба лукавить не принято и, если хороших слов покойник не заслужил, то лучше уж промолчать, чем говорить неправду – однако, мне нет нужды ни молчать, ни лукавить, я здесь вообще человек посторонний ... Дело в том, что часто, когда речь в записках идет от первого лица, героя и автора объединяют в одно, особенно же охотнее, когда и в симпатиях и интонациях их есть нечто общее; но я и не автор этих записок, и уж тем более не герой их.

Если вы помните, я как-то упоминал, что был знаком еще со студенческих лет с неким Афанасьевым Сергеем Александровичем и даже зазывал его на Новый год с чтением стихов. Правда, стихи разбирать было не легко, уж очень с запинкой он их читал, а вскоре и вовсе упал со стула, но тем не менее осталось от визита и до сих пор сохраняется впечатление гениальности и падения вместе.

Месяца два тому назад Сергея Александровича нашли в Крюковом канале; следствие предположило, что умер он от сердечного приступа: почувствовав себя плохо, попытался спуститься вниз и упал в воду.

Как человеку, знавшему его хотя не близко, но давно, родственники передали мне грудку его записок, которые меня заинтересовали настолько, что я попытался привести их в относительный порядок и переписать набело.

Несмотря на отсутствие плана, ясно выраженной мысли и цели, я заметил некую через все проходящую интонацию, которой я подчинил записки, переписывая их. Таким образом, я не стал выдерживать хронологию, и даже обращался с текстом вовсе вольно, сокращая его, пропуская или разрывая отдельные места, ибо перо у Сереги – так его чаще всего звали друзья – было своенравно.

Итак, я рискну предложить вам несколько набросков и, быть может, если прием будет не слишком отчужденным, продолжу разборку рукописей и дальше.

Но ради Бога, прошу настоятельно, не смешивайте меня с

Афанасьевым, я на него не похож более, чем на кого-либо из вас... Он пьяница, я пью умеренно; он был бродягой и перекаати-поле, я же примерный семьянин и только два раза за последние десять лет не ночевал дома по необъяснимым причинам; он человечество презирал, я еще надеюсь; он был в отчаянии и растерянности, а я свое будущее вижу так же ясно, как погоду на завтрашний день.

Коротко говоря, он – только одна из нескольких форм, в которые могла бы вылиться и моя судьба, но – течение его судьбы прорвало непрочный берег, моя – осталась в привычном русле.

*А теперь передаю перо Сергею Александровичу, а обо мне – забудьте.*

## ГЛАВА I

### ТОСКА И СЕТОВАНЬЯ

**Н**а самом деле нет ничего. На самом деле топлая топь – это и есть вся жизнь, а даже и топлрой топи нет, а есть одно томление времени ... Но – где-то далеко на левом горизонте этой топи, или этой пустыни, или этого пустого места в пространстве, в котором ни топи, ни пустыни, ни даже пространства нет – где-то далеко на горизонте есть нечто невообразимо отвратительное, что хоть немного пустоту оживляет ... Нечто, что хоть чем-то является, хотя и безобразным, то есть не имеющим прекрасного Божьего светлого образа, а имеющим образ гадкий, темный – но все же – есть ... Я выражаюсь неясно, но сейчас уточню.

Вот что...

Вообразите, что на лице ни глаз, ни носа, а только одно ровное и плоское.

И вот после тоски миллионнолетней, после бесконечного созерцания того, на чем ничего нет – Вы встретили Лихо Одноглазое с носом кривым – о, как броситесь Вы с объятиями и дрожью из пустоты “ничто” к гадкому “нечто”!

Не так ли среди безжизненности правильной болотной тины манит нас Преступление и Грех, среди духоты прописных азбучных истин свобода и вычурность лжи, не так ли и Самому Господу Богу один раскаявшийся грешник – а может быть и даже нераскаявшийся – милее сотни пресных праведников!?

Где же горизонт этот лжи и греха, я изнемогаю уже, а под ногами все то же и так же, не слишком мягко, не слишком твердо, мелкий серый дождь, мелкий серый день, мелкий чахлый лес, и ни одной живой души кругом, хотя бы и преступной?

То, что есть на самом деле – банально...

Настоящее – это проза, а музыка и стихи – жизнь и мир воображения, то есть то, чего нет на самом деле... Я говорю себе, что есть и другой горизонт, хотя и не верю в него, и там синие горы, синие леса, женщины с бездонными как озера синими глазами, преданные и верные друзья, движенья душ, томленья духа, измены и разочарования!

Скорее же к тому горизонту, где есть клятвы и клятвопреступники, борющиеся и изнемогающие, любящие и проклинаящие, где есть Орлеанские девы и сладострастные Клеопатры, святые и блудницы, где мысль и поступок если не святые, то хотя бы греховны!

Ах, не грешница грешна!

Изменяющая и вожделеющая почти свята, бесстыдница чуть ли не так же стыдлива, как стыдящаяся, но востину страшно только то, в чем нет ни верности, ни измены, ни стыда, ни бесстыдства, ни целомудрия, ни заблуждения.

Все разделено! Но и у изменяющей есть левое и правое, верность и измена, но только одна половина действenna, а другая бездействует... Упрекать за злое можно лишь того, в ком есть и доброе, а камень, о который ушибется душа, упрекать не в чем. Что никогда не стыдится, не бесстыдно, что никому не принадлежит, что живет только для себя – даже не греховно, а воистину мертво.

Но, впрочем, не слишком ли я увлекся, и не собираюсь ли в пророки и проповедники, а у самого голова трещит со вчерашнего крепкого розового ... да, потом были еще вермут с хересом, и что-то еще...

Нас было трое – конечно же – трое – радостно предвкушающих и чуть ли не взвизгивающих от предвкушения, как собака взвизгивает, когда хозяин выводит ее на прогулку.

Но собаке всякий двор – свобода, а мы за свободу чуть ноги не сбили, и уже темнеть начало. Октябрь выдался холодный и слякотный, листья дрожали как наши души, от Обводного канала мы дошли до Дровяной улицы, но всё подворотни удобной не находилось.

– Ну не могу же я пить озираясь! – в сердцах вознегодовал я. – Что же, я вор, что ли, грабитель, в чужое окно лезу? По гривеннику скопил два семьдесят, белого хлеба не ел неделю, и картошку только из магазина подгнившую – так еще за свои гривенники каждой красной тряпки бояться?

– Вот потому что ты интеллигент, и сразу видно – совсем гнилой! Я же предлагал, – пробурчал здоровый мальй, выглядывающий исподлобья – давайте пить на ходу! Выпьем по глотку, спрячем в портфель, идем и сырками закусываем!

– А если встретятся?

– Сырки покажем, а портфель открывать не будем!

– В отделение сведут! – мрачно предположил я. – Нет, лучше давайте к Екатерингофке спустимся ... Вон у тополя встанем, головы будут поверху торчать, так чтоб все далеко было видно, а как надо хлобыснуть – присядем!

Спустились к Екатерингофке...

– Я теперь понял, что такое интеллигент – заметил третий... – Видели, как курица перед тем, как яичко снести, по двору бегаёт туда-сюда, туда-сюда – все место ищет, куда пристроиться – ежли у ней такого твердого постоянного места нет?.. Вот так и мы, бегаем, будто яичко снести хотим! Значит, интеллигент, это тот, у кого постоянного места на земле нет, а яичко снести хочется!

– Воистину, не Духом единым жив человек! – с удовлетворением подумал я, разламывая мягкий, липнувший к пальцам сырок плавленый. – А впрочем, что духовно, что плотско, и воистину ли делится жизнь на духовное и плотское – сказать трудно. Ну, например, мысль не отнесешь к плоти или воображению, а про дыхание не скажешь, что оно духовно, а между тем гадкое, пошлое, грязное скорее заключено в воображении и мысли, чем в телесном, и в то же время лепестки цветка, дыхание невинной девушки, клейкие почки в апреле – разве это плоть?

Философствование чаще всего настолько глубокомысленно, как шутки и хохот фельдфебеля.

Духом назвали способность размышлять, плотью, или материей – то, что лишено этой способности. Но это деление скорее физиологическое, чем метафизическое. Христиане вернее чувствуют, когда вовсе не говорят о материи как о физическом, лишенном духовного. Они словом “Дух” или “Духовное” называют то, что высоко, божественно, в противоположность низкому, грубо-чувственному, пошлому, что они называют мирским или плотским. И тогда очевидно, что воображение возвышенного человека духовно, и низкого – пошлое, вульгарное; тщеславие, корыстолюбие, чревоугодие – мирские, низкие, плотские чувства, а милосердие, восторг – высокие, духовные чувства, и вовсе не потому, чтобы корыстолюбие было состоянием, присущим человеческому телу, а милосердие – душе... Нет, всё присуще душе!

И вот в моем видении мира как единого духовного Бытия очевидно, что цветок в духовной иерархии выше, чем обезьяна, ибо красота как важнейшая составляющая мира выражена в нем полно, а созерцание – другая сторона этого же мира, в обезьяне хотя и намечена, но убого.

Ах, что-то я расфилософствовался, пора опохмелиться!

## ГЛАВА 2

**ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ**

**Ч**то это значит? – что помыслы чисты?

Вот, к примеру, совершенно ли понятно, в каком смысле мы утверждаем, что человека нельзя со свиньей равнять, что он, конечно, может дойти и до свинства, но он не свинья субстанционально, по сути своей? А с другой стороны, совершенно ли понятно, что пытаются доказать и те, которые говорят, что принципиальной разницы – в этическом, нравственном смысле – между свиньей и человеком нет, что голод и жажда движут и теми и другими, что если любовь у свиньи плотская, то есть слишком свинская, то ведь и у человека она не только духовная, но и свинская тоже? И не прикрывается ли свинство в человеке Духом как фиговым листком?

Странно, я до сих пор не могу понять, заблуждения человека относятся ли к одним идеям, или путаница идей и понятий – лишь выражение некоторого более глубокого заблуждения, или блуда, в котором пребывает душа?

Не в силах понять причины заблуждений, я часто воюю с неправильными мнениями; я думаю – возможно, он прекрасен, этот человек, и стоит ему прочистить мозги, как трубу у печки, и дымить не будет, и угорать не станет?

Говорит некто: все кругом – воры! Я скорее – на своего Росинанта и галопом мчусь, размахивая изломанным древком, и воплю во все горло – нет, не все!

Другой говорит: каждый только о себе думает и о себе лишь заботится. Я и тут спешу возразить – нет, есть бескорыстные, есть заботливые!

Но ведь заботящийся обо мне тем самым душу свою спасает, испытывает радость заботы, а, значит, в конечном счете для себя обо мне заботится – слышу хитрую ложь – а значит все для себя живут, но одни для низкого в себе – тщеславные, корыстные, жадные; другие для высокого в себе – щедрые, открытые, приветливые, но все равно – эгоисты, все только для себя живут, для тела своего или души, и нет причины противопоставлять одних другим, одних прославляя, других унижая, вроде того, что болельщиков на стадионе мы к низшим отнесем, а публику в театре – к высшим ... Все одинаковы, и деление условно! – Вот как говорят заблуждающиеся.

Я чуть не всю жизнь на этой удочке провисел – для себя – не для себя, эгоист – не эгоист... А ведь дело в том, что и слова эти не сущностны, и понятий, ими обозначаемых, нет в этике. Люди в действительности или добрые или злые, черствые или милосердные;

бездушные или ненавидящие ... – но что мне утешительного в том, что если кто приволок и подложил мне свинью – то он для меня ее приволок, а не для себя, и, напротив, плохо ли мне, если утешивший взглядом или словом – и сам возрадовался моему утешению?

Эгоизм – вздор! Когда на последнем Суде один возьмется, а другой останется, то трещина в земле пройдет не по эгоизму, а по Добру!

Впрочем, я отвлекся!

Удочка эгоизма меня не так уже и ранила, попался я на другом.

Дело было так.

Однажды на заборе прочитал я какой-то отчаянный вопль: все мужчины – сволочи! Задел меня вопль этот за сердце, и думаю я: но ведь не все – сволочи, я-то ведь точно не сволочь! Ну вот и стал я проповедовать, что хотя все мужчины и сволочи, но что меня касается, то одно из двух – или я не мужчина, или не сволочь.

Ах, пишу я фривольно, оттого видно, что теперь мне совершенно наплевать и на утверждение и на отрицание, и теперь так ясно вижу, какая несусветная дурочка в сердцах на заборе писала, и насколько еще несусветнее глупым был я.

Но, увы, с тех пор как стал слишком умным, тоска меня обуяла, и все подмывает пойти и опохмелиться... А, кстати, и магазины сегодня открыты...

...Ну вот, в мозгах прояснилось, и писать теперь легче.

Было мне в ту пору двадцать лет, был я глупым, а, значит, способным жить и чувствовать, верить и надеяться. Жил я в общежитии на третьем этаже, а она жила на пятом, я был Верой, а она – Надеждой.

Да, кстати, предупреждаю возможного читателя, что в Записках моих не найдет он рассуждений ни о выделке стали, ни о выплавке чугуна, и если этому читателю еще не продают в магазине вино, то пусть он отложит записки в сторону, и не читает их без сопровождения взрослых.

Дело в том, что три вещи привлекали меня в жизни – вино, карты и женщины, и вот, разочаровавшись и в Добре и в Зле, и в женщинах и в картах – или, точнее сказать, проигравшись в пух и в прах, я свожу с ними счеты, а с вином расстанусь с последним... Вином я оплакиваю иллюзии, и оно же помогает мне смеяться.

Итак, шокирую я вас или нет, но я продолжаю.

Надежда меня манила два года, я умирал от любви и нежности, я сгорал от тоски и ревности, до меня доходили слухи, но чем страшнее и темнее были слухи, тем сильнее влекла меня Надежда. Я был идеалист. Я был благоден и честен. Помыслы мои были чисты как

у младенца, и даже почти совсем невинное слово меня могло задеть, как ревнивца задевает неосторожный взгляд.

И вот вообразите полночь. Шторы опущены, в комнате полумрак, Наденька на диване сидит, с ногами забравшись, колени ее обнажены и как молнии вспыхивают, я выпиваю третий кофейник кофею, пью и вино вперемежку, и Наденьке отношу в горячие руки, и вот она томной ангорской кошечкой вытягивается на диване, одну ножку протягивает, другую сгибает, так что она еще больше светится, а я неестественно боком повернулся, чтобы мимо смотреть, а взгляд отвести вбок не могу, и Наденька и взгляд мой и смущение видит и наслаждается.

– Говорят, ты святой? – спрашивает она.

– Какое там святой, – безнадежно машу рукой, – грешник смрадный...

– Но ведь не сволочь же? Вот Женька говорила, что у нас Сереженька изо всего курса единственный не сволочь ... Или врет она? Ты, она сказала, ей всю ночь по Гегеля рассказывал ... было это?

– Было ... – пересохшим горлом выговорил я.

– Так все же таки ты не сволочь?

– Нет! – тихо, но упорно я ответил ...

– А кого ты любишь, меня или Женьку?

– Тебя!

– А помыслы твои чистые ли, Сереженька? Ты вот когда ко мне шел, о чем думал, о божественном или о мирском?

– О божественном ... – я пролепетал.

– А теперь тоже всё о божественном? Или переменялся?

– О божественном ... о коленках твоих божественных ...

– Ох, грешник ты, Сереженька! Ох, грешник! Ну да кто ж из нас без греха?! И я грешница, не скрываю, разве это плохо, грешницей быть? Вчера ко мне Володька пришел, а ведь он еще почище тебя философ будет, говорит, всего Гегеля от руки переписал ... Я его и спросила – чего ты, мол, хочешь от меня, Володя? Ну он так ответил, что даже я повторить стесняюсь ... А ты не того же ли хочешь, что и он?

– Нет ... – низко я опустил голову...

– Знаешь, Сереженька, вот как ты думаешь, я могу слово исполнить, если поклянусь? Ты мне веришь?

– Верю!

– Так вот слово тебе даю, если и тебе то же, что другим надо, если и ты как все, то я твоя, Сереженька! Вот только скажи громко: “Я такой же как все, и мне то же, что и другим надо!” – и всё, всё тебе будет, и нисколько упрекать не стану. А если ты не как все, то сейчас же уходи от меня, и не приходи больше, а если как все – подойди ко мне ближе, только скажи, что ты – как все! ...

Вообразите же полночь, тишину за окнами, полумрак и горячий шопот, пугающийся слов... О, вот этот испуг пуще всего меня убедил, что так все и будет, что только шепнуть мне хоть два слова, а то и головой кивнуть, и ближе подойти, к постели смятой, и рядом сесть.

И разве я не готов был сказать?

Трижды готов был, и тридцать три раза по трижды, хотя и пересохло горло, и страх бросал меня и в жар, и в холод, а Наденька отодвигалась в угол и сжималась в комочек...

Но...

Был ли я такой как все?

То есть – испытывал ли я голод и жажду как другие и утолял ее хлебом и вином, или только медвяная роса с лепестков розы была мне и пищей и питьем; или и вовсе без пищи и питья реяла моя душа в заоблачной выси?

Наденька и сегодня перед глазами моими – я и сегодня вижу, как вздрагивает и трепещет ее высокая грудь, и пальчики на правой ноге с перламутровыми ноготками судорожно сжимаются, и медленно сползает с поднятого колена натянувшаяся юбка ...

Никакое предвзятое правило не запрещало мне подойти так близко, как только одна душа может подойти к другой, и уж самомнение и гордыня ничто были перед притяжением испуга, но ...

Я не мог сделать даже самого малого, самого первого шага, потому что каждую клеточку и души и тела сдавил мучительный, липкий невыносимый стыд, потому что знать заранее, что я должен буду делать – было то же самое, что раздеться на глазах у всех донага.

Или ... или еще одно чувство...

### ГЛАВА 3

## СВЯТАЯ НОЧЬ

**Н**очью я проснулся в жару и в бреду ... От кончиков пяток до затылка все тело было засыпано болью как горячим песком – и все же боль жара была не так мучительна, как бывают мучительны похмелье, ожог или воспаленный зуб. Я переворачивался, я ловил горячим ртом прохладный воздух из открытой двери, я звал сон – но, явившись на мгновение, он снова исчезал, а у изголовья стояло напряженное молчание – неясное, тревожное ... еще не существо, но уже не только сущность.

Было темно и тихо, но я почему-то почувствовал, что скоро начнет светать.

Блуждания мои между явью и сном продолжались долго, и

каждый раз казалось, что это все та же минута перед рассветом. Быть может, на этой грани время перестало существовать; или оно отошло недалеко, чтобы не мешать беседе, которую я должен был с кем-то вести, ради кого я и проснулся. Правда, должен огорчить сразу, что мой собеседник был невидим и неслышим, я даже не прикоснулся к нему, и хотя беседа действительно велась, но он не сказал ни слова, все я говорил за него. Я отвечал вопросам и собственным мыслям так, как я думал, он должен был отвечать. Или это он и раздвоил мою душу, чтобы я существовал за себя и за него при нашем свидании? Есть тайны, о которых говорить не следует; есть свидания, при которых никто не должен присутствовать.

Раньше, совсем давно, когда он не был так молчалив и приходил чаще, я никому не говорил о нем, я был целомудреннее и цельнее. Теперь же мною овладела болтливость, мне стало страшно, и я говорю и говорю, чтобы заглушить страх.

– Ты пришел со мною проститься ... – догадался я. – Вот поэтому и молчишь ... Так ведь молчат у умирающего, ибо в последний час лгать стыдно, а правду говорить тяжело. Да, ты пришел проститься со мною.

Я испугался так, что голос пропал мой... Хотел позвать кого-нибудь из соседней комнаты и не мог ... И вдруг уснул снова. Очнувшись, я увидел, что он стал печальнее и нежнее, ему как будто стало жаль меня, а сначала он был суров и отчужден.

– Ведь мне еще умирать рано, правда же? – неуверенно попросил я... – Вот теперь я почти проснулся, я снова открыт для видения, через меня, как вода через камень, переливаются чувства и мысли, о которых не хочется думать, что они исчезнут вместе со мною. Мне ведь еще надо многое рассказать моим близким, я словно бы путешественник, ходил в невидимый город, а возвращаясь, умираю при дороге... Погодите, силы небесные, не швыряйте неудавшееся творение на каменный пол, не все же во мне не удалось, отчасти и удалось нечто, а я еще размягчусь и расплавлюсь. Жар такой, что душа тягуча как воск, и я ее еще примну, где косо и тяжело.

Так долго я умолял невидимое, и показалось, что мольбы услышаны, но силы мои иссякли, и я уснул. Проснувшись спустя несколько, я видел по-прежнему тишину и ночь незадолго до рассвета, но время не возвращалось.

Иногда я стонал совсем громко, во рту у меня набиралось слишком много слов, я не успевал их сказать, я задыхался, они тоже были горячим песком. А в голове кто-то ходил острый и иногда пробовал острым шилом проделать отверстие, чтобы выйти наружу ...

Что же я такое? – думал я... – Меня назвали отщепенцем, и сам себя я назвал так – а более ли я отщепенец, чем другие?

Что происходит с нами, когда мы рождаемся? Обретая душу и свое Я, не отлетаем ли мы как щепки от древа мира, а тот топор, который нас отвергает, бьет так больно, что мы кричим... Страшно почувствовать Я, отделенность, и все же эта отделенность лишь во плоти, дух наш так, как вода в озере, не налитая в стакан; и наступает время, когда Я рождается и в Духе, отпадает и от Духа тоже. Это отпадение я называю Духовным Рождением или Духовным Освобождением, ибо эти понятия для меня неотделимы. Становясь Я, личностями, мы уходим из власти безличного. Каждая культура имеет свой взгляд на такое отпадение, и если Восток, а в особенности Китай, не признаёт за отдельным ценности, и личной цели, утверждает как личностное только муравейник, государство, то для Запада вторичны в сравнении с отдельными не только государство, но и общество, и семья и культура.

Россия стремится их примирить и соединить, и когда слишком тяготеет к Востоку, солоно приходится тем муравьям, которые отползли от общей кучи. Хладнокровному исследователю может показаться, что оба направления не противостоят друг другу как Добро и Зло, а они всего лишь разные художественные формы, в которых претворяется жизнь народов и человек, так же как ношение платья или брюк женщиной не меняет ее женской сущности и не является ни праведностью, ни грехом.

Но дело в том, что этика, то есть различение Добра и Зла, дана Господом только в отношениях между людьми, и всякое движение Левиафана государственности является добром или злом только для отдельного.

Сражение может быть блестящим, титаническим, удачным, кровопролитным – но нет драмы ни в выигрыше его, ни в проигрыше... Драма совершается лишь у тех кустов или канав, около которых умирает рядовой Егоров и старший сержант Лапшин.

Восток, уничтожая личность, пытается осуществить бытие без Нравственности, то есть без Бога. Этот бездушный коток, имеющий свои нечеловеческие цели, называются ли они Прогрессом, Могуществом, Развитием, даже не принадлежит всемирному Злу, ибо и Зло в Боге, а потому этот безличный коток является самым страшным злом в мире, Злом Безличного, Ничто.

И поэтому-то единственно только около этого Зла возникает уподобление человека не Сыну Божию, а муравью, отползшему от муравейника.

Впрочем, не слишком ли я отвлекся на общие рассуждения? Острый и непоседливый еще не оставил свою работу, и там и сям

пробует свод черепа... Страх уже стал меньше, и проснувшись снова, я поспешил записать явившиеся во сне стихи. По странному, и кажется неслучайному совпадению, в поисках чистой бумаги я взял обложку, в которой была вложена повесть с названием – “Бога нет!”.

И вот что мне приснилось:

Когда в жару, как на жаровне,  
Ты таешь, будто воск свечи,  
О поцелуях жарких вспомни,  
И, недовольный, промолчи!

Когда последнее дыханье  
Роняешь, обрываясь вглубь,  
То криком боли на прощанье  
Не оскверняй горящих губ!

И, благодарный за земное,  
"Прости" последнее пошли  
Прохладе гор, дневному зною  
Смиренной женщины – Земли!

Господи, как болит это тело!

Так ли болит глина, когда ваятель мнет ее, чтобы создать прекрасный образ?

Ужели болезнь и боль – единственный способ, которым Высшие Силы оградили нас от всемирного сна? Так замерзающий, засыпая – пока спит, видит сны чудные и боли не слышит, но только пробуждение начнет в нем возиться, как синий рассвет у окон – и от мороженная плоть болью и ужасом наполняет душу. Болят пальцы, немеющие на ногах, руки холодные и негнущиеся, замерзшие слезы на ресницах болят тоже, болит отчаянье – ибо никогда не дорожим мы душою так, как плотью, – а оттаивающая кожа становится жгучей и мокрой. Господи, надо ли просыпаться, если пробуждение так мучительно?

– Ну поспи еще ... – Слышу печальный и добрый голос. – Только не поздно ли будет проснуться?

Говорят, что болезни посылает нам Бог жалеющий и любящий детей своих и тормозящий их, чтобы не умирал Дух. А другие говорят, что болезни происходят от мелких и вредных существ, пожирающих все, что ни попадетя, и не брезгающих даже живым человеком.

Но нет противоречия в исходных мнениях, ибо ничто не бывает только телесным или только духовным. Так ваянье есть сминание плоти земной, но не одна же сминается плоть! Смешно говорить,

будто миру не воистину присуще доброе или злое, красивое и безобразное, а это лишь *условились* мы для чего-то одно называть добрым, а другое злым.

Когда дитя чертит каракули на бумажном листе, то сколько бы ни условливались, не сможем прочесть их, а те каракули, которые я теперь черчу на бумаге, имеют и душу и тело.

Не так ли и болезнь – видимое проявление невидимого недуга? Почему в двадцать болит сердце, и почему в сорок оно болит снова? Быть может, в юности в сердечной боли преломляется то трагическое преобразование жизни, через которое проходит почти всякий... Разве мы не грезим о жизни волшебной, разве девушка не мечтает любить возвышенно и встретить принца, а юноша не ждет Ассоль или Эльзу? Но беспamięтно и невидимо для себя мы предаем мечты и иллюзии, и жизнь волшебную меняем на банальность. Мы верили, что целью и смыслом бытия является любовь, мы сострадали Тристану и Изольде, Эльзе и Лоэнгрину, мы оплакивали Ромео и Джульетту – несчастные, мы оплакивали счастливых, а оплакивать надо было нас самих! Не потому ли Христос и сказал, что кто может вместить, тот пусть не женится и не выходит замуж, ибо еще сказано, что двое, когда полюбят, станут единой плотью – а останутся ли они единым духом тогда?

И вот наше сердце болит и трепещет, но Кити рождает детей, и ходит по дому в распахнутом халате, а глупый Левин интересуется ценами на рожь и пшеницу. И это есть результат и завершение наших восторгов и слез?

Мы засыпаем, и сердце перестает болеть, но и во сне бывают состояния, когда сон легче и прозрачнее, и кажется, еще один звук – и мы проснемся.

Вот почему болит сердце в сорок – это последний всхлип спящего – а кто просыпается слишком резко, тот уходит и из этого и из того мира.

Мне показалось, что я поднимаюсь на высокую гору и так высоко, что весь мир виден воочию, скалы в снегу блестят у ног моих, и далеко внизу зеленеют долины. Не это ли восхождение звало меня, не для того ли поднимался я в горы, чтобы дух мой парил над миром?

Но странная боль наполнила сердце мое, и тысячи молоточков ударили в грудь и голову, и я понял, я вздрогнул, я вспомнил, очнувшись, зачем поднимался так высоко и что должен сделать. Я должен был броситься вниз и умереть.

Весь склон усеян разбившимися при падении, а это падение – утрата плоти. Кто падает слишком рано, тот плачет и болеет, но страшный груз тянет вниз, и чем ниже, тем сильнее.

Если рядом со мною возлюбленная моя, я сам столкну ее вниз, с сияющей вершины, и она будет кричать от боли, рожать детей, мучиться и стареть, и разобьется в конце.

Мудрецы сходят с ума, безумцы становятся глубоко-мысленными, болезнь – это скольжение вниз, и тело задевает за шиповник и камни.

Нет, никому нельзя остаться вверху, и Он сам бросился в пропасть, и Его тело тоже прибили железные гвозди, и запах тления коснулся и Его.

– Отец мой, поддержи меня! – трижды молился Он, а Отец не откликнулся...

Быть может, в этом вся роковая тайна человеческой жизни – в том, что никто не разделит нашу боль.

Разбился ли Он? Его израненное тело воскресло. Он достиг долины с изумрудной травой, а мы на каменистом склоне ждем всеобщего воскресения.

Я вспомнил, что когда-то давно были такие минуты, что мир исчезал и я как будто взлетал ввысь, и вчера мне тоже казалось, что мир исчезает, и я отрываюсь от него, но не ввысь уношусь, а падаю.

– Погодите, силы небесные, – кричал я, – не ударяйте неудавшееся творение о каменный пол, отчасти ведь во мне удалось нечто, и вот я соберусь с силами и взлечу! – я услышал, что горы смеялись... Если не взлетел ты с вершины, то взлетишь ли теперь, когда разбит напополам?

Еще немного, вот отдышусь и полечу, твердил я упрямо, засыпая, а снились мне воспоминания и одна удивительная ночь перед воскресеньем, святая ночь.

Но была ли? Была ли она или только приснилась?

Это случилось 27 апреля, поздно вечером, в субботу; то есть, точнее говоря, то, о чем я теперь вспоминаю, началось еще в субботу, а продолжалось и закончилось уже в воскресенье, почти в воскресенье, ибо чему принадлежит ночь – дню ушедшему или дню приходящему, я определить затрудняюсь. Иногда мне кажется, что для ночи следовало бы изобрести особые числа, так, например, дни считать нечетными, а ночи – четными, или же вовсе никакими, будто в них время особое, выпадающее из календарного.

Ночью засыпает Хронос, методично отсчитывающий часы, и одинаково меряющий стук капель и биение сердца, а вместо него приходит Кайрос, благое время, управляющее движениями звезд и вознесением Духа – но и мы засыпаем вместе с Хроносом, и Благой миг молча стоит у закрытых окон.

Я механически произнес слово “случилось”, взявшись разматывать клубок, намотавший так много и дней и ночей с того

вечера, но в действительности следовало бы говорить так: дул ветер, стояла жаркая ранняя весна, в воздухе носились звуки, запахи, обрывки бумаги, обрывки мыслей, чувств, слов ...

Вот я иду по улице, встречаюсь взглядом, уже замедляю шаг, уже вздрагивают уголки губ, уже гортань набухает словами, и рука поднимается, пытается подняться ... я поворачиваю голову, хочу вернуться ... но еще мгновение, и взгляд, лицо, намерение, возникающий из ничто образ – все исчезает ...

Что же было? Было ничто – почти ничто. Взгляд мой скользнул мимо одного из миллиона лиц, зацепился, выровнялся, потух, продолжил скольжение...

Я не скажу, что в это мгновение происходило нечто... А еще через мгновение, через тысячу новых мгновений, через тысячу новых лиц я уже и не вспомню, по какому поводу не скажу нечто, не скажу ничто.

Тогда ничего не случилось – скажу я теперь по поводу некоторого мгновения, о котором больше ничего не могу вспомнить, кроме того, что вероятно, вспоминать было не о чем.

Вот так и 27-го апреля – да, это был теплый, почти жаркий вечер, когда началось то, о чем я попытаюсь теперь рассказать, и что как раз и не случилось, а вскоре и совершенно забылось как всякое неслучившееся, как забываются дни, в которые не происходило решительно ничего.

Но сегодня в гостях у далеких знакомых, листая небрежно альбом с фотографиями, наткнулся я на потертую маленькую карточку ... что-то смутно зашевелилось в памяти, и хозяйка с упреком спросила: ты ее забыл? А она тебя помнит, и в прошлом году, случайно встретившись, спрашивала про тебя, и особенно спросила, нет ли в глазах твоих печали ... Нет ли той печали, которая не по поводу, не из-за происшествий и царапин равнодушного времени, как например бывает во дворе холодно, когда зима – тут уж и во всех дворах холодно!! Но как, совсем иначе, вопреки происходящему, случаются в лесу такие затаенные маленькие лощины, распадки, что и в жарком июне, когда вокруг все жаром дышит, и птицы поют, лежит в них островок зимнего снега, и не тает.

Нет ли в глазах твоих лощины, спрятанной от жаркого июня, с нетающим в ней осколком зимы?

Нет в моих глазах такой лощины, ответил я, ибо вот они, две незакрытые вздрагивающие двери, робко вздрагивающие от мимо идущих шагов... Ничто в них не спрятанно, ничто не укрыто, и царствует на холодном и голом пустыре за ними холодный и голый ноябрь.

Но – ближе к тому жаркому позднему вечеру, когда с ума сошла весна, так бурно обрушивавшаяся на город, растопившая в неделю

весь снег и даже лед ладожский, выбросившая на пустыри и задворки мать-и-мачеху, в тенистых полянах расстелившая белые платки – хороводы пролесок, развесившая длинные серги на ветвях осин, медом клейким смазавшая тополя и березы, гордые каштаны вдоль Большого проспекта нарядившая в золотые свечи и выпустившая шального шмеля из плена, так что его пьяного шатало от счастья...

Это было – это не было так.

Я поздно проснулся – суббота смирила хлопанье дверей, беготно и визг трамваев, стояла тишина, и жаркое солнце как в ковш наливало в мир света.

Мне захотелось пить, я подошел к окну и отхлебнул глоточек. Мир был так вкусен и радостен!

Что это со мною было в предыдущие дни? Болезнь, беспамятство, крестный ход на Голгофу? Но ведь уже кончилось все, и ни следа от гвоздей, и раны не болят!

Я отпил еще глоточек и засмеялся от счастья.

Как хорошо жить, как сладко и радостно, как все светло вокруг и легко! Ну конечно же, стражники ушли, фарисеи и книжники, и я свободен, никто и ничто не мучает меня, а завтра – Воскресенье ... Но, может быть, в моей душе оно началось уже сегодня?

Я жил тогда в некрасивом пятиэтажном здании около Смоленского кладбища – студенческом общежитии – но ни мрачный вид здания, ни грязная обшарпанная комната не производили на меня сильного впечатления, ибо моим парком было кладбище, аллеей – привольный Большой проспект, морским берегом – берег Невы, и синими озерами – нежные девичьи глаза, в которые я смотрел чаще, чем в надоевшие учебники.

Правда, в последние месяцы “жизнь дала трещину”, как любили тогда говорить, и даже чуть не развалилась вовсе, подул сильный ветер, озера потемнели, безжалостные волны взметнули меня вначале ввысь, так что показалось, будто я уже беседую с Богом на равных, и мир обзреваю с вершины, затем обрушили так далеко вниз, что суденышко иллюзий, снов, чувствований с размаху врезалось в самое дно и распалось на атомы, а я очнулся в больнице с горьким привкусом во рту.

– Поздравляю с воскресением из мертвых! – пропел нежный женский голос, мягкая рука легла на лоб и грустный взгляд открыл мне глаза.

– Ты не сердись, что мы помешали тебе умереть? Ты больше умирать не хочешь?

Женщина в белом халате была немного лишь старше меня, и я мог видеть в ней подругу, сестру и мать вместе – впрочем, добрая

женщина всегда относится к мужчинам отчасти по-матерински. даже когда мужчина старше.

– А Вы не хотите, чтобы я умирал? Вы рады моему воскресению?

– Ну как же не радоваться? Такой милый мальчик, с такими чистыми глазами, с такими нежными красивыми пальчиками, из-за пустяков, из-за легкомысленной девчонки, еще не начавшей жить, собрался и сам с жизнью расстаться! Мы вас в таких муках рожаем, а Вы так-то благодарите нас? Вот если бы ты повыл по-звериному – ах, если бы только знал, как некрасиво и как больно! – ты бы меня понял.

Да ладно ... Я рада, что ты очнулся. Ты ведь целую ночь, как за мою руку схватился, так и не выпускал, даже вот синяки на запястье – и она поднесла к моему лицу красивую вкусно пахнущую молодую женскую руку.

– Ты отчего покраснел так? Обиделся?

– Нет, нет, что вы! Мне все нравится... даже дышать...

– Так ты теперь умирать не захочешь?

– Вот если Вы поцелуете меня, то не захочу больше ... – пролепетал я, стараясь говорить независимо и гордо, но покраснел еще пуще.

– Вот это так Воскресение! Да ты, голубчик, теперь двести лет проживешь! Вчера ему свет не мил, весь свет в ее глазах уместился! – а сегодня уже с другой целуется!

– Не целуюсь пока ... – сердито ответил я и отвернул обиженно голову. – Вы ведь не хотите...

– Не обижайся... Я тебя поцелую... Через неделю как раз Пасха, а мы с тобой поцелуемся сегодня! Только обещай, что это будет наш единственный поцелуй, что ты не станешь упрашивать больше. Бывают ведь такие совершенно прекрасные минуты, которые от того совершенны, что они неповторимы.

Она наклонилась надо мною, обняла за голову и прильнула в долгом и нежном поцелуе, который воистину продолжался целую вечность.

– Спасибо... тебе... – смущенно сказал я.

– И тебе спасибо, милый мой мальчик! – она провела тихонько ладонью по моим губам и убежала.

В дни, пробежавшие за тем днем, я словно ходил по какому-то незапамятно давнему пепелищу и пытался его запрятать – где-то головешку зашвыривал в кусты, где-то землицы подсыпал, где-то цветочки подсаживал – во мне росло и заполняло меня стремление превратить пепелище в цветущий сад, на месте разрушенного храма воздвигнуть новый.

И вот сегодня, проснувшись, я услышал голос новой Религии, и Храмом моим стал мир. Давно ли бродил я по коридорам мрачного здания с горящими глазами и тяжелым томом Священного Писания в руках, и как одержимый призывал: “покайтесь, грешники!” – а ныне мне захотелось пить мир из хрустального кубка и восклицать: “Хорошо-то как, Господи! Хороши и леса, и долины, и солнце, и луна, и день, и ночь, и речи, и молчание, и стыд и бесстыдство! Все, что подставляет уста под поцелуй совершающегося – совершенно! Греха ни в чем нет, в чем есть любовь и радость, и только одно грешно – вражда.

Полюбим же друг друга! – захотел я закричать всему миру и распахнуть ему свои объятия. Простим грехи и вольные и невольные, будем радоваться сами и понесем любовь и нежность страдающим и печальным.

До сих пор была любовь неистинная, – почувствовал, увидел я так, как перед хлынувшим из окна светом увидел, что до него была тьма; до сих пор была любовь ненавидящая, требующая, не освобождающая, а тиранящая, не нежная, а суровая, много в ней было осуждения, и мало снисходительности.

Ибо Он “пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ея, и невестку со свекровью ея”, как сказано в этой тяжелой книге; ибо Он говорит еще, что “если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее ... и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную”.

И еще сказал, что “если кто приходит к Нему, и не возненавидит отца своего и матери, ни жены и детей, и братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Его учеником ...”

Так хочу ли и я оставаться учеником Его? Какая любовь бывает без ненависти? Но когда в любви больше ненависти, чем любви, то разве это еще любовь, а не ненависть уже?

И какой свет бывает без тьмы? Но когда только тьма, и плач и скрежет зубовный, то освещает ли свет этот тьму?

Нет, нужно любить не для себя, а для того, кого любишь; нужно любить не ради любви его к тебе, а ради своего влюбления, и не ждать добра от него, а делать ему, и если он не благодарен, то прощать, ибо разве для благодарности делается доброе?

Простим же всем, подумал я, и любящим, и ненавидящим, и верным и изменяющим, ибо изменяющий еще больше достоин жалости, чем тот, кто верен. Верный остается с любовью, а с чем остается изменяющий?

Радость и умиление наполняли меня, но я и восторга умиления смутился. В восторге – укор не восторженным. Не надо слишком

громко кричать даже и истинное, потому что не всякое ухо готово услышать. Но нужно входить кротко и робея.

И еще: не надо говорить, что истина послала меня. Так, когда голодному ты даешь хлеб, то разве не сам он узнает, что же ты даешь ему; и если ты принес ему камень, а называешь его хлебом, долго ли он будет обманут?

Тут я почувствовал, что и сам жажду хлеба, и не единым Духом жив, но так как в комнате моей, кроме света небесного, больше ничего не было, то я поспешил пойти на четвертый этаж, где жили те, коими соблазнялось око мое.

Они жили в 439-ой комнате и уже издали услышал я запах блинов, хотя давно миновала масленица. Слышались голоса громкие и, осторожно приоткрыв дверь – ибо мне разрешалось раз в неделю выходить к ним без стука – предстал я на пороге.

Посредине комнаты стоял стол квадратный, покрытый белой скатертью, на столе – бутылка вина, еще не початая, белый хлеб, масло, сыр, и в деревянной миске блины горячие, от коих шел пар. За столом были три соблазнительницы, одна, разгоряченная спором, стояла, напротив нее сидела ее компаньонка, и между ними, лицом к двери, сидела незнакомая мне девушка лет девятнадцати, смуглая, черноглазая, темноволосая, в темном платочке, подвязанном по монашески, в темном же строгом платье, с лицом страстным и печальным. Она как будто сошла с полотен Нестерова, но не покой и гармония были в ее фигуре и выражении лица, а сдерживаемая сила и смятение.

И в то же мгновение, когда появился я на пороге, обличающая и разгоряченная торжественно указала перстом на меня и воскликнула...

Но здесь я сделаю некоторое отступление и вопреки порядку событий, происходящих со мной, расскажу, что случилось за пять минут до моего прихода.

Девчонки разговаривали – как всегда – о женихах и замужестве, а Ирина печально молчала, и вдруг заявила, что она не будет ни замуж выходить, ни детей заводить, а уйдет в монастырь и посвятит себя Богу. В Евангелии еще Сам Иисус Христос сказал, добавила она, что лучше не жениться, ни замуж не выходить, только не всякому дано истину эту вместить; вот я и попробую вместить завет Христов.

Подруги на нее набросились, Валя гневом пылала, укоряла, что она актриса, и теперь играет в монашку, как в детстве в куклы.

– Да ты еще раньше нас замуж выскочишь, пожалуй! – смеялась она, – а то и не раз! Да у тебя и теперь от женихов отбоя нет, хоть сейчас под венец!

– Неправда! – негодуя возразила Ирина, – жених у меня только один – Иисус Христос! И я буду искать его и буду ему верна!

– Ну вот он и сам пришел и искать не надо! – воскликнула в это мгновение Валя и вскочила, указав на меня перстом.

Я, побледнев, смотрел во все глаза на Ирину. “Святая Мария Магдалина передо мною” – подумал я, – точно как на иконе в Смоленской церкви... А я ведь недавно молился перед нею и свечи зажигал...”

Надо еще сказать, что в то время, в то далекое время, когда еще я был наивен и легковверен, мне часто говорили, что я похож на Иисуса Христа – да и вправду, в устремленной и озабоченной среде выделялся я некоей непригодностью к жизни, что ли – почему и казалось, что уж коль не от мира сего, так не иначе как Сам Иисус Христос.

Вот почему появление мое на пороге в мгновение, когда Ирина предложила себя в невесты – было подобно явлению Христа.

– Ну так согласна ли ты быть невестой его? – отчасти смеясь, отчасти серьезно спросила Валя.

Ирина встала и взглянула на меня глубоко и серьезно.

– Да, согласна.

– А ты, раб Божий Сергей, согласен быть женихом?

– Я ему больше не раб, я отделяюсь, я теперь сам по себе... Но женихом быть согласен.

Мы торжественно подошли друг к другу, подали руки, я боялся сжимать ее руку сильно. И вдруг мне стало хорошо и радостно, я вздохнул глубоко и освободился от тяжести в душе как будто навсегда ...

– Сестрицы! – ну, вот, давайте же любить друг друга и пить вино жизни!

## Глава 4

### ОТЩЕПЛЕНИЕ

**Н**а днях... Да, кажется, это произошло совсем недавно, и я был почти трезв. Мне отчего-то грустно теперь, и мысли собрать воедино все труднее... а, впрочем, что толку с того, что они собраны?

Я думал, что если буду сильно умным... (ну, это я думал вначале...); потом думал я, что надо быть глубоким... И что с моей глубины? На вопросы мои ответить не могу, чужую глупость, или упрямство, или самомнение, или самодовольную уверенность – поколебать не умею (да разве и Христос поколебал синедрион?). А главное, в сокрушении духовном, дух мой сокрушен... Когда-то хотел быть возвышенным... Но – звезды разговаривать со мной не хотят, да и все равно мне до них далеко..

Мне такая глубина, как у *нечистой силы*, и такой ум, и такая

возвышенность (хотя, может быть, низости в нем тоже немало) – и не снились, так что в этом ли дело?

Третьего дня я одной особе бутылку вина купил – а если б был возвышен, то разве б не посмотрел свысока, разве б снизошел?

Шел я по улице, около полуночи, она у подъезда стояла – нет ли, спрашивает, спички, чтоб прикурить.

Ну, я подошел – спичек, говорю, нет, но может быть, чем другим буду полезен? А по правде-то, подошел не с тем, чтоб полезным быть, а думаю – может, хоть эта меня пожалеет?

Она замаялась и, робко так – может быть, глоток вина?

С собой не было, подожди, говорю, сейчас принесу.

Принес, на скамеечке выпили...

Кстати сказать, женщина молодая, симпатичная...

Выпили мы вино, и приглашает она меня в гости, живет рядом в доме, на третьем этаже.

– Я, говорит, ты не подумай, я совсем не такая, просто деньги очень нужны, ну, совсем пропадаю... – А ты человек деликатный, с тобой не страшно.

Собрал я по карманам все, что было (а было, правду говоря, немного), ей отдал и говорю:

– Вот, возьми, что есть, это я тебе просто так, в подарок, я ведь и сам – не такой.

Отказывается, настаивает, чтоб я пошел с нею, потому что брать деньги просто так ей совестно (хотя, повторяю, для такого дела денег совсем мало). Попрепирались, я идти решительно отказался.

– Тогда, – говорит, – давай еще выпьем, все равно денег мне не хватит.

Выпили, мне ее еще жальче стало.

– Кого ж бы, – спрашиваю, – мне для тебя найти? Знакомые мои, к сожалению, все безденежные...

Так погоревали, даже смешно стало – она неделикатных людей боится, а у деликатных, сколько я знаю, денег нет. Хоть от заработков, говорит, отказывайся... Погоревали еще немного, и я ушел. Выше голову, говорю на прощанье. А что я еще могу сказать?... Камень в нее бросить?

Впрочем, я не с того начал, и вовсе не о том хотел рассказать.

Вначале, наверное, уж пять дней прошло, я приходил совсем к другой, к давней моей знакомой.

Пришел, а у нее в глазах сочувствия вовсе нет, одно равнодушие. Я хотел сразу уйти, но неловко было, может быть, ты меня пожалеешь? – спрашиваю.

– Эх ты! – отвечает. – Разве мужчины ищут жалости?

– Странно, а кого же тогда и жалеть женщине? Если она вполне

женщина... Конечно, не все мужчины сознаются в том, что их пожалеть надо, а некоторые, может быть, и не знают об том – но да ведь женщина должна знать!

Ну, постоял, махнул рукой и ушел.

– Прощай! – говорю. – Прощай!

– Больше не увидимся?

– Как хочешь...

– А ты?

– Как хочешь...

Ну, снова махнул рукой, и уже совсем ушел. Вот и все.

Да, вот что случилось...

Пошел я в храм. Но не доходя, встретил одного знакомого – сопричастного... или, как бы сказать... "внутрицерковного"... В общем, до храма я не дошел. А я тогда еще совсем трезвый был, не то что теперь.

Разговор этот знаменателен тем, что сколько мне ни приходилось – и с иными из церкви – на ту же тему разговаривать, разговор наш был один и тот же, почти и в словах не различался.

– Привет! – говорю.

– Здравствуй! – отвечает.

– Вот, в храм иду... свечку поставлю...

– Похвально. Да, кстати, я слышал, ты что-то пишешь, вроде бы "Существует ли христианство?" – это верно?

– Писал...

– А зачем – позволю спросить?

– Да, вот, надеялся, что интеллигенция и церковь поговорят наконец, попытаются преодолеть роковой разрыв, который привел к трагическим последствиям и для интеллигенции, и для церкви, и чуть ли не к гибели церкви.

– О чем ты говоришь? Церковь – это тело Христово, а тело Христово – нетленно! Это интеллигенция погибла, даже еще и до коммунистической бойни. В какие нам с нею переговоры вступать?

Кто уверовал, кто избрал путь Христа, тот должен войти в церковные врата и обрести мир и покой и Истину, а кто еще не уверовал – что нам до него? Православные ведь не протестанты, не революционеры, мы не идем в народ с агитацией и пропагандой, мы молимся о заблуждающихся, но у каждого – свободный выбор: хочешь – иди к свету, не хочешь – оставайся в заблуждении.

– И что же, не надо размышлять, исследовать, пытаться понять, отчего Русь погибла, не надо ничему учиться, исправлять, каяться, оплакивать? Не надо вопить и проклинать (а, ну уж, конечно, проклинать не надо, это грех!), не надо впадать в отчаянье (ну уж, конечно, и в отчаянье впадать – тоже грех!), не надо жить (нет,

впрочем, жить – надо, это умирать – грех, зато жить надо так, словно бы и не жить, то есть тихо и бесстрастно...)?

... Ну, в общем, не дошел я до Храма, а с горя пошел и напился. И вот теперь сижу и думаю.

Я, конечно, блудный сын... Где-то шатался, пьянствовал... Ну, вот, тоска меня обуяла и вернусь я к отчему дому... Помните, у Рембрандта, блудный сын стоит на коленях, и отец прижимает сына к груди?!

А как я вернусь?

Разве я не сын Божий, созданный Им по образу Его и подобию? Так скорбит ли Христос о блудном сыне Своем? О, я уверен, что Господь-то Иисус Христос скорбит. Но скорбит ли Церковь, жаждет ли прижать меня к своей груди, переживает ли неполноту без меня, интересны ли ей мои злоключения, мои дела, замыслы, интересна ли Культура, которая является моей жизнью?

Что же такое Церковь?

Церковь Христова – это *народ Божий*, т. е. не вполне человеческое установление, не простое объединение людей, хотя постольку, поскольку – *народ*, постольку это – *организация*, и следовательно, может вовсе стать одним объединением людей, без *Божьего*, и даже больше – стать только организацией, уже и без людей; однако, в истине Церковь – *народ Божий*, и в ней воплощено то, что в людях Божьего, хотя остаться совсем без человеческого она не может, ибо если народ и может оставить Бога, то Бог оставить народ не хочет, Он это доказал тем, что пришел и *дал Себя распять*.

Но разве не ко всем Он пришел, не только к *народу Своему*, но и к бредущим околесицей, порознь, как я?

Ну да многое тут еще можно сказать, да не с кем разговаривать. Кому и без Бога хорошо, тем мои страдания непонятны, а кто уже обрел Бога и Истину и успокоился, те отвечают – зачем нам Ваши книги? Нам бы хоть со слезой Игнатия Брянчанинова на сон прочитать!

Ну да многое тут еще можно сказать, да некому слушать...

Господи, Господи! Ты-то видишь, как мне тяжело?! Нет, Ты – видишь, Ты меня жалеешь и любишь, разве не спасал Ты меня из всех нелепостей, из всех искушений и соблазнов, так что хоть в канаве я, но не врал и не подличал, и хоть остался никчемным, но не продал за выгоду мечты свои, сны и увлечения – не говорю о душе, может быть, я и повредил ей, не все вижу...

Ты меня *жалеешь* – разве и теперь не бывают такие минуты *ясного и тихого света*, которые, я знаю, что не от меня – потому что никаких мыслей особенных, которыми бы я стал гордиться, нет в минуты эти, а только *светлая радость*?

Ты, словно ребенка, пошлепаешь меня нежно и говоришь – ну, не печалься, сын Мой, Я ведь рядом с тобой !!

Да, Господи, быть может, весь бунт мой, все выкрики и ссоры – только гордость неумная, только тщеславие и самомнение?

Раскольников, когда уж готов был повиниться, и покаяться, от чего страдал?

Что вот *перед этими*, неразвитыми, перед пошлыми, он – высокий – должен покаяться...

Так и не в том ли мой бунт? Не в гордыне ль одной?

Если б я мог легко и покойно  
взять одну свечу вместе с *недалеким*  
братом моим и *сорадостно* смотреть  
в глаза его... Если бы мог оставить  
мысль об исправлении мира...

Но нет – плачу, но не могу.

Прости, Господи, горячность  
мою, прости, Господи, что и когда  
знаю, в чем неправ, догадываюсь – исправиться не могу...

Все-таки пойду завтра в Никольский собор и поставлю свечку...



-----  
Господи, ждать тяжело!  
Скоро ль придешь  
Выменять милость – на Зло,  
Правду – на Ложь?

За ликование дня  
Много ль возьму?  
Ночи беззвездную тьму,  
Холод ночной без огня...

За безнадежность – Любовь  
Не пожалею отдать!  
Тесно душе в ней. Готов  
Дни я и так скоротать.

Если ж, о Боже, тоска  
Лютая есть – притащи!  
Жизнь предложу! Коротка,  
Правда, она. Не взыщи!

Записки на этом не закончились. Но надо ли и дальнейшее представлять на свет Божий? Тело нашли в канале, а где теперь дух его, и успокоился ли, и дошел ли до Храма, – кто нам скажет теперь?

# БОГА НЕТ

## ГЛАВА 1

Что ни говорите, а Сергей Николаевич был человеком увлекающимся, весь в своего покойного батюшку, тот, бывало, как заслышит, что разговор о женщинах зашел, сразу бородку клинышком вперед и ушки на макушке. Рассказывают, уже в клинике, после тяжелой болезни, после безнадежной операции, где и шансов никаких не было, а все равно умирать, но хоть один шанс из миллиона – так вот после операции, когда и хирург, и ассистенты даже не переживали – безнадежное дело, что и переживать! – положили его на катафалк, простыней прикрыли, он без сознания, сердце почти не бьется – последние минуты, вздохнул хирург, уже отходит, больше не очнется, ну, стоят, курят, отдыхают – все-таки три часа напряженнейшего труда – помощник и говорит, затягиваясь:

– А вот у нас был случай, помните Ирину, красавицу, с фельдшером гуляла, так вот, идут они как-то раз по темной аллее, а навстречу трое парней, разухабистые, пьяные, и ни души вокруг – ...в этот момент рассказчик услышал какое-то странное сопение, шорохи сзади себя, оглянувшись, он отшатнулся в ужасе – трясущиеся руки силились ухватиться за край катафалка, бородка топорщилась вперед.

Лежите, лежите, что Вы!? – замахал помощник руками в ужасе.

"Тихо рассказываете, – прошелестел голос, – слышно плохо! Это какая Ирина – со второго отделения? Так я знаю ее – удивительная красавица, а фельдшер этот – дурак! И за что только дуракам везет?"

Ну, так вот, Сергей Николаевич не отставал от своего батюшки, и, конечно, увлечений у него было множество, и не только женщинами, но женщины, разумеется, являлись его главной страстью.

День был четверг, 21 апреля 1984 года, в шестом часу вечера он возвращался угрюмый к себе домой, уже обдумав и написав завещание – объяснительную записку для друзей и потомков, но все еще не сумев утащить у дяди, Никанора Степановича, известного коллекционера оружия, облюбованный им американский кольт 12-го калибра, к которому уже стянул еще раньше три патрона.

Будет ли он колебаться – он не знал, через это предстояло пройти, но жизнь казалась темной и с каждым днем все темнее.

У дома, на скамеечке, он заметил девушку в расстегнутом светло-коричневом плащике и короткой юбке, сидевшую, заложив ногу за

ногу и откинувшись на спинку скамейки; волосы ее, темно-каштановые, волнистые, легко перебирал ветер и бросал прядями на лицо.

Сергей Николаевич подошел совсем близко, девушка подняла голову и взгляды их встретились.

Приписываем ли мы только Первому взгляду необычное значение, или и действительно именно в нем душам открывается на мгновение судьба, но Сергей Николаевич твердо верил только Первому впечатлению, и только тому начальному мгновению его, когда взгляды впервые встретились. Он молчал, молчала и она.

– Если к Вам скоро должны придти, если Вы ждете мужчину, то я не стану медлить, и скажу все в немногих словах... Я прежде был красноречив, а теперь, когда нет воли к жизни, слова ко мне приходят робко и растерянно.

– Я жду мужчину, – ответила она. – Но готова Вас выслушать.

Голос ее был глубокий контральто, и звуки его обволакивали, как плотный упругий свет в белую ночь. Глаза менялись, свет то вспыхивал в них, то пропадал, губы полные блестели и притягивали. Была ли она слишком, нестерпимо красива – быть может... но сильнее красоты привязывало к ней, тянуло и растворяло чувство бездны и сладкого замирающего ужаса, жажды запретного.

– Если Вы со мной останетесь, – глухо и безнадежно произнес Сергей Николаевич, – я останусь жить, если покинете, я жить не буду.

Незнакомка посмотрела пристальным горячим взглядом и вдруг улыбнулась так простодушно, так по-детски, что Сергей Николаевич испугался. Вначале ему казалось, что ей около девятнадцати лет, а тут вдруг он увидал, что перед ним сидит очаровательная пятнадцатилетняя девочка и простодушно над ним смеется.

– Как Вас зовут? – поспешно спросил он, стараясь стряхнуть смущение неловкости.

Вот сейчас она скажет: "Борода седеет, а к детям пристаешь".

– Таня, – так же весело и простодушно ответила девочка, – или Татьяна Юрьевна.

– А меня зовут Серезенька, – Сергей Николаевич подчеркнул это слово. – Во всяком случае, я буду счастлив, если Вы так меня будете называть.

– Серезенька? – девушка посмотрела на него снова первым тягучим и обволакивающим взглядом, и чуть заметная улыбка промелькнула, как солнечный зайчик, от глаз к губам. И кажется, остановилось время, и исчезло пространство, в глазах ее открывалась бездна и Сергей Николаевич падал в нее, и все ближе подходил, и неожиданно обнял за плечи и притянул еще ближе. Таня не

отстранялась, но взгляд ее изменился, стал тверже, останавливал и смущал, и даже как будто на какой-то кратчайший миг блеснуло и ударило в сердце острое, и Сергею Николаевичу стало больно.

Но так же мгновенно переменялись и время, и пространство, и снова стояла смеющаяся девочка и приоткрывала влажные пухлые губы, они чуть вздрагивали так призывно и близко, что стало страшно и жарко.

– А замуж меня возьмешь, Сереженька?

– Возьму! – быстро и решительно ответил Сережа и почувствовал, что он этой странной девочке подчинен всецело, и что она скажет, то он и сделает.

– Может быть, Вы пойдете ко мне в гости? – спросил он. – Я живу в этом доме.

– Пойду... А у тебя выпить есть?

– Есть!

– Ну, тогда пойдем.

Таня достала сигареты из сумочки, закурила, сразу став печальнее и старше, и пристально тягуче опять всмотрелась в Сергея Николаевича, и губы вздрагивали так обольщающе, так бесстыдно, как будто она перед ним раздевалась. Острое жало еще глубже погрузилось в Сережино сердце, он не хотел, чтобы она курила и была бесстыдной.

– Нет, это все неправда! – подумал он. – Она слишком красива, а красота и кажется временами такой страшной, и еще она его играет, как играет свет на драгоценном камне, делая его то прекрасным, то ужасным. В красоте скрыта трагедия, красивое не может быть пошлым и обыденным, так же и пошлое и обыденное не трагично, а только отвратительно.

Она милая, она чистая, вот оттого взгляд проникает так глубоко, и открывается бездна, как в прозрачном чистом озере, а иначе взгляд останавливался бы на поверхности, и красивое не казалось бы ужасным.

Подошли к двери в квартиру, и вдруг Таня засмеялась так безудержно, что Сергей опять испугался.

– Что с Вами, почему Вы смеетесь?

Она не отвечала, войдя в квартиру, бросилась ничком на диван и все хохотала, чуть не плача...

Сережа бросился перед ней на колени и осторожно гладил плечи и поцеловал в висок. А Таня вдруг села и перестала смеяться.

– Я кажусь странной? Знаешь, отчего я смеюсь? Да оттого, что полчаса назад ждала одного, а дождалась другого, и даже замуж за него выхожу. Ведь ты берешь меня замуж?

– Да, беру!

– Так носи вино и будем гулять на свадьбе! Или нет, пусть это будет еще обручение, а свадьбу мы устроим завтра... Знаешь, я хочу в церквы венчаться, ты можешь это устроить?

– Могу... И это хорошо, я тоже хочу, чтоб венчанье было, у меня есть знакомства, и мы можем даже завтра обвенчаться.

Таня оказалась хорошей хозяйкой и даже из тех немногих припасов, что нашлись у Сережи, устроила и сервировала стол привлекательно, а выпивки было более чем достаточно, так как Сергей Николаевич собирался стреляться при свечах и шампанском, и даже на свои поминки купил вина загодя.

Они сидели рядом, дорогое и вкусное вино переливалось в бокалах, тихо звучали вальсы Шопена, и репродукции Рафаэля и Леонардо да Винчи смотрели на них со стен.

– Хорошо у тебя, не то что в канаве! – задумчиво произнесла Таня. – И умирать совсем не надо...

– Почему ты о канаве говоришь? – дрожащим голосом спросил Сергей.

– Потом расскажу. Подвинься ко мне ближе!

Сережа подвинулся, дрожа, и Таня обвила его голову нежными горячими руками и припала в долгом и страстном поцелуе, и Сережа пропадал в ней, переставал дышать и быть, и становился ее растворяющейся частью.

– Я без тебя не буду, – прошептал он... А тело ее обвивало его как кольцами змей и тянуло в пропасть. Горячая рука ее сжала его руку и движением томительным, как поцелуй, прижала к груди, и обнаженное чудо прикоснулось к его пальцам.

– Ты будешь мой? Ты весь будешь мой? – спрашивала она нежно, и он только молчал и все больше переставал быть...

– Ты меня еще не знаешь, ты меня не видел еще, если ты увидишь меня без одежды, ты умрешь, я такая красивая, что часто страшно самой себя!

– Я и так почти умер, – отвечал Сережа.

– Тогда давай еще выпьем вина, пока ты не совсем умер – сказала Таня...

Теперь Сергею Николаевичу уже не казалось плохо пить вино, хотя он уже был пьянэхонек от Таниных губ, но вдруг она отодвинулась от него и тень ее прикрыла... Рассеянно взяла она нож со стола и попробовала острие пальчиком.

– Он острый?

– Не знаю...

– Впрочем, тупым ножом еще лучше... А что, если я тебя хочу резать?

– Зачем?

– Женский каприз! Женщины ведь капризны. Вот только что я тебя любила, а через минуту, может быть, уже ненавижу...

Она приставила нож к руке к руке его выше запястья и стала двигать, нажимая все сильнее.

Брызнула кровь, Сережа поморщился.

– Больно?

– Не надо, Танечка, зачем это?

– А я плату беру, я ведь ведьма, вот крови твоей выпью и награжу тебя!

Она прикоснулась губами к руке его и стала слизывать кровь, потом вскочила на стол и подбоченилась.

– А уж отплатю я тебе, Сереженька, за кровь твою сторицей!

И не успел он опомниться, как безумная и прекрасная женщина освободилась от пены одежды и предстала перед ним во всей безумной красоте своей.

– Ну, что, какова? Нравлюсь я тебе, Сереженька? Будешь ты теперь рабом моим?

– А разве я еще не раб тебе, Танечка?

– Но клянешься любить меня *вечно* и жениться на мне?

– Клянусь!

– Но прежде чем я стану женой твоей, я хочу быть твоей любовницей... ты хочешь?

– Нет.

– Тогда я уйду от тебя и больше не вернусь. Клянешься повиноваться мне и исполнять все мои прихоти?

– Клянусь, клянусь, безумная, но опомнись, умоляю тебя.

– Так ты будешь всякую меня любить и всякой будешь верен?

– Да.

– Ну, хорошо же.

Она села с краю стола, заложив ногу за ногу, бесстыдная, дерзкая и наглая и сказала так, будто сообщая, что она принцесса:

– Я в канаве выросла, Сереженька... не среди этих книг и картин и светлой музыки, а среди бутылок с водкой и грязных объедков. Отец нас бросил, когда мне было три года, мать пила и пьяных мужиков водила, меня убудком называла, я и сама пить начала с двенадцати лет, а вскоре один из мамашиних любовников изнасиловал меня, а я даже не понимала, хорошо это или плохо...

В пятнадцать лет я попала в колонию и до таких высот поднялась, что тебе и не снилось, среди этих книг и картин...

Знаешь, как меня называли? Меня Таней, Ташечкой сначала звали, а потом Дашечкой стали называть, потому что я "нет" не умела говорить, а только "да", кто бы ни просил.

Правда, плакала я, бывало... только... только ведь никто не видел

этого, и не пожалел никто, и никто на мою душу не льстился, а все на одно тело смотрели...

А ты знаешь, ты на моего папашу похож... У меня на столе его карточка стояла, когда он совсем молодой был, и какое-то сходство странное.

А если бы я твоя дочь была, ты женился бы на мне?

– Не знаю... – со страхом сказал Сергей.

– Но ты ведь клялся!

## ГЛАВА 2

Сергей Николаевич задыхался от быстрого бега, но оставалось совсем немного – проскочить подворотню, наискось через двор, а там только на второй этаж – и он не останавливался перевести дыхание, хотя и думал, что вот-вот хлынет горлом кровь... а впрочем, он ничего этого не думал, ни о крови, ни о горле, и если бы прямо перед ним река разверзлась, он бросился бы бежать через нее, потому что надо было успеть или умереть.

Может быть, никогда еще с такой силой не чувствовал он ужаса потери и безнадежной любви, как в эти минуты сумасшедшего бега; может быть, никогда еще не верил он в Бога так испуганно, так униженно, и так горячо не молился – а молитва его была самая простая и вместе чудовищная, он повторял испуганно одно короткое "Боженька, миленький, Боженька, родненький!" и иногда добавлял как вскрик: "Заплачú, Господи!".

Так молился он Богу, как мать молится конвоиру, когда сына ведут на расстрел, бросаясь на колени и целуя грязные сапоги; но еще оставалось проскочить подворотню, а там трое стояли, и железная рука схватила его, задыхающегося, беспомощного, зажала рот ему, открытый в лихорадочном вздохе, и через мгновение, разбив плечо об острый выступ, ударив грудью о перила, его сволокли в грязный, полутемный подвал, и дверь закрылась.

– Будешь смирно стоять, отпущу глотку! – произнес странный ржавый голос.

Сергей Николаевич мотнул головой, хватка разжалась, ребром ладони он вытер рот, бежала кровь, но он этого не замечал.

"У меня еще десять минут в запасе, – подумал он, – "может быть, обойдется, уговорю, умолю!?"

– Ребята! – сказал он с трудом... Его трясло и слова произносились так, будто он всхлипывал, но он не плакал.

– Может быть, вы ошиблись и вам другой нужен, я здесь только второй раз, моя фамилия Миничев!

– Все правильно, ты нам и нужен.

– Но может быть, вам деньги нужны? У меня с собой нет, а если вы отпустите, то я вам могу принести, это ведь полезнее вам!

– Нет, денег не надо!

– Так чего вы от меня хотите?

– Пришибить...

– Как, совсем, что ли?

– Совсем, чтоб и не пикнул больше. Ну, точнее говоря, вздернуть. Руки марасть об тебя неохота, так что свяжем петельку, голову в петельку, немного подергаешься и все, кончилась музыка.

– Но зачем, есть ли смысл в этом?

– Есть! Одной паскудой меньше станет...

– Послушайте, отпустите меня, зачем отягчать свою жизнь – ну не может ведь быть, чтобы вам было все едино, что муху придавить, что человека, ведь буду мерещиться, может быть, а так все хоть немного душа чище будет!

– Бесплезно просить, смерти ты не минуешь!

– Хорошо, ладно, я согласен... Я ведь не для себя прошу, мне надо женщину спасти, вы меня на полчаса отпустите, и я вернусь, я клянусь вам!

– Вернется он... видали придурка? – заговорил второй, молчаливый. – Ты что же, нас за придурков считаешь, что ли?

– Я вернусь, клянусь вам, клянусь! Понимаете, есть такие люди, что верны слову, вот я точно верен слову, а смерть... еще не самое худшее. Я не себя спасти хочу, я ее, я люблю ее!

– Ну не все ли равно тебе, что с ней будет, если через полчаса ты подохнешь? – заговорил ржавый голос.

– Не все равно, нет! Если б все равно было, тогда и жить не стоило бы, и верить нельзя было бы! Мне надо увидеть ее, а тогда и умереть не страшно.

– Да что изменится, если увидишь? – опять встрял второй.

– Но вот люди на похороны идут, а там-то, казалось бы, совсем все равно... И даже бывает так, что жизнью рискует, только бы проститься... Значит, не все равно...

– И зря... У некоторых народов прямо, как подход, так на свалку, чтоб звери жрали.. Я думаю, что и лучше..

– Ну, конечно, если Бога нет, то все равно... То есть, Бог – это как раз основание и доказательство неодинаковости Добра и Зла, благородства и низости, чести и подлости... Без Бога святость сострадания и низость равнодушия всего лишь условность.

– Для тебя добро, что мы отпустим тебя, а для нас – что вздернем... Так где же добро? Значит, все равно, что считать добром, что злом, а в действительности ни того, ни другого нет, а что кому выгодно, то и считается добром. Медведь задерет корову и ревет:

"Добро!" А корова глупая мычит "Зло!" Понял, проповедник? Но даже допустим, что и вправду одно доброе, а другое злое.

А откуда следует, что злое *хуже* доброго? Вот ты будешь говорить, что надо добро делать, оно свято! А я скажу: "Ребятунки! Ешьте, пейте вволю, девок тискайте, как лис кур тискает, творите зло во всю мощь, оно сильно, мужественно, а добро постно, пресно, худосочно, да и девки его не любят, девки со святыми спать не ложатся."

Вот ты добрый, а я тебя придавлю как гниду и торжествую, и сколько бы ты ни вякал, не отпущу, потому что никакое вяканье, никакая геометрия и алгебра не докажут, что это плохо, и что тебя надо отпустить.

– Если бы это было так, то жить не надо было бы изначально, это значило бы, что мир пуст, есть еда, кровь, похоть, а все остальное – словесный туман, души в нем нет, нет святости, и слова: "я люблю тебя" значат только "я хочу тебя", и нет в мире ничего, перед чем можно было бы благоговеть, потому что все условно, и даже нет ничего настолько оскорбительного, чтобы за это можно было умереть, потому что достаточно понять, что все – равно, и только поморщиться от неудовольствия.

Без Бога нет любви, и нет чести, а Бог – это любовь и честь, и та причина, лежащая вне ума, по которой верх и низ есть воистину и во веки веков и низкое низко не потому, что так условились, и высокое, сколько бы ни условливались, низким не станет.

Но раз *вне* ума, то нельзя доказать, поэтому человек волен выбирать честь или подлость.

– Но если я подлость выберу, так что, Боженька мне по попе ремешком врежет, или ты проповедь прочтешь? Так мне на нее начхать, а Бога, думаю, нет, он что-то себя ни в чем не проявляет.

– Раз есть мера, отделяющая Добро от Зла, то есть и Суд, и находится он в Душе человека, и уж этот суд, когда человек узнает свою подлость и ужасается ей, лютее самого лютого суда, и Божьего и человеческого... Только вот, когда узнается, и узнается ли, я не знаю... да и, наверно, теперь мне уже все равно, что со мной будет, я и так за жизнь не цеплялся, а вы меня лишили того, чем я дорожил и за что цеплялся.

Скрипнула дверь, и в узком проеме появилась тень, махнула рукой, Сергею Николаевичу завязали рот и потащили как мешок наверх, через двор, на второй этаж, втолкнули в узкую комнату, и сзади закрылась дверь, и его отпустили.

С потолка свисала на длинном шнуре яркая электрическая лампочка, диван, кровать и стол стояли на прежних местах, на столе были бутылки и объедки, по комнате разбросана женская одежда в беспорядке, но Сергей Николаевич не хотел поднимать голову

вверх, там было нехорошо и некрасиво... Он молчал, уставившись в пол...

– Ну, что же, падло, смотри! – прохрипел ржавый. Сергей Николаевич как будто сделал шаг к обрыву и заглянул в пропасть, и подумал, что сердце у него уже не бьется, и может быть, если не поднимать головы и закрыть глаза, то он так умрет, и в последнее мгновение успеет подумать, что ничего этого нет, а было страшное видение, он даже улыбнулся от радостной мысли, что можно так просто перехитрить яркую электрическую лампочку. Но – никак не умиралось.

Может быть, сердце и не билось, но ужас знания не уходил, и вдруг прорезал яркой молнией:

– Это она! Это конец!

Сергей Николаевич поднял голову, с потолка на тонком шнурке висало совсем голое молодое и красивое женское тело, а на груди висел большой лист бумаги с жирной надписью "шлюха".

Сергею Николаевичу надели на грудь тоже лист бумаги, на котором было написано "Иуда-Христосик" через черточку, подвели к стулу, он легко встал на него и усмехнулся. Около головы свисала другая петля.

– Одевай! – хрипло приказал Ржавый.

– Нет уж, сам одень, чего это я за палача буду делать его работу?

Сергею Николаевичу связали руки за спину и надели петлю.

– И ее вы тоже? – спросил он.

– Нет, она сама. Это она сама все задумала, а я только помогаю, я ей только заплатил за ее ночи сладкие, вот мы и квиты. Конечно, у меня и свой расчет, да о нем не стоит говорить, Анькин счет побольше.

Сергей Николаевич вздрогнул – Анька? Почему Анька? Ее ведь Таней зовут!

– Это она так, для маскировки, Таней назвалась, а звали ее Анной, по батюшке Сергеевной, вот как и тебя, Сергей Николаевич, а маму ее Любовью Юрьевной. Ну и такая у них семейка подобралась, еще поискать такую, мамаша потаскуха, дочка шлюха и воровка, а папаша – тот даже собственную дочь растлил, а для начала бросил обеих в канаве, а сам в Христосики пошел. Ну, вот, семнадцать лет Анечка по канавам да панелям жила, но мечта ее согревала – найти любимого и незабываемого папочку, о котором она все глаза проплакала, которого семнадцать лет ждала и не дождалась, и уже больше не расставаться с ним. Вот вы теперь вместе и будете, а пока прощайся со своей любимой, а как простишься, скажи, и мы поможем тебе с ней встретиться.

Сергей Николаевич не слышал и не понимал ничего, он только

понял, что это Анечка, Любина дочь, и удивился странности, прихоти судьбы, которая их столкнула, но Любина ли она дочь или чья другая, Танечка ли она или Аня, это ему было неважно, а важно было только то, что он ее любил, ее, эту недавно еще так полную жизни девочку, а своя жизнь цены не имела, и если бы ее жизнь продлить хоть на час, всю свою отдав, он только был бы счастлив; и важно еще, что больше Тани-Анечки не было, не было – навсегда, совсем, совсем... И еще Сергей Николаевич уловил, что ему можно прощаться, и он пристально взгляделся в ее еще не омертвевшее, еще прекрасное тело, а впитывал, впитывал ее облик...

– Это ничего, что я на тебя нагую смотрю, ничего, не сердись на меня, больше ведь не увижу никогда, а разве я и твои ноги, и живот, и грудь не любил, а разве чего-нибудь можно стыдиться, когда я скоро к тебе насовсем приду?

Сергей Николаевич стоял не шелохнувшись, и смотрел и смотрел, не ощущая времени и ужаса, и наконец, устали ждать палачи.

– Простился?

– Не знаю...

– Плохо, конечно, что семнадцать лет ты не можешь просто ять, глядя на нее, но правосудие еще несовершенно... Может быть, там будешь мучиться, а здесь – пора оплатить счет. Что скажешь еще?

– Спасибо, ребята! Это мелочь, что жизнь обрывается, мне с нею и так невозможно оставаться теперь... Мелочь, пустяк... Ани не будет больше – вот что важно!

И еще важно – Бога нет! Нет Бога, ребята, простите меня, – врал я.

Ничто не свято, нет святости, все можно делать... я ведь просил вас, чтобы к ней пустили, просил, умолял – а вы не пустили.

Эх, вы! Может быть, вам все простилось бы, что вы раньше наделали, если б к ней пустили, а вы... эх, вы!

А Бога-то – нет! Устроил подлый мир – и в кусты, смылся? Эх Ты, Боженька!

Ты думаешь, если рай есть, так утетишь? Плевал я на рай Твой, хозяин! Аньку в петлю, а меня конфетами кормить в раю будешь?

Он помолчал немного. – Проклинаю мир Твой и Тебя, устроителя! А может, и вовсе ничего нет, даже злого Хозяина, а одна только мертвая природа да живое мясо?

– Во что же ты верил, если, кроме мяса, нет ничего?

– В Красоту верил! И в справедливость!

Я ведь русский человек, а потому Бога в душе искал, а не в уме.

Что такое Дух, и что такое материя, и что из чего происходит – это для меня словоблудие было, все равно как стоять на коленях перед Анечкой, и раздумывать, она из кожи, да костей, или и кожа и кости – из нее, бездонной... Мясом ли девичьим я насытиться жаждал,

*переступив* красоту? – да нет, даже мыслить так – одно словоблудие и хуже *переступления!*

Вот, народ наш – для чего жил, что искал, на что молился, в грязи, бедности, неустроении, зле крошечном? А молился он Благолепию, искал справедливости... На иконе лик торжественный, на священнике облачение белое с золотом, в храме голоса согласно поют, маковка храма на солнце сияет, и храм сам на холме как Бог сияющий издалека виден. Изложница-то, может быть, и в глине, да в камне, но в ней крест серебряный выплавлялся.

А за трапезой скудной все сели чинно, возблагодарили Бога, хлеб преломили, а после крошки мужик со стола в жменю собрал и в рот бросил, да не с жадности, а из благолепного уважения к нему, как телу Христову... Так мясо ли? Нет мяса, это ведь Анечка, это ведь плоть ее, тело ее святое! Это она до последней жилочки, а разве она хуже Христа, у Которого тело из хлеба, кровь из вина?

Так что же с миром случилось, зачем? Что же он без Анечки, без любви, стоит ли чего, неужели пиры задавать, по саду гулять, о звездах болтать, ходить в концерты, наслажденьями наслаждаться, когда икона со стены об пол вдребезги, когда с храма купола и кресты сняты и тело крапивой зарастает? Без Анечки разве еще можно сметь жить? Разве можно? А если можно – то тогда и все остальное можно, ни в чем святости нет, бей, ломай, рви мясо когтями, Бога-то нет, а только есть либо наслаждение, либо удовольствие...

Где же Красота, где Справедливость? Боженька, где Ты? Или Ты где-нибудь там, далеко, на облачке, все ж таки есть? Так что мне с того?

Я-то ведь здесь, вот, подле Ани... Здесь-то Ты е́сть ли?

Вот она, бессмыслица и осквернение! Вино на столе, хлеб недоенный, лифчик ее возле тарелки лежит, а вот и Анечка, на шнурке болтается – здесь Ты, Господи, тоже есть?

Молнии не блещут, обои на стене грязные, постель смята, тут три мужика стоят, без рог, без вил, просто три *тупых* мужика, меня не слушают, ничего не слышат, да разве кто-то что-нибудь слушает, да разве меня кто-то слушал когда-нибудь, да разве хоть раз в жизни, хоть раз единый кого-нибудь можно было убедить или опровергнуть? И Сам-то Христос опроверг ли судей своих?

Вот, спрашиваю её: Ты меня любила?

– Да разве это что-нибудь значит, отвечает, если я *теперь* не люблю?!

И что же мне возразить? Дал Ты мне возраженье, Господи? Разве слова загорятся, опалят?

Но если бывшее ничего не значит, то разве и сей миг значим? Он бабочка-однодневка...

Вот, так неторжественно, пошло, средь слов пустых, ни ангелов,

ни демонов, ни остановить, ни изменить ничего, дощатый помост – пол деревянный, она меня покинула, не слышала никогда, вот и я ее сейчас покину, и все, как будто ничего никогда не было, а любила или нет, разве это что-нибудь значит? Вчера одного любила, сегодня другого, а завтра еще полюблю, пуще прежних... Ну, Боженька, зачем же на скотный двор Ты меня завел, я же с цветами хотел говорить, музыку слушать, а Ты такую подлую пьесу написал и перед стеной меня поставил, а она не слышит.

Подвинься, стена!

Нет, молчит...

Эй, кто тут есть?

Никого нет.

Да и Тебя-то нет, нет Тебя, слышишь, Ты!?

Нет Бога! – шепотом хриплым закричал Сергей Николаевич.

– Ну, понесло проповедника! Вышибай табуретку, Гена!

– Почему это я? Нет уж, сам вышибай, Фома Фомич!

– Эх ты, дерьмо!

Фома Фомич выдернул табуретку и тело Сергея Николаевича дернулось один раз и застыло.

– Ну, вот, и нет двух человек на свете... и мы с тобой...

– Да какие люди, Фома, откуда люди? Шавки все!

– Может быть, и шавки, а все же люди... Постой, что это за бумага у него в руке? Не было никакой бумаги, откуда черт принес? Письмо, что ли? Ну-ка, дай прочитаю!

И Фома Фомич начал читать письмо Сережино, написанное в ожидании телефонного звонка.

### ГЛАВА 3

Танечка, любимая девочка! Меня колотит какое-то страшное предчувствие, я надеюсь увидеть тебя, надеюсь, что ты не бросишь меня, останешься со мною, я без тебя жить не могу – но смогу ли умолить, смогу ли остановить тебя, куда ты бежишь, не знаю... Может быть, ты не любишь меня вовсе, и жизнь кончилась... Таня, Таня, что жизнь?

Мне не нужна она, если тебя нет, и без тебя я жить не буду и одного дня, я устал от жизни, я уже не могу закрывать лицо, а она меня все бьет и бьет по лицу... За что, Танечка?

Зачем пишу, о чем писать – не знаю... Но пишу, потому что когда к тебе приду, я только смогу встать на колени и умолять... А ты не слушаешь слов моих и умолить не смогу.

У меня было смутное подозрение, ты напомнила мне одну историю, но на столе лежал твой паспорт, и я убедился, что подозрение ложно... Сходных судеб много, быть может, и ее судьба,

девочки, о которой я вспомнил, сложилась темно и безрадостно, как и твоя.

Я не знаю, как умолить тебя о любви, не знаю, о чем говорить на прощанье. Ну так расскажу тебе эту старую историю, послушай.

Лет двадцать назад я был студентом университета. Но думал я больше о любви и девушках, чем о лекциях, и разумеется, влюбился без памяти. Был я красноречив и прямолинеен, совпали вместе увлечение литературой, Евангелием, Вакхом и Амуром, и любимая моя ходила за мной как тень и слушала меня по десять часов кряду, и стала моим вторым Я.

Но – женщина непостижима... То она клялась в вечной любви и преданности, то чуть ли не мгновенно увлеклась другим, стала меня обманывать, хитрить, а вскоре и вовсе бросила и объявила, что не любит.

– Но ведь клялась?!

– Ну и что же?

Я долго думал, существует ли возражение на это "ну и что же", которое могло бы вернуть мне ощущение духовности мира, и не нашел его.

Мне нужно было ее забыть, перестать любить, то есть все равно, как если бы... нет, сравнения я найти не могу, но я чувствовал, что если можно разлюбить, а потом пойти к другой, и ей тоже говорить, что она дороже жизни, то сама жизнь не стоит того, чтобы ее любить, а слову "люблю" надо смеяться как забавному звукосочетанию.

Нелепо и неумело я попытался перестать жить, но очнулся в тихой белой палате еще живее, чем был раньше, и красивая грустная женщина воскликнула: вот ты и снова родился на белый свет!

Она за мной ухаживала старательно, и через неделю я вернулся в свое родное общежитие и начал жить заново.

Но это история побочная, и я ее рассказываю только для того, чтобы сказать, при каких условиях познакомился с Любочкой, и что из себя представлял.

Встретился с Любочкой я за полгода до развязки драмы, а сблизилась мы и подружились вскоре после возвращения, когда многие от меня отвернулись, разочаровались во мне, в особенности девушки, для некоторых из которых я был кумиром перед тем. Но Любочка, напротив, не отвернулась, а стала заботливее, а тут вдруг и новая страсть завладела мною – я начал играть в карты на деньги, из университета меня выгнали, из общежития – тоже, где я жил и на что в течение года, пока был пьян картами, не знаю и не могу вспомнить.

Но помню хорошо и ясно, что всюду со мною была Любочка, и когда я держал карты в руках, она стояла у меня за спиной. Я проигрывался, и она бегала искать денег, я не уходил от карточного

стола по трое суток, и она приносила мне поесть, однажды она в течение двух часов продала то, что было надето на ней, девчонкам своего курса, пришла босиком, затем в свитере, но без кофточки, потом без часов, хотела продать и юбку, но юбку уже никто не купил, и тогда последнюю приличную вещь с себя она продала, купленную накануне, и уже не знаю, восполнила ли она потом этот недостаток в одежде.

А ведь Любочка не была ни женой моей, ни любовницей, ни возлюбленной, и даже мысли об этом не было ни у нее, ни у меня. Она была странным существом, мужчины были ее страстью, и только для любви она жила, отдаваясь ей искренне и самозабвенно, иногда в течение одной недели переживая два романа, с восторгами, слезами и разочарованиями, каждого клялась любить вечно, а забывала почти мгновенно, была бесхитростна и чиста как ребенок, хотя – вот здесь я и сам в недоумении, как примирить бесплотное и бездуховное, дитя и шлюху – хотя другой любви, кроме любви в постели, она не знала.

Это было так естественно для нее и просто, как поделиться куском хлеба с голодным, и кажется, не было мужчины, которого она не могла бы пожалеть и приласкать – пожалуй, кроме меня единственного. Почему во мне она не видела мужчину и была холодна и бестрепетна – загадка; а я, разумеется, не ощущал в ней женщину, потому что и в других я не видел женщин и не смотрел на них, сначала потому, что любил единственную, потом – потому что весь мир заполнили для меня карты, иной жизни, иного мира – не было.

Мы оба были изгнаны из общежития, скитались по разным углам, летом тайком жили в комнате у молодоженов, уехавших в медовое путешествие... Лето было холодное, и как-то однажды ночью мы оказались вместе, и жались друг к другу, как два котенка, чтобы согреться. Она свертывалась калачиком, а я ругался, что у нее коленки холодные и требовал, чтобы она их убрала. Мы были невинны как младенцы, и если бы кто-нибудь попытался объяснить нам наше неведение, я ничего бы не понял.

Случилась у нее и роковая любовь, года через два, и это тоже история длинная и запутанная, а потому перехожу к развязке.

В то время мы жили уже порознь, встречались редко, я болел совсем другой болезнью, чем раньше – собирал книги, бредил ими, красноречия уже убавилось, а взгляд на мир становился все запутаннее.

Любочка пришла ко мне взъерошенная и ошеломленная, принесла бутылку вина, выпила сразу целый стакан и сказала:

– Знаешь, я тебе открою тайну, только ты молчи! Не знаю, как сказать, я все слова забыла. Ты не будешь сердиться, если я скажу грубо?

- Ну, говори, что ты, разве я на тебя сердился когда-нибудь?
- А все равно почему-то боюсь сказать... Ты же сумасшедший, святой, нормальных людей ведь не понимаешь, вон книгами завалил весь дом... В общем, я – попалась!
- В чем, как?
- Ну, откуда я знаю, как? Никогда не было, я даже и не думала, что может быть, и вот, пожалуйста, не ем ничего, а юбка не застегивается...
- Ты что, располнела?
- Дурак, рожать буду!
- Ах, вот что? Так рожай!
- Да как рожать, когда он сволоочь и бросил меня, как увидел, и за версту обходит?
- Так тогда можно и не рожать, наверно...
- Уже нельзя, поздно.
- Что ж ты раньше?
- Да я думала, что оно как-нибудь само рассосется... Да вот не рассосалось...

Через полгода я был на крестинах, родилась девочка, здоровая, бойкая, назвали ее Аней, Любочка была и удрученная, и радостная.

- Послушай, Сереженька, ты меня бить не будешь?
- За что? Умница, что родила!
- Да я не об том, я и сама рада... Понимаешь, я ее регистрировала, а надо было отчество, и отца записать в метрике, и я подумала – неужели этого мерзавца запишу?

Так я решила, пусть у нее хоть в воображении папочка святой будет, ну я тебя и записала, и вот она теперь Анна Сергеевна... Ты не сердись?

Пожалуй, мне даже приятно было, позже сомнения зашевелились, но потом случились в моей жизни события, из-за которых о многом надолго пришлось забыть... Кстати, в тюрьме я столкнулся тоже со странной любовью, в которой тоже плоти не было – ведь то, что с Любочкой меня связывало, дружбой назвать нельзя было, я и не уважал ее даже, ну, а любовь может принимать самые фантастические формы, и без уважения и почти без любви.

Так вот... В тюрьму я попал на каком-то страшном переломе судьбы своей, когда мир и жизнь стали казаться пустыней, может быть, тюрьма даже спасла меня... Но был я там все время в непрерывном ужасе, как будто на эшафоте стоял, и успокоиться никак не мог, тело оцепенело, голос кой-как звучал, но душа так, пожалуй, и вопила не переставая, только не слышимо... А все-таки жил, вечером спать ложился, утром вставал... то есть, не жил, а ждал либо казни, либо освобождения.

Но вот что странно... Никакого особого участия к другим не проявлял я, был только вежлив, слушал, отвечал, рассказывал, передавал миску или ложку, ни молний, ни штормов снаружи, как день сентябрьский солнечный... А все у меня допытывались, есть ли Бог и для чего на свете жить, и чем больше душегуб, тем больше у меня о душе допытывался! Но на вопросы я отвечал, что не знаю, есть Бог ли, не знаю, зачем на свете жить, а когда спрашивали, можно ли кому-то зло и обиду сотворить, отвечал, что не обижает пусть тот, кто не в силах руке своей приказать ударить, а если и прикажет даже, то она сама с горя и стыда засохнет. И когда спрашивали, есть ли грех и невинность, отвечал, что они есть только для того, кто чувствует, что они есть, а если кто не чувствует, что невинность больше, чем жизнь сама, тот уже не имеет в душе ее и как бы ни жил добродетельно, уже осквернен.

Вот, говорил я, притча: Двое бедных влюбились и к алтарю пришли, посмотрели, сияющие, друг на друга, он и говорит: "Что же, милая, подарю я тебе? Нет у меня ничего, кроме души истерзанной, наполненной кровью живой, но только ее прикосновение оживляет слова и пустые происшествия жизни, освещает святым светом и наполняет музыкой, без чего жизнь – пустой водевиль! Но как мужчине и женщине душа одна дается на двоих, и женщина ее получает через любовь к мужчине, то нет ли у тебя, милая, посуды какой, чтоб я кровь живую на двоих разлил?"

И огляделась любящая, и заплакала, и ушла от алтаря. Я вообще тогда притчами говорил больше, легче в душевной муке было так говорить, чем просто разговорами развлекаться.

Еще я говорил, что человеку даны Плоть и Мир, а не Дух и Бог, и почему это так, это тайна, которую человек не узнает, пока не износится в муке его человеческая оболочка, но что Плоть – это слепок Духа, а мирская жизнь – это воплощение религиозного Бытия, и многое, что нам кажется только естественным, естеству подчиненным, или нелепым, непонятным, противоестественным – вместе и сверхъестественно.

Так Боль – это граница Плоты и Духа, переход *из*, и познание через размышление не выводит никогда за пределы естественного, хотя бы в мудрости познающий превзошел Соломона и вместил в ум все философские системы мира.

Постижение, то есть преодоление границы и новое видение, дается через Боль, и нравственная мука – видение недуховности и нерелигиозности мирского, подлой грязи его, и скорбь о мире, страданье, что мир – не в духе, плач души, что она не воплощена, а физическая, телесная боль – плач плоти, что она не одухотворена.

Вот почему Боль сопровождает переход, преодоление границы, и

вот почему так различна Боль мужчины и женщины, ибо женщина – плоть, а мужчина – дух.

То, что говорю я, лишь отблеск тайны, а не тайна сама, ибо воистину ни плоть, ни Дух не существуют отдельно, а только как проявления целого, но они не одно, их разделяет боль. И так различна любовь у мужчины и женщины, как различна боль души и тела.

Никто ничего не узнает через слова, ничего нельзя доказать, но можно только увидеть, войдя в муку. И женщина немилосердна, пока не предаст себя ради любимого, и мужчина немилосерд, пока его не спасет любовь женщины.

Что же такое спаденье человеческой оболочки, и что такое Преображение, я не знаю.

Вот так притчами развлекал я соседей своих по тюремной камере, а они открывали мне души свои и тайны свои и исповедовались, как перед священником, хотя никогда меня не интересовали мужские тайны, и никогда не думал я ни о ком, кроме женщин.

Однажды проснулся я от тяжелого сна, и хотя наяву не плакал, но во сне рыдал безутешно. Очнувшись, и еще не открывая глаз, я почувствовал, что сосед мой по камере, замкнутый и угрюмый парень лет восемнадцати, вот уже неделю восторженно и молча слушающий мои притчи, гладит меня по лбу и шепчет ласково: Спи, миленький, не плачь, спи, миленький!

А потом, когда я затих, он встал на колени перед топчаном, припал к руке моей и заплакал сам. Вот что бормотал он:

– В тебя – верую! В Бога – нет, а в тебя – верую! Но как жить дальше – не знаю. Только тебе могу сознаться – это я ее убил, никто ничего доказать не может, а я убил ее, потому что любил ее, а она – падла.

И бабам никогда не поверю, все они шлюхи, а в тебя верую, только ты – человек. Она теперь лежит под старой мельницей, там лаз есть, никто не знает, и никогда не узнает, и скоро там свод обрушится. Я гадину раздавил, но разве не поделом ей? Она же паскуда, и теперь не польстится больше никто на ее тело бесстыдное...

Я слышал шорох у двери. Я услышал его еще раньше, потому что слух был напряжен в страшном усилии... но... я замешкался, потому что бывают минуты, когда чувство стыда сильнее чувства опасности, и открыться, что я не сплю, нарушить целомудрие его коленопреклонения было невозможно так же, как выйти нагим на площадь.

Вдруг оцепенение прошло... Я застонал, вскрикнул... он отпрянул... я как будто перелился слухом через железную дверь, но там было молчание, и ни звука, а потом медленно раздались приближающиеся шаги надзирателя и открылся глазок в двери.

Мне показалось, решил я, и перевернувшись на другой бок, осторожно вытер испарину со лба и слезы со щек.

Днем его перевели, а вскоре узнал я, что дело его завертелось, завертелось, открывалось все больше, и наконец вскрылся и лаз, и мертвое голое тело в побоях, и окончилось все осуждением на восемь лет. Приговор был не жесток, но вскрылось одно странное обстоятельство, какое-то нелепое и чудовищное в своей нелепости, и я в недоумении перестал рассказывать притчи о благодати и гармонии мира.

Подозревали изнасилование, и тогда грозило наказание гораздо большее, если не самое худшее, поэтому проведена была медицинская экспертиза – и она доказала его невинность в этом отношении – но – невероятно и нелепо, если падлу и шлоху раздавил он, – однако экспертиза установила с такой же ясностью и такую же бездушную логикой, что была *невинна* и она, и еще невиннее, чем он, ибо он – убил.

Но, нежная моя Танечка, зачем я все это страшное вспоминаю, неотделимая, любимая моя...

Листки выпали из рук Фомы Фомича, а взгляд его, бессмысленный и дикий, остановился на двух повешенных...

– Так, это... значит, не он?... так – зачем? Так это, значит, низачем, это совсем низачем! Кого же ненавидели мы, Анька? Господи Боже Ты мой! За что все?

Он стал обводить взглядом комнату, и вдруг в углу на невысоком шкафу заметил нечто, от чего вздрогнул...

– Ген, Ген, ты посмотри вон там, что там?

Гена принес заинтересовавший предмет, это оказалась старая потускневшая икона, пожалуй, всего только доска от иконы, на которой решительно никак нельзя было увидеть изображение, но Фома Фомич взгляделся и радостно осклабился:

– Смотри-ка – борода! Это ведь Он, Он самый, а, Гена? А что, если мы Его того – тоже зашибем?

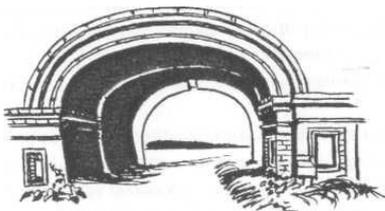
– Как зашибем, кого? – испуганно спросил Гена.

– Ну, Этого... Или удавить? А?

– Бога-то нет, Фома Фомич, это все видимость одна...

– Нету, Геночка, нету, какой же это Бог? Где ж тут Бог, куда Он смотрел, за что все это?..

Светало. В грязные окна просовывался тусклый рассвет. Колокола молчали.



Разговоры  
с бабой Мурой



**В** пору самой ранней молодости, но уже успев обидеться на мир и людей, оказался я в Мурманске.

Стояла середина апреля, необычно ранняя и прозрачная весна. Школьницы вечерами в легких пальто без платочков гуляли по улицам, я взглядывал на них оскорбленно и мрачно, но шел независимо, хотя и недалеко от их веселых звонко щебечущих стаяк.

Вот так нагулявшись – а девочки утомнились только почти к полуночи, вечер был светлый, прозрачный, тонкий и хрупкий, как тонкий ледок на лужице, вечер был длинный, светлый, вечер был сам светлый апрель, праздник апреля, и хрустел ледком, и переполнял легкие пьянящим воздухом – так нагулявшись лишь к полуночи, я шел по боковой улице, где у забора уже подсохла обочина, и вот на сухой обочине, вижу – человек лежит на спине и смотрит в небо.

– Ну что, ложись рядом! – позвал он меня. – Уже первые звезды взошли... будем вместе смотреть...

Я лег, и все еще переживая свои невинные обиды, пожаловался на жизнь.

– А ты водку пить не пробовал?

– Да так, слегка пью...

– А надо не слегка, а как следует! Всякое дело надо так делать, как будто в последний раз, и на том жизнь кончается... Ну, я тебя научу пить, коли хочешь... Я тут студента одного научил... адмиральский сын, так он уже сегодня три телеграммы домой отбил, пишет, что душа возгорелась, а залить нечем... Так хочешь, и тебя научу?

Я не перечил, и он обрадованно сел.

– Что же, прямо сейчас и начнем! У меня еще осталось...

Он извлек из кармана телогрейки до половины выпитую бутылку, из другого стакан, целый соленый огурец и кусочек черного хлеба.

– Зовут меня Дмитрий Алексеевич. Помнишь, на выборах царя Бориса: "Митяй, а, Митяй, пошто кричим-то? – Ну, дак все кричат, и мы кричим, а Господь его знает, пошто..." Так вот я тот самый Митяй и есть!

А можно и Лексеичем звать, как баба Шура...

Ну, за науку!

Выпили помалу, и откусили огурца, а остаток водки Лексеич заткнул бумажной пробкой.

– После допьем. Сначала о жизни поговорим, а как в мою веру обратишься, так за новообращенного выпьем. Ты вот повесишься никогда не думал?

– Ну, были, может, мысли, так, временами, но всерьез чтоб... пожалуй, нет...

– А я, брат, на днях чуть не повесился! Знаешь, женился полгода назад. Ну, кончился медовый месяц, и стала жена плакать: и день ревет, и ночь ревет... Да и было из чего! Засомневался в женитьбе я сильно, и начал понемногу прикладываться... Я прикладываюсь, а дура ревет... Мне хорошо, а ей тошнехонько! Ну, и мне наконец тошно стало. И жалко ее стало. А тут еще ее друзья, подруги... окружили меня как зайца, по головке гладят, целуют, обнимают, на руках носят, и чуть на колени не становятся – только пить брось! Золотой ты, говорят, наш, да тебе цены не будет, коль пить бросишь! И требуют, нехристи, чтоб еще и поклялся, что в рот ее боле не возьму.

И так меня замордовали, так затуманили, что взял да и поклялся! Принес родненькую из магазина, поставил на стол, созвал подруг, говорю: Ну, нехристи, целуйте троекратно меня в сахарные уста!

Люся побледнела, а ничего, терпит... Поцеловали они меня троекратно, и взял я ее, голубушку свою горькую, за горлышко ее тоненькое, поднял нежно так двумя пальчиками – да как об угол печки хрястнул! Так она вся слезою и пролилась, а я и ладонь еще порезал. Слезы-то с кровью оказались. Ну, думаю, неспроста это.

И стал я жить *бесценным*. Неделю так живу, месяц... Взор потух, руки трясутся, спина гнуться стала... Домой прихожу, Люся разговаривать со мной норовит, а я поперек ее смотрю. В горле, говорю, у меня все засохло, слова не проходят, да и работы много, устал я. Брошу телогрейку на лавку, отвернусь к стене и сплю.

Вот и стала Люська реветь. Ночью спать не дает, все всхлипывает.

Ну, думаю, да долго ли я буду мучиться так? Пошел я в воскресенье в столярку, на чердак залез, вбил гвоздь в стропило, веревку привязал. И думаю: чего еще жалко мне остается? Вот, думаю, перво, дурак я, надо бы бутылочку с собой прихватить, хоть на своих бы поминках выпил!

А чего еще жалко? И вспомнилась вдруг баба Шура, и вся прежняя жизнь, когда еще воистину жив был, а не просто прозябал в ожидании смерти... И так мне вспомнилась она, и так захотелось ее увидеть, или хоть на могилке ее посидеть – она уж верно умерла давно – что и умирать передумал.

Написал я Люсе нежные слова: Желаю, тебе, Люсенька, настоящего счастья, о каком еще в детском саду мечтала, а я крокодил. и поплыву к себе в болото раздольное. Обо мне не плачь, и долго не грусти, я тебе оставляю фотокарточку на память. Твой до гроба, первый, но не последний, Митяй Алексеевич.

– Ну, и давай-ка мы за мое воскресенье выпьем!

Разлили остатки из бутылки, но огурец съели не весь.

– Не спеши, у меня еще красной бутылочка есть. Пойдем-ка к деревьям, там за столиком сядем, и буду я учить тебя уму и разуму.

В сквере было тихо, тепло от выпитого разлилось по телу, и такое умиротворение снизошло на всякую былинку и на всякую веточку пробуждающуюся, что и я себя пробудившейся веточкой почувствовал и воистину сливался – не то чтобы с природой – а с музыкой апрельской удивительной ранней весны.

Митяй погрустнел, и стал тверже в словах и движениях.

– Человек, друг мой, рождается не отцом и матерью, ибо Отец и Мать рождают ему лишь грешную плоть, а Душа рождается неведомо отчего и в неведомый срок, когда уже может быть сам человек становится отцом или матерью, а то и дедом с бабой...

А, впрочем, Господь и от премудрых утаил, и неразумным не открыл то, о чем я теперь говорю, а расскажу-ка я сначала, как судьба меня к бабе Шуре привела.

Дорога же к бабе Шуре была не простой, и не прямой... Судьба меня хоть и не сорок лет водила, как Моисей народ еврейский, но все же вела осмотрительно, так чтобы уже на взрылленную почву семена пали, как срок настанет.

Бутылочка у нас цела еще, и рассказывать можно неспешно. Начну-ка я с той поры, когда впервые тошно стало, и Духом заболел.

Было мне тогда девятнадцать лет, и учился я в университете на философическом факультете.

*Фило* значит Любовь, *София* же мать мудрости. Да, видно, беса в себе я и тогда уж носил, и к первому гораздо боле склонялся, чем ко второму.

На лекции-то сижу, и хотя все про Софию слушаю, а сам мимо кафедр, и мимо лектора, и мимо всякой мудрости земной и небесной только Любовь и вижу.

Ах, и какие же философини сидели и справа и слева от меня! Вот, посмотри мне в глаза прямо! Видишь, левый чуть влево подается, а правый как будто направо смотрит? Это вот лекции меня так выделали.

Но, правда, и не только бес сидел во мне!

Еще что-то пуше беса тащило меня, теснило и мучило. Соберемся, бывало, в общежитии на кухне, за полночь, кофей в чайнике кипятим, и как монахи на покаянии возглашаем.

Юра возглашает: – Дух един и неделим, и все в нем от его единства и целостности происходит и к целостности движется...

Валера же басом дяконовским, на подоконнике с талмудом сидя: – Но причиной всему разделение и раздвоение, и что против чего стало, то в сопротивлении своем само себя движет и рождает, и сопротивление же снимает противностью своей.

– Но, не перейдя от себя к другому, ничто бы не только не было, но и не стало... и всякое, что стало собою, вначале было другим, и то, что другим стало, к другому от себя шло...

– Но и то следует добавить. что все родилось из ничто, и себя отвергая, опять в ничто обращается. Но, по некоей гиперболе вознесенное, с прежним ничто не только в родстве. но и в свойстве уже не состоя, новое все неся в невесомости...

О, черт! Это же задубенеть можно! Воистину такого дубья, как средь наших любомудров, не встречал я и в самых глухих дубовых лесах под Муромом, и в тяжких снах не видал.

Ужели и я был как они?

Но – бес меня спас!

Случилось так, что любовь превозмогла мудрость! Пожег я тома Гегеля высоко-ученые, с Анатолием Михайловичем растворили мы этот пепел чистым, как из родника, спиртом, и пошли к Тане.

А кстати, не грех и за Таню выпить теперь, и она помогла мне бабу Шуру найти.

Выпили мы красной по полстакана, и огурец наконец доели. Лексеич грустно посмотрел на бутылку, прятать в кармане не стал, а поставил на стол.

– Врезала мне Таня по правой щеке, и, не повернувшись к ней левой, пошел я от нее прямо в церковь. Поставил свечку пред иконой Марии Магдалины, выпросил у батюшки Ветхий Завет, и с ним за пазухой, как с ножом разбойничьим, вернулся в дивное место, где мудрость возвещалась без выпивки и закуски суконным рылом на суконном языке.

Встал я тогда, как Савонарола, взглянул на Таню, змею сатанинскую, и громовым таким страшным гласом возгласил:

– Вот, – возгласил, – где Истина и Свет! А все мимо этого – Блуд и Змеинный яд!

Из ребра Адамова сотворена Змея Сатанинская, так надо это ребро в порошок истереть и в ступе истолочь. А я пошел, и любомудрие ваше пусть при Вас остается, но я уже не вернусь, и на коленях не умолю. Господь меня не оставит, а Сатана мне не нужен.

Потряс я Библией над головою, дверью шарахнул, аж кафедра подскочила вместе с суконным пиджачком, и вышел.

Вбил было тогда я гвоздь в стреху под крышей в первый раз, и уж веревку приладил...

Но вспомнил родителей, и братьев и сестер своих, посылавших меня любомудрию учиться, и ждущих меня назад со светом истины обретенной, и жаль мне стало непросвещенных родителей своих, и неразумных сестер и братьев.

Спрятал пока я веревочку вместе с последней Таниной фотографией в надежном месте, а сам отправился в родные края – и оказался вскоре под родительской крышей, как миссионер среди язычников.

Только вошел я в поселок наш, соседская девчонка встретила и кричит издалека еще – Ой, Дмитрий Лексеич, миленький, а все ждут тебя, только за стол сели, а гроб еще не заколотили.

Чуть я не умер на месте! И идти не могу, стою и молитвы не знаю какие шепчу (а еще ни одной то и не выучил...).

– Кто? – еле выговорил.

Да Лешка с Придорожной улицы, который еще Варьку бил, брагой опился. Телеграмму твою получили, и ждут, без тебя не начинают.

Обрадовался я за Лешку, и в Бога воистину уверовал. Взошел на поминки, и с порога, не поздоровавшись, возглашаю:

– Есть Бог, верить надо и спасаться! Жизнь человеку дана для спасения и жизни вечной. С Богом смерти нет, а без Бога и жизнь – смерть!

– Вот те на! – дядя Михаил отвечает... – А сколько ж я этих икон порубил в былые года! Анисья! Никак у тебя в кладовке еще одна сохранилась, живо тащи! Раз ученый человек говорит, что Бог есть, значит верить надо!

Принесли иконку, выпили за покойника, за жизнь вечную, за Бога, за людей, за меня... ну, потом я уже и не сажился, а все стоял, рюмка в одной руке, огурец – в другой.

– Дубье, – говорю, – все, кто по книгам учился! Мужик мудрее в мильон раз, мужик еще не одубел, природный ум не растерял, свой собственный, от Бога данный, малый ли, большой, пусть глупей глупого, но – свой, самобытный! А то попугаев нарастили, долбят книгу и долдонят фигу... К черту, – кричу, – пьем не за "из грязи в князи", а за "князя и в грязи!"

Надо в храм идти, там чисто место, там человек кроток, а вокруг самодовольное любомудрие и мерзость запустения!

И тут вижу, смотрит на меня в упор молодая женщина, лет двадцати пяти, глаза черные, взор горячий, медовый, обволакивающий, зачаровывающий, заколдовывающий!

– Кто это? – спрашиваю у соседки.

– Да шелапутка одна, от мужа сбежала, у дяди Михаила во флигельке живет.

Забыл я и рюмку, на стол поставил, и спасенье Души, и Таню, змею философическую. Да и на меня уже народ не смотрит, суета поднялась, гроб выносить стали, бутылки и закуску со столов собирать стали, чтобы еще на кладбище помянуть. Мать моя Лешкиной вдове голосить помогает, сестры и братья вперед всех на кладбище унеслись, а мужики уже тоже меня не слушают, между собой схватились. И то дивно, я тогда в первый раз отметил, а после много раз примечал, что кто пуще всех иконы искоренял и всякое другое христианское мракобесие, те и теперь первее других по мордам лупить начали: Есть Бог! – кричат, будто всю жизнь то и делали, что не церкви ломали, а Бога проповедовали.

А может и впрямь и ране Бога проповедовали, но по-своему, как баб и детей своих любя, поленом лупцевали. Сильно мне тогда в душу ударило, что от великой любви к Христу народ русский возненавидел Его... Коль ты в белоснежной одежде, и одежда твоя белее всех, и выше всех на горе блистаешь, – а пятнышко хоть и единое на ризе белоснежной твоей – то таким великим оскорбленьем и кощунством пятнышко это вырастает, что злодейство лютое лютому злодею народ простит, а пятнышко на ризе – во веки веков не простит, и не забудет.

Равно как и в злодействе нетвердости и отступления не прощает...

Ты не замечал, дружок, как наш народ злодейству поклоняется?

Кто его герой любимый? – Царь опричный, палач беспощадный...

О ком песни народ поет? – О Кудеяре-разбойнике, О Стеньке Разине, душегубе... А за что Стеньку вот уже триста лет любят так?

Да за то, что княжну утопил, не дрогнул, а княгиня-то была тоненькая и нежная, как цветочек утренний, хрупкий и чистый.

Знаю я все это сам, сам прошел через икон ломанье, и цветок тонкий лазоревый грубыми руками мял.

Лексеич вздохнул, налил по полстакана, а малый остаток из бутылки разливать не стал, оставил.

– Моя бы родня плюнула, глядя как мы с тобою по капельке цедим. Я, когда бываю у них, не долью, бывало, стакан, так ругаются – ты в городе у себя, говорят, рюмками пей, а здесь уж по нашему, по-русски, полную наливай... А в этом ведь не главнейшее ли отличие нас, от земли оторвавшихся, от тех, кто с землею одно? Ведь водка что? – горечь, во рту ее не удержишь, как вино сладкое, и русский мужик пития как Действа не знает.

Я-то вино неспешно пью, как бы беседую с ним, я переход в состояние другое лелею и наблюдаю, и уже и не успеваю войти в него, сил для того душевных не достает... Мужик же видит в зелье мерзость, морщится, проглатывает разом, и когда хмель разлилась, входит в новую жизнь и в ней жить начинает. Мужуку новое Бытие

надо, нам же, интеллигентам, лишь *становление* его. Мужик не в Истории живет, и не Историю ценит, он как будто ждет завтра конца Света...

Вот он икону прилаживает, огурцы соленые прикрыть, ликом Богоматери книзу – уж пуще нет Богохульства! – а приди и скажи ему: "Всё, бросай все, Христос явился, второе пришествие началось, на Страшный Суд зовут!..." – Ну, Сла те, Господи, дождался! – воскликнет и побежит тут же.

А интеллигент, Храм строящий для встречи Спасителя, готовящий Пришествие Его, возопит:

– Да, как же так!? Да мы же еще не приготовили его! У нас же еще на тысячу лет работы!

Да и на кой нам Пришествие, нам Приготовлѐние к Пришествию надо, вот что!

Вот и я Приготовление, Предварение, пуще всего Предварение любил!

Водка розлита, но стаканы еще целы! – вот что мне дорого!

Лексеич взял стакан, посмотрел грустно, поболтал и на стол поставил. Помолчал, снова поднял стакан, чокнулся: – Ну, за Шелапутку давай, за глаза ее черные, за все ведьмовство ее!..

...Ну, ушел народ на кладбище, Анята кой-как прибрала на столе, платочек цыганский на голову набросила и пошла в сени. Я за ней вышел, но слова не нахожу. Пошли по улице, я рядом иду, а она два раза глянула на меня... и знаешь, будто в пропасть обрываюсь, но не падаю весь, а в тягучем обволакивающем взгляде пропадаю... и сердце обрывается тоже, мучительно, но такую сладкою мукой, что встал бы тут же на колени перед нею, и колени ее целовал, и плакал навзрыд от неместимого счастья.

– Так ты в Бóга веруешь? – спрашивает, с ударением на Бога.

– Нет, говорю, в Иисуса Христа...

– А в Марию Магдалину веруешь?

– И в Марию Магдалину верую...

– В раскаявшуюся, в ту, что Христа встретила, за Христом пошла?

– Да...

– А в нераскаянную поверить можешь? Вот я – Мария Магдалина! Я хочу, чтобы ты Христа бросил, и ко мне пришел, и в меня веровал, и на меня молился, и передо мною свечи зажег... Ты первую свечку в церкви перед кем поставил?..

Вот видишь, я знаю... Но то не я была. Я сама была в ослеплении, когда от себя отрекалась, а теперь вот хочу, чтобы ты Истинную меня увидел, и в мой Храм пришел. Пошли же со мной!

– Нет, не пойду я, – отвечаю, хоть и дрожит все во мне. – Мне в

храме Красота открылась, красота чистая и святая... А в Мире так некрасиво, так плоско, запустение и мерзость запустения...

В Храме человек поднимается выше себя, переживает жизнь и себя как начало высшей жизни и высшей красоты, а в мире он – бурные листья, которые завтра ветер разметет, и всё ... и только "ничего" ...

Анюта остановилась, и глаза широко открыла, и утопила во взгляде, как сознание во сне тонет.

– Я в храм и зову тебя! Ты не знаешь только, где и что Храм. Где я – там и Храм, а что Храмом зовется, но где меня нет – то и есть мерзость запустения.

Тут мы подошли к кладбищенской ограде, и Анюта свернула к нашей маленькой церковке, из которой сладко пахло ладаном и доносилось неясное пение.

Дядя Михаил пьяно тыкался от одной иконы к другой, и видно никак сообразить не мог, откуда же такая пропасть святых ликов, когда так неистово крушили их и жгли – и вот, не сокрушили все...

Церковь только полгода, как заново открылась, службы шли только по праздникам и воскресеньям, народ же больше приходил посмотреть, а не помолиться, ну, в крайности, покойника отпеть. Да, видно, многие теперь приходят в Храм только дважды в жизни – рождаясь на свет и уходя из него.

Мужики выказывали явное нетерпение – скорее бы уж забросать гроб землею, и под светлым солнышком, у зеленых берез продолжить свою привычную молитву, так удачно начатую по вине Лешки с Придорожной улицы.

Мне стало тоскливо и неуютно.

В городе я вовсе не соединялся с толпою верующих, а стоял как бы один под высокими сводами, слушая "Христос воскрес из мертвых...", всматриваясь пристально в лики святых на иконах, чувствуя Дух Святой, разлитый вокруг. Церковь и Христос были только для меня, и я был избранный и любимый ими.

Молча и безропотно вышел я вслед за Анютой, и уже не участвовал в общей радости, равнодушно ел сладкую кутью, дома, сославшись на усталость и головную боль. рано закончил разговоры, а спать отпросился в сенник.

Гулко билось сердце, и почти не дыша прислушивался я к звукам вокруг, ожидая, когда угмонится жизнь. Вот слышно стукнул тяжелый засов в сенях, перестала ворочаться корова в стойле, утихла собака. Тихонько слез я по лестнице, пошел огородом, мимо бани, на цыпочках подошел к роковому флигельку.

Было тихо и окошко не светилось. Только я стукнул робко в

дверь, как она отворилась сразу, и побледневшая Анята встала на пороге.

– Я тебя жду и окошко одеялом завесила. А ты, поди, думаешь, что я сплю давно?

Не в силах говорить, я молчал и смотрел пристально. Тяжелые темнорусые волосы ее были распущены, губы полные вздрагивали, верхняя пуговица на кофточке расстегнулась и приоткрывала крутой изгиб не стесняемой плотным полотном груди.

– Ты знаешь теперь, что Храм – тело мое? Ты видишь?

– Да...

Я ее взглядом целовал. Анята стояла босиком, ногти на пальцах ног покрывал темнорозовый лак, чуть полное тело дышало таким очарованием, как роша, залитая солнцем после дождя.

– Это и твой Храм тоже... Я ждала тебя, я твое восхищенье ждала... Я хочу, чтобы ты видел все...

Я шагнул ближе. Сердце замирало опять, как в падении в пропасть, радость казалась мучительной.

И вот пали покровы, отделяющие Дух от Плоти, и Совершенная Красота засияла передо мной.

– Так красивая я?

– Анята! Ты изумительна, слова тусклы перед тобой!

– И я чиста?

– Да... Ты чиста, как только красота чиста.

– Так распутница я или святая?

– Святая!

– А тело мое распутно или свято?

– Свято!

– Так чему ты теперь поклоняешься – плоти моей, которую я тебе открыла, или Духу Святому, который Христос возвестил? В кого ты теперь веруешь – в меня или в Него?

– В тебя, в одну тебя! Ты божественна, ты – чудо, ты больше святости!

– А ты еще знаешь не все, последнюю тайну я не открыла тебе. Ты думаешь, я святая, я не распутница, да?

– Да!

– Ты еще не вошел в храм мой, а когда войдешь, то узнаешь молитвы сладостней всех молитв, полюбишь распутство и прелести его, полюбишь наслаждение больше вечной жизни. Ты узнаешь меня не только мыслью и взглядом, но прикосновением и Плотью, и не отделишь Дух от Плоти. И будешь жрецом Храма моего.

И я прикоснулся к груди ее, целовал ее ноги, и розовые ногти, и гладил и ласкал ее, и она отворила мне двери Храма.

Мы были пьяными, мы смеялись и плакали вместе, и я называл ее *святой распутницей*.

Да, я узнал тогда, что не только распутство свято, но только распутство и свято!

... Ах, друг мой, и зачем так быстро пустеет бутылка?!

Митяй разделил остатки, но оставил в бутылке с наперсток и поболтал еще, чтобы услышать, как он сказал, живой звук.

– Знал ли ты, что с радости иногда хочется умереть еще пуще, чем с горя?

Каждую ночь, сидя у меня на коленях и целуя губы, Анюта повторяла, что скоро умрет.

– Нельзя жить и любить в одно время! – говорила она. – Ведь жить – значит вмещать в себя там много разного, смотреть на других, говорить с другими, делать тысячи ненужных вещей. Жить – значит быть в мире, а не в храме, а любить – значит все время видеть только меня, думать только обо мне, держать мою руку, ни на миг не отпуская.

Как хорошó, что я скоро умру!

Я буду любить за нас обоих, я только с любовью останусь, а ты останешься за обоих жить. А когда жизнь станет падать из рук, ты поезжай к бабе Шуре, она исцелит. А меня не забывай, люби женщин, целуй их нежно и все им прощай ради меня...

Митяй отвернулся и поднял руки над головою и как будто потянулся куда...

Но через минуту передо мной снова сидел человек беспечный, светлеющий, и с тем чувством легкости, которое бывает лишь у людей, уже не привязанных к жизни ни одной ниточкой, уже все оплативших, со всеми простившихся, но глядящих на мир не отрешенно, а изумленно-радостно, как бы вместивших мир в свое сердце так, что можно в любую минуту встать и уйти, не покидая мир, а унося его в себе вмещенным, и оставляя здесь лишь невмещенную оболочку мира.

– Ну, дружище! – радостно потер руки Дмитрий Алексеевич. – У меня ведь ключ от стюарки есть, а в шкапчике там, небось, что-то припрятано, не может быть, чтоб не припрятано! Да и тепло там, поспать можно, завтра воскресенье, никто мешать не будет. А я тебе про бабу Шуру расскажу, потому что раз новой жизни научить взялся, то должен тебе две вещи разъяснить... Должен я тебе разъяснить, дружище, что опалюсь огнем небесным, человек жить более не может жизнью земной, а становится не от мира сего, и даже оставаясь среди людей, остается один.

Но и другое, и выше этого разъяснить должен, что и опалюсь огнем небесным, человек возвращается в мир жить жизнью мира...

ибо, как пшеничное зерно, человек не живет, чтобы умереть, но умирает, чтобы жить...

Столярка оказалась недалеко. Проскрипел возмущенно ржавый замок, скрипнула дверь сердито, и обнял душу такой вкусный и радостный запах свежих досок, что плакать захотелось от счастья. И очень кстати нашлась в шкапчике помятая солдатская фляга с "тем, с чем надо", полбулки черствого хлеба, две луковицы, соль и кой-какая другая снедь, которою мы пренебрегли.

Дмитрий Алексеевич провел рукой по лицу, как бы снимая паутину, и стал совершенно недавним "человеком из-под забора".

Я тогда подумал, что он отличается от других полным отсутствием какого-либо усилия, он стал тем листом, который переворачивается и движется лишь по воле ветра, а не по своей.

– Ну, что же, хорошо начать – полдела сделать! А начали мы, я вижу, хорошо!

Удивительно, до чего легко и ладно, без усилия и как бы само собою все то делается, что делается наилучшим образом! Книги, например, писать трудно, потому, что пишутся плохие книги, а хорошую книгу писать как воду пить в жаркий день. Чем труднее, тем, значит, неправильнее. Да вот, даже драку возьми! Драться тяжело, когда тебя бьют, то есть когда драка неправильно течет... А если бьешь ты, а противник мажет, то это ведь танец, а не драка, и чем ближе к танцу, тем успешнее. Вот раз был случай такой: иду я проулочком, а навстречу мне трое. Подошли и, ни слова не говоря – в морду! Что же это, братцы, говорю, мне даже неловко за вас! Ну хоть бы обругали вначале, закурить попросили, сгрубил бы я вам, а Вы б обиделись – ну, и пару раз съездили, чтоб, значит, честь защитить. А то не пойму – не то грабители, не то хулиганы, и без всякого удовольствия...

Тут они мне опять!...

– Э, говорю, да мне уже скучно с вами, давайте-ка я домой пойду!

Не пускают. Я было побежал – догнали...

– Да ведь нечестно, говорю, втроем-то на одного!

– А нам, отвечают, наплевать, что нечестно, нам зато сподручнее.

– Да что же вы, спрашиваю, нехристи, что-ли?

Смотрю, злиться стали. И один ножик достал.

– Ну, говорю, ребята, теперь и я в азарт вошел, и мне сподручней будет! А буду я Вас считать заместо мухоморов, и дай-ко, Господи, проворности рукам моим мухоморов посокрушать!

Ну, да ладно, Бог с ними, а выпьем-ка мы за бабу Шуру!

Мы чокнулись, разгрызли луковицу, Лексеич примостился на верстаке, подложив руку под голову, и продолжил рассказ, означая его по частям.

## Часть 1

### ЗНАКОМСТВО

Через два с небольшим года, то маючись, то впадая как бы в бесчувствие, дошел, наконец, я до такой тоски лютой, что думал – хуже ее и нет ничего. Но оказалось, есть и хуже тоски. Но это уж позже оказалось.

А в начале осени написал я в районный город, в том районе, где баба Шура жила, что нельзя ли меня куда учителем взять, а что я де чуть университет не кончил, и хочу народу себя посвятить. Ну, до того написал хорошо и проникающе, что и отправлять жалко было, думал в рамку вставить и показывать за пятак. Однако, послал.

Видно, и на начальство подействовало, никак и прослезилось оно, а может и в рамку вставило.

Во всяком случае, скоро ответ пришел, что народ де мой порыв героический ценит, а дети уже ждут и любят, и как раз в "бабы Шуриной" деревне и ждут, потому как деревня была глухая и дальняя, от станции далеко было, а машины не ходили. Но зато летом по каналу можно было плыть. И вот по этому каналу учительница у них уплыла, а мне приплыть предлагали.

Ну, так складно все оказалось, будто уже заранее задумано и предусмотрено было.

А дальше еще складней.

Приехал я туда, где канал начинается, а там катер от берега отойти собирается.

– Не в мою ли деревню путь держите? – спрашиваю.

– Да, отвечают, и тебя только и ждем.

Я думал, шутят, а оно и вправду так. Меня там как Спасителя ждали. В шестом и седьмом классах некому было алгебру с геометрией разьяснять, а старая учительница, которая до пятого класса учила, уже в процентах запутывалась, а с "иксом" совсем совладать не могла. Методика, говорила, в этих классах другая. Я, говорит, со своими детьми по одной методике преподаю, а здесь другая методика нужна, а что же я буду с методики на методику скакать, возраст не тот!

– Ну что же, думаю, может оно и хорошо, что алгебра, а надо мне на время от размышлений отстать!

Ладно... Сел в катер. Поплыли. Вода за бортом заплескалась.

Господи! Да как же ты сразу в Рай меня впустил, я ведь свое не отстрадал еще!

Канал неширок, берега чистые, пышно заросшие и оживляемые

беспреданно лугами и полянами. У самой воды ольха, краснотал, вербы, чуть повыше кущи рябины, а на самом верху вьется тропиночка среди осин и берез. Пышный, но не спутанный до непроходимости кустарник, а словно роскошные расчесанные волосы женщины... вода – ее ясные очи, луга и холмы – покатые плечи, облака на голубом небе – высоко взметнувшиеся белые рукава гибких рук.

То мне чудились алые губы в усыпанных красными гроздьями рябиновых кустах, то журчанье и плеск воды о борта катера напоминали ворожбу слов, смеха и восклицаний в ночном разговоре.

Но – грустно мне стало, и я утишил воображение, и резче увиделись линии берега, сентябрьский ветер освежил лицо, деревья радостно и приветливо замахали ветвями.

Катер причалил у дощатого крутого спуска, вверху сельсовет, на деревянной доске – председатель.

– Нет, нет, дальше плывем, я бабу Шуру просил, думаю, можно у нее остановиться. Дом большой, живет одна, здоровье крепкое, самовар поставить сможет.

Он прыгнул в катер, торопливо со мной поздоровался, и через пять минут мы причалили уже у пологого спуска, где нас тоже – вот удивительно! – уже ждали.

У воды стояла строгая, даже суровая старуха в темном платке, с ясным красивым лицом, роста невысокого, прямая, костистая, в темной же длинной юбке и кирзовых сапогах.

– Не знаю я, что и сказать-то... У Никитихи никак повеселей моего будет, и корову она держит, сливочками может напоить, а я корову не держу...

– Да что ты, баба Шура, право!.. Ты ж молоко у невестки берешь, да там кому его пить, Любке одной? А вот Любка школу кончит, ей и замуж есть за кого идти! Тут не отнекиваться надо, а половики на порог стелить, да такого молодца упрашивать!

Ну, то-то, вот и договорились!

– Да когда же договорились-то? Мне вот только человека неудобно, вроде как не по нраву мне он... А ведь я для того отказываюсь, что того уходу у меня не будет за ним, как у той же Никитихи хотя б, али у Кривошеихи... Я уж хвораю, другой раз Любка и печь у меня топит.

– А я Вам, баба Шура, дров наколю. Я ведь из деревни родом, в городе учился только, и от деревенской жизни не отворотился. Я и самовар раздуть могу, и будем мы с Вами чай пить.

– Да Вы, может быть, кофей пить любите? Городские-то больше кофей пьют, я слышала?

– Ну, кофей, это в городе, а в деревне я самовар больше люблю, за самоваром люблю посидеть, а к чаю-то окромя сушек мягких мне больше ничего и не надо... – ну, разве, если варенье малиновое или клубничное, да творожники, да блины с маком, да оладушки, да пирожок с капустой али с морковкою, али дранички со сметаной иль на худой конец лепешки пресные с медом... – а боле мне ничего и не надо! И зовите меня, баба Шура, просто Митей и на "ты", а я и воду из колодца принести могу! – И я радостно и широко улыбнулся бабе Шуре; показалось мне, что строгость ее не от строгости, а от смущения. Часто и после я видел, что простые русские люди с возвышенной душой смущались моего университетского образования. Ну, нынче не то, нынче *мы* уже, те из нас, кто не развратился самомнением, сами смущаемся своего образования, чуть ли не стыдимся его – и поделом, потому что уронили его в поклонении пустому; да и среди простых-то людей душ возвышенных почти не осталось.

Ну, ладно.

Улыбнулся я, смотрю и баба Шура улыбается.

– Митей-то, говорит, мне тебя не сподручно звать, ты никак все ж учитель, большой человек. А по батюшке-то тебя как?

– Алексеевич...

– Ну, что же, Дмитрий Лексеич, живи у меня, милости просим, да не обессудь только, что у нас все по-простому, по крестьянскому, городской пищи я готовить не умею, а борщу наварю, да и пирог спеку, хоть с капустой, хоть с морковочкой, огород, слава Богу, у меня рóдит, да и грибы и ягоды есть, летом с Любкой-то не ленились рано вставать.

Вошел я в дом – большой, старинной постройки дом, как на Севере дома ставили на – века!

Внутри печь отделяет переднюю часть, сразу от порога прихожая, налево стол под окошечком, а направо за дощатой перегородкой – кухня, тоже с окном.

А за печью большая просторная горница в три окна, слева в ней стол большой обеденный, недалеко от стола образа в углу, справа вдоль печной стены лежанка – я на ней под тулупом лежать ой как полюбил после!

А от горницы еще отделена камора, с небольшим окошком, там кровать, тумбочка, стул венский, и по половику вдоль кровати четыре шага для прогулки.

Над кроватью ковер на клеенке послевоенной работы – сестрица Аленушка на камне сидит и о братце убивается.

– Вот тебе твоя комната, Дмитрий Лексеевич, чтоб тебе никто не мешал, а скушно будет – в горницу выходи.

Да уж к вечеру видно стало, что пришелся я хозяйке по душе, и в камору я только спать уходил, а то и на лежанке засыпал.

Вечером у нас самое знакомство, и дружба и любовь завязались.

А вечер такой особенный в первый же день случился по моему особенному везенью – тьфу, тьфу, не сглазить бы!

Мне вот как-то удивительно везло в жизни, будто добрый дух обо мне печется, и хотя в жизни я бессознательно двигаюсь, как впотьмах, не то что те, которым все ясно и все видно на тысячу лет вперед – но дух добрый впереди меня с колокольчиком плывет и возле колдобин колокольчиком позванивает, а если где упасть попустит, то так мягко, что впору там спать лечь. Вот, скажем, спрыгнул я от лихих людей с моста в речку – и только обрызгался слегка, – воды по колено, а ночь летняя, теплая...

Или как-то, едуци в поезде, влюбился без памяти. Тут же предложил ей и руку, и сердце, и порешили по приезде в Москву расписаться, а покамест в Перми побегал матушке телеграмму отбивать – поздравляй, женюсь! – ну, сначала в очереди долго стоял, а после телеграфистка сдачу медными деньгами считала, поезд-то и ушел! Вернулся я на телеграф, назад телеграмму требую.

– Да я уж ее отправила, – говорит.

А у меня и адреса невесты нет, и имени ее не спросил.

Ох, матушка моя долго вспоминала, смеялась.

Впрочем, о моем везеньи рассказывать – никакой выпивки не хватит, так что вернусь-ка я к бабе Шуре и первому субботнему вечеру.

Так вот случилось, что приехал я в деревню как раз в субботу; а может и намеренно так пригадал, чтоб сначала освоиться на новом месте, а с понедельника в школу пойти.

Субботний же вечер в деревне – как будто пред Пасхой; часов с трех закурятся дымки – затапливаются печи, замешивается тесто для пресных лепешек или пирогов, торопливо носится холодная вода от колодцев в избу и к бане, задается корм скотине... и в пять часов наступает блаженная минута, когда собираются в баню.

Если баб да ребятишек в семье мало, то моются они вперед мужиков, а много – так либо в пятницу, и тогда баня топится дважды, либо после мужиков, пока они устраиваются за столом, отходят от пара, и разве первую стопку успевают пропустить.

Не обошла стороной блаженная минута и меня. Только я улегся в своей каморе на кровать, раздумывая, чем заняться и куда пойти – за околицу ли выйти, проведать ближний лес, или пойти в сельский клуб, знакомиться с книгами и их пастушками – как стукнула дверь входная и раздался зычный голос:

– Куда учителя прячешь, тетя Шур? Баня поспела... А с нами и Семен еще попариться хочет, да с умным человеком познакомиться.

Говорит, в детстве голиком по одному месту учили, ничему не научили, а как стал березовыми листочками нежно спинку охаживать, так все академии превзошел. Говорит, ежели березовую проповедь учитель выдержит трижды, то значит его наука крепка, и он к нему в ученики пойдет, а нет, так сам готов кой-чему учителя поучить.

Я вышел с готовностью. Да, кажется, единственное, что я в жизни точно умел, это с готовностью отзываться на всякое доброе и на всякое искреннее движение.

Баня была совсем рядом, и строилась когда-то на две большие семьи, а теперь от одной осталась только баба Шура, а другая состояла из Николая с женой и дочкой Любой, которой шел пятнадцатый год.

Да, брат, баня была и славная! Ей бы надо отдельную поэму посвятить. В бане, можно сказать, душа русского народа раскрывается, "Руси есть веселие в баню ходити" больше, или, лучше сказать в первую очередь, чем водку пить, после бани русским духом проникнешься глубже, чем при чтении Бердяева или Хомякова.

Мужик русский – трезвый, голый, с веником в руках, уважительный и в бороде – подлинно русский мужик.

Как и баба русская подлиннее всего, когда смотрит с тихой радостью, как утоляет голод свой мужик – будущий ли мужик, младенец ее, кормящийся грудью, муж ли над тарелкой со щами, или просто сторонний человек, которого она от любви или от жалости привечает. Эх, если бы и на утоление жажды, душу палящей, баба наша со смиренным смотрела, воистину была бы она святой!

А давай-ка, дружище, мы за баб русских выпьем! В бане они тоже, надо сказать, толк понимают, я с ними парился однажды – да, вот, представь себе!

Лексеич проворно соскочил с верстака, взвесил флягу, отлил с палец в каждый стакан.

– И нам срамно не показалось... да и не в одежде суть, которой мы плоть пеленаем, а в тех пеленах, что душу запеленали; и до того плотно, и в столько рядов, что перед какой баней пелена эти распеленываются, понять и теперь не могу...

Я, брат, баб люблю... Но лучше я на них сбиваться не буду, этот хмель похмельней вина.

Он вернулся на верстак, лег на бок, опершись щекой на руку, и продолжал.

– Вошли мы в баню. В предбаннике разделись, и со страхом открыл я низенькую дверь, обитую войлоком.

Семен поддавал квасом и крутил венником над головой – разгонял жар; проворно пожав мне руку, спросил:

– Как париться будем? Всерьез?

– Ты мне, Сеня, смотри – не очень!.. Детей без учителя не оставь! – проворчал Николай.

Влезли на полок. Мне пришлось сдаться на милость мастера.

– Как учитель, я слышал, в арифметике силен, так мы с нее и начнем. Вначале у нас пойдет *сложение*. Тело-то без баньки раздрябло, завихляло, пазы разошлись, а мы пока смажем да укрепим, маленечко гаечки подкрутим, иначе полного пару не выдержит... Вот так... и еще... легонечко... хорошо!

Тело мое томилось, как томится молоко в печи, и зарумянившись словно, почувствовал я себя собранным, напряженным, полным энергии.

Окатившись теплою водою, полезли проходить *вычитание*. Венчик скользил нежно, почти не прикасаясь к коже, и тело стало таять; вычлась грудь, спина, ноги, вдруг на мгновение вернулось все на место, и вычитание повторилось иначе, оставляя по очереди какую-либо одну часть тела и стирая, как мел с доски, все остальное...

Окатали водой прохладной и начали *умножать*. Умножение шло в два веника, один скакал мелким бесом, дробно и часто, другой налетал свирепым татаринном.

Отливали водой колодезной и дали отдохнуть в предбаннике.

На *деление* я пополз с ужасом. Двумя вениками вооружился Николай, с двумя навис надо мною Семен. Казались они мне двумя циклопами, двумя шаманами, а черный потолок над головою прокоптившимся сводом пещеры...

– Косточки-то, косточки перебирай, воспарить должно! – заклинал Семен... и каждая выскочила из гнездышка своего, в ступе потолкли и в гнездышко уложили.

В предбанник меня вынесли бездыханным, положили на скамейку и простышкой накрыли.

Однако, ожил я скоро. И даже столько духу набрался, что с нижнего полочка смотрел как Семен входит *в штопор* и... – но это уж и описать не берусь!

Ах, а после бани еще блаженнее!

Стол уже накрыт, и пока мы в себя приходили, да по кружечке квасу выпили, женщины успели помыться, и пришли посветлевшие, улыбочивые. Тут я и с Любкой познакомился, а как стаканы налили, как-то застеснялся ее.

– Как же, говорю, я пить буду, а послезавтра Любе *добро* и *зло* разьяснять начну?

– Не в вине грех, Лексеич, а в пьянстве. Коли в пьющем греха нет, то в вине тем паче. Иисус пил, и нам осытил. Да пьяными быть я и не допущу вам, у меня одна бутылочка на стол всего и поставлена.

А добру и злу, чай, не детей учить, а у детей учиться, ты уж, поди, Лексеич, немало в жизни грешил, сознайся?

– Каюсь, баба Шура, не без того...

– Вот то-то! Но да грехи разные бывают, одни перед людьми, другие перед Богом...

А за знакомство и я с вами маленечко отхлебну.

Мы выпили, закусили рыжиками.

Ах, это тоже для поэмы! Опущу я, друг мой, рассказ про субботний вечер, про рыжики, и про другие вечера такие же. Много было всего и сладостного и радостного, может быть в тот год я прожил больше, чем за всю жизнь остальную.

Давай-ка мы под луковицу выпьем еще, а я рассказ продолжу уже с другой темы.

Мы выпили, разгрызли вторую луковицу, и Лексеич вернулся на верстак.

## Часть 2

### С Н Ы

А мне было тогда двадцать два года! И то, что мне нужно было понять, я не пытался, да и не умел понимать одним размышлением, а переживал всей личностью своею; жизнь не текла отдельно от "проклятых" вопросов, мучивших меня, но была плотью их.

Ничто не случилось просто так. Скрип половицы спрашивал – зачем? Стук ставни требовал объяснения, и даже сны являлись мне не для отдыха или забавы, но были продолжением упорных споров, которые велись в моем сердце днем.

О, в том-то и дело, что споры мои велись в моем сердце, и спорили не грамматические построения, не всевозможные словесные сочетания, выдумываемые бескровными книжными червями, а споры велись токами моей крови, биениями моего сердца, всхлипыванием боли моей пробуждающейся души.

Кто, как стрелок из лука, упорно глядит в одну цель, не поймет меня. Кто слишком усердно идет по избранной дороге, не поймет меня – ибо никакую дорогу не предпочел я другим, но о каждой с тоскою спрашивал свое сердце – да идти ли по ней?

Стремиться ли к богатству, власти и славе? Совершенствовать ли тело, обуздывать волю, копить ли знание, обменивая живые дни загадочной шалуньи-жизни на тусклое золото приобретений?

Да и в знании увидел я, наконец, груз, который мешает идущему и погрывает его под тяжестью своею, так что много познавший уже не в силах снести эту тяжесть.

Я был воспитан схоластически. Бесчисленные ночи провел я в тесном кругу таких же сумасшедших философов, отгачивая и изощряя свою логику и скрещивая ее с логикой противников, в логике находил утверждения, в логике же искал и доказательства их. И кто знает, как далеко я прошел бы по этому пути, ибо уже брезжила перед моим мысленным взором некая система, и уже затвердевать начинала.

Юра бил в нее Гегелем – не разбил. Валера целую свору позитивистов напустил – устояла. Но – Танька подолом махнула, система упала и разбилась. Да, девки и вино меня погубили, но они же меня и спасли.

Но к бабе Шуре прибыл я еще далеким от спасения, к христианству уже охладел, а может озлился, что Танькин подол в такой немилости у Бога, позитивисты же меня совсем в бешенство привели, я как увидел их премудрую механику, все эти змеевики, капилляры, органически-химический процесс, естественно совершающийся и естественно вино в воду превращающий, еще пище осатанел.

Господи, Сила Твоя! Да что же это за всемирный самогонный аппарат такой! Ни грешников, ни праведников нет... кислое и соленое, холодное и горячее есть, а ненависти и любви – нет! Да что мне до вашего познания и заблуждения, да зачем мне знать, кто самую первую амёбу породил, когда ведь даже узнав это, я головой об стену биться буду?!

Плюнул я на первые десять позитивистских заповедей, плюнул и на последние позитивистские выводы.

Тошно мне стало.

Положил под подушку бородатого пророка, лег спать.

И снятся мне дивные сны.

Нашел я будто Истину. Такая она... ничего себе... И не горяча очень, и не холодна, и так на ощупь приятна. Огляделся, нет никого, за пазуху, и наутек! Ну, думаю, облагодетельствую!

И Таньку снова вспомнил. Ну, думаю, как войду, как шваркну Истину пред ее невинные очи!... Так, иду... Смотрю, ворота, и привратник.

– Что несешь? – говорит...

– Да так, пустая вещь, Истина...

– Ну, вижу, что пустая. Стоящее уже разобрали, ты последнее то и схватил, чего не брал никто. А уж чего и не было там?!

Зарегистрировать надо, в журнал записать. Какая она?

– Тепленькая, говорю, дяденька. Невидная на вид.  
– Не об том, дурак, спрашиваю. Чему Вас только в университете учили?... Истины какие бывают? – абсолютные или относительные. Так у тебя какая?

– Относительная, наверное, дяденька. Абсолютных ведь Истин не бывает!

– А дважды два сколько?

– Четыре...

– Ишь ты! Примерно али точно?

– Точно.

– Абсолютно, значит?

– Выходит, абсолютно...

– Ну, то-то же! Проходи!...

Вышел я, разворачиваю свою тепленькую, смотрю, написано: "Дважды два – четыре! Можно разбавлять..."

С тем и проснулся.

Вечером играем мы в подкидного: я, баба Шура, Любаша. Навел я разговор на сны – а это вообще наша тема любимая была, но до того мне философские сны не снились.

К чему, спрашиваю, и что бы это значило?

Философию Любка объяснять стала; правильно, понятно все объяснила, и ждем теперь от бабы Шуры ответа.

Посмотрела она на меня строго и говорит:

– Прихожу я вчера к Тоне, а она мне жалуется. У Любки, говорит, все пятерки по математике.

Так разве плохо? – говорю.

– Да откуда же, говорит, пятеркам быть, когда она в эту математику и не заглядывает? Математик твой им сочинение задал: за что я люблю математику? Посмотрела я в тетрадку к ней, а там всего одно слово написано: Тайна. А ночью не спит, книжку читает толстую, Антию какую-то. Что это, Вам в школе задавали, что-ли, спрашиваю? "В школе, говорит, не задавали, но книжка научная, в библиотеке брала. Библиотекарка сказала, что ее еще никто не читал, я первая буду."

Ну, так, Лексеич, это какая ж Истина будет, абсолютная али относительная?

Тут я покраснел даже, а Любка бойко отвечает:

– А это Дмитрий Алексеичу знать не положено, а то скоро состарится.

Баба Шура засмеялась и продолжает:

– У нас до войны батюшка в селе жил. Церковь-то сломали, так не служил он в церкви, но да все ж таки кому за поминанье помолится, кому детей окрестит, тем и жил.

А поговорить любил – и из божественного, и из мирского – страсть! И к каждому слову у него присловье находилось. Многое и я от него запомнила.

Вот раз у одного колдуна три сына было. Выросли они, призвал их колдун-отец и спрашивает, кто чего пожелает. Старший сын пожелал богатым стать и чтоб не было никого во всем мире богаче его. Средний сын пожелал всю мудрость узнать, которая в мире есть, и на небе, и на земле...

А младший мнется, стоит...

– Ну, что же молчишь ты, говори, чего хочешь? – отец приказывает.

– Да, батюшка, боюсь братьев своих обидеть.

Старшие засмеялись, в бок младшенького толкают – он у них заместо дурачка считался – "не бойся, говорят, говори, нас уж ты ничем не обидишь!"

– Хочу же я, батюшка, – младший отвечает, – того, что ни богатством, ни мудростью не дается, а чему и мудрость, и богатство до скончания веков завидовать будут.

Вот, Дмитрий Алексеевич, растолкованье сна твоего, что означает он. А что он предвещает, сказать боюсь.

Очень мне понравилось растолкованье дивное, и дня через три я новый сон увидел.

Тут уже, вижу, что стою я в Любкином классе и задачу решаю, а задача не задача, а басня какая-то, будто незрячий глухого спрашивает, а тот ему на пальцах ответ объясняет. Понятно, спрашиваю, ребята, что если будете прилежно учиться, то и прозреете? – и раздаю всем таблицу умножения и велю до воскресенья выучить, а в воскресенье де я спрошу.

Проснулся и вижу, что сон, как будто, толковать уже и нечего, сам в себе растолковался, однако как вечером за дурака сели, я его рассказал.

Баба Шура задумалась и даже семерку шестеркой побила.

– Конечно, тут первое знаменье ясное, говорит, сначала научись слушать, а потом уж учить берись.

Это, Лексеич, я не об одной науке разумею, науке ты научен достаточно, ребята тобой не нахвалятся.

Да только наука-то глаза не открывает, и через нее машину построить можно, а человеческую жизнь – нельзя.

Вот покойный батюшка, священник наш, говорил:

"Фарисеи, говорил, и книжники прельщали народ знанием и учили ум человеческий, а Иисус учил сердца, и у кого прежде сердца ум станет и возгордится, тот свет не узрит! Коли бы к Правде через

ум придти можно было, ни в чем греха не было бы, и кто больше учен, тот к Богу и был бы ближе.

Да не зря сказано: от премудрых утаил, а слабым да неразумным открыл Тайну свою.

Вот матушка моя, царство ей небесное, грамоте вовсе не знала, и даже деньги считать не умела, а во всякий день как в светлую Пасху светилася – знать, не во тьме жила! А нынешние, и из неверситетов тоже, не прими за обиду, Лексеич, когда за ягодами-грибами придут, так видно, что до того усохли за наукой своей, слова по человечьи молвить не могут, так возгордились над твореньем божьим, что никакой красоты-то ни в чем не видят, и былиночки возле них вянут. Своего-то света коль нет в душе, так заемный свет не осветит, из книжек его не собираешь, а как бы и малый, что есть, не поблек.

Вот это второе знаменье будет.

А есть и третье... Дай-ко я тебе чайку подолью.

Всем ли ты правила рóздал, Лексеич?

– Ученикам-то всем, баб-Шур, но себе не достало.

– И еще батюшка наш говорил, что люди натрое разделились. Одни Слово вовсе отвергли и беспутно живут. Другие держатся за него, как пьяный за стену, да далеко ль уйдут-то, коль не прозреют?

А малая горстка Молчанье его слушают, и не по Слову, а по Духу живут.

Вот и Анюта моя, бывало, Евангелие откроет, почитает, а потом как начнет кулаком по нему стучать!

– Антихристы, кричит, врете вы, не такой Христос!

Да и я – в Бога вот верую, а из божественного немного люблю. Раньше Никитиха спорить приходила, еще Анютка с нами жила – а об чем со мной спорить?

Меня сотворил Господь, говорю? Господь! Он мне Душу живую дал, и все что вместить в нее мог – вместил. А учением моим дал мне жизнь трудную, и вот от Аз, как родилась, Премудрость Его, и Глагол, и Добро, не по книге я узнавала, а по тернию да по лазоревым лугам.

Так кому же я прежде верить должна – Душе моей, которую сам Господь сотворил, либо словам учеников Его, которые от Него же и отрекались?

Вот еще шелапутная растет, Антию читать вздумала. Ты ей ставь двойки, Лексеич, не то она на шею сядет!

– Я ему поставлю! Пусть попробует! Всем тогда в классе расскажу, что библиотекарку милой называл...

– Да как же милой?! Я сказал просто: милая Катя, мне очень жаль...

– А-а... Ну, тогда ладно, давай помиримся, я к завтраму все задачки решу, честное слово!

Следующий сон я увидел через неделю.

Да много и других снов было, да не про все рассказываю.

Будто праздник. И как в детстве в деревне, будто день пасхальный, и народ праздничный и счастливый такой, а мы, ребятишки, в битки играем.

И вот будто к бабушке своей прибегаю, а она пол домывает. Народ же, говорю, в церковь пошел молиться, а ты работаешь, а сама говорила, что грех в праздник работать.

– Не, отвечает, то я не работаю, а свечку Богу ставлю.

Баба Шура засмеялась на сон мой и говорит:

– Тетрадки-то все проверил?

– Все.

– Зови-ка Любашку самовар ставить, то наша свечечка и будет, а за чаем я тебе все как из книги прочитаю.

Нащипал я лучины (вот любил тоже лучину щипать), Любка старый сапог на трубу приладила, баба Шура пирог в печь поставила и тоже к нам села. Я свой сон повторил, для Любки.

Баба Шура руки на колени положила, сидит на стуле прямая, платок на голове повязан и уголки торчат.

И без хлопот ее как-то непривычно видеть – если не работает, то чай наливает, сахарку ли Любке подкладывает, да и невесть что – но все что-то делает, заботится.

– Тоже я тебе притчей объясню.

Один бедный мужик имел семью большую, всех обувь-одеть, накормить надо, и работал он с утра до вечера, и в будни, и в праздники.

И вот помер, и на суд Господень приводят, а там апостолы сидят, на счетах считают.

В Храм Божий не ходил ни разу, говорят – раз.

Богу не молился, в праздники работал – два.

Бывало, напивался, на Бога пенял, а то и богохульствовал – три.

Пьяным жену бил да детей гонял – четыре.

А тут богатого тоже приводят, а он и жену не бил, и в церковь кажин день ходил, ну, словом, хоть сейчас в рай.

– Погодите! – Господь говорит, – бедный то трудился за четверых во славу мою, ужель не зачтете?!

– Господи! – апостолы возражают, – да ведь вол-то еще больше трудится, и ночью ему покою нет, но вола-то мы в рай не берем!

– Нет, не так Вы судите! – вздохнул Господь. – Не по видимому

надо судить, а по невидимому. Вот бедный-то мужик сядет хлеб есть: Господи, благослови! – говорит, а после крошки соберет да перекрестится.

Так, когда он хлеб черный ест, то не одну плоть насыщает, а и молитву творит, и всякий день через хлеб причащается Плоти Моей.

И молитва эта чиста; а который раз богохульствует, то прошая богохульство за трудность жизни его.

А другой и в церкви молитву шепчет, да то богохульство, а не молитва.

Ну, а ежели выпьет с горя – так Духу моего причащается! А и что же Я радостей ему посылал мало?

Деток же гонять, конечно, грех! Да Сам я, Моя сила и воля, грешник, коли так, ибо сколько Я расточаю деток моих, и правых и виноватых, не счесть!

Простим же и ему, Моих грехов ради!

– Так храмы-то для кого же поставлены, Господи? – возопили апостолы, – если и без молитвы, и без слова Божьего, во Храме ежечасно возглашаемого, в рай принимаешь?

– Храм мой – весь мир мой светлый, зримый очми светлыми, а слово Моё – всякой лепет былинки всякой, слышимый для всех, кто ухо слышать приклонит.

Храмы же и монастыри поставлены для Спасения, когда в мирской жизни – не Мое соизволение, а соблазн. Но пуще грех, коли и в храме – соблазн! Вот так-то!

### Часть 3

#### Л Ю Б К А

Как-то в воскресенье пошел я к Любке пластинки слушать, а родители ее тоже в гости ушли. В другие дни, бывало, ребятишек много собиралось, а в этот раз мы вдвоем сидели, за столом друг против друга. Голову на ладонки оперла и стала смотреть в меня. А глаза синие-синие, и кажется одни глаза на всем лице, и ничего боле. И я смотрю на нее, не отрываюсь, на душе ясно, светло, рассказываю что-то светлое и улыбаюсь радостно.

– Дмитрий Алексеевич, а сколько тебе лет?

– Двадцать два, говорю.

Взяла она ладонку, стала пальчики откладывать, и губами шепчет. Пять пальчиков отложила, за другую руку взялась и вздохнула.

Посмотрел я на пальчики внимательно, покраснела, снова голову на ладонки положила и в меня всмотрелась.

А я в нее смотрю и замолчали оба.

И вот, друг мой, сияют глаза ее, сердце чуть слышно бьется, и что-то выше и любви и блаженства, одно бесконечное сияние разлилось вокруг и обняло нас, ни пространства, ни времени нет, и ничего нет во всем мире. Восторг, благодарность, обожание, жертва соединились в огонь чудный, и Душа ее открыла все глубины свои, всей небесною ясностью прильнула ко мне.

Не знаю, сколько так сидели мы, но вот будто опомнился я, встал, и страшно стало, на Любку взглянуть боюсь, сказать что, не знаю, и кажется, что теперь не то что слово сказать, а и жить дальше незачем.

Вышел я на улицу как был не одетый, в метель, ветром меня ударило, дыхание захватило, и снег за шиворот сыплется.

Постоял я немного, Любка выходит, лицо встревоженное, глаза смотрят тоже со страхом и вопрошающе, и будто спрашивают, как дальше быть.

И тут понял я, узнал, как быть дальше – а не знать ничего! – и как всегда было, так и дальше быть должно.

Подаю ей руку, говорю:

– Потрогай мои пальцы, как замерзли мигом!

Взяла она за руку и не сразу отпустила.

– Давай в снежки сыграем, говорю.

– В метель-то?

– Угу. Я снегу за шиворот тебе насыплю, а потом чай пойдем пить к бабе Шуре. Вот только ты мне скажи, что я попрошу, когда снегу насыплю.

– Ну?

– Скажешь – противный какой ты, Дмитрий Алексеевич, задавака!

Тут засмеялись мы оба, и стало нам хорошо, как прежде, и так до самой весны было.

А весной, еще только таять начинало, вечерами звезды усыпят небо, не хочется и с улицы уходить!

Любка у нас поздно засиделась и вышел я проводить ее. Остановились на небо взглянуть, головы запрокинули, красота непостижимая, стоим не дышим, и за руки взялись, а потом друг на друга посмотрели, а руки отнять сил нет.

И так с тех пор, что бы ни делали, чашку ли ей подаю, мел ли в классе, у рук уж своя особая жизнь, самое мимолетное прикосновение для них – уже поцелуй. Но виду другим не показываем, да и сами себе тоже.

Не знаю, как год закончить, а знаю – бежать, бежать надо на край света.

Так май наступил, в деревне гульба, песни, на улице гармошка заливается, а мною что-то завладевать стало.

Было у меня на канале место одно заветное, маленькая полянка и два камешка, над берегом, от деревни далеко, и туда не ходил никто. Сажу на одном камешке, а другой пустой, и не то Анюту вижу в мыслях на нем, не то Любку.

И в этот раз задумался так, на канал смотрю, грустно что-то, и вдруг Любка подходит и на камешек садится. А возле нее грусть моя улетала, а тут уж обрадовался и вовсе без памяти, и она в ответ засияла мне.

– Знаешь что, Дмитрий Алексеевич, говорит, давай в такую игру играть: один говорит что-нибудь про себя, а другой ему вслух отвечает...

– Давай!

– Ну, я первая...

Смотрит на меня счастливая-пресчастливая и шепчет сосредоточенно – я так понял, что спрашивает: хорошо ли, мол, что я пришла?

– Очень хорошо, отвечаю, я рад очень.

– Вот здóрово! Точно! Я и спросила, хорошо ли, что пришла? Ну, еще...

Снова смотрит, покраснела чуть-чуть, губки слегка вздрогнули, а головка ко мне все ближе и ближе, и глаза закрыла... и я глаза закрыл, и так тихонько, будто к спящей, почти безосознательно, к губкам ее ласковым прикоснулся...

Скоро после того уехал я. Снова на полянку пришли, сели на камешки... пальчики ее целовал бесконечно, и в вечной любви клялся... и думали мы, что только на время расстанемся...

Но да временное вечным оказалось, а вечное временным.

Дмитрий Алексеевич взял флягу, вздохнул...

– Ладно, остатнее выпьем, как я рассказ свой закончу.

А теперь вернемся-ка мы к бабе Шуре.

#### Часть 4

#### СОБАКА

(рассказ бабы Шуры)

Была у нас собака. Мужик мой сроду крестьянином был, да и вся порода наша окромя крестьянства других промыслов не знала – ну, умения-то все крестьянские при нас были, и ткать, и вышивать, и плотничать, и по дому что надо смастерить, конечно все это было, но как другие только ремеслом живут – бондарь там, скорняк, и гончар, и лудильщик – так мы землей жили, и дед мой пахал, и отец, да и мне пахать пришлось, как мужиков в войну побрали.

А охота у нас так только, для баловства была, промышлять никто

не промышлял, и в нашей деревне не заведено было. А после войны болеть мужик мой стал, а как операцию сделали, так вовсе тяжелую работу нельзя ему стало, и стал он с ружьем бродить.

Сначала у нас от охотников собака была, из соседней деревни, уже большую взяли, а другую с малолетства, щенка хворого зять из города привез, а вырос такой пес ладный да красивый, а умный был, поумней человека иного.

Но и то сказать, тут с человеком, конечно, равнять нельзя, у собаки свой ум, она по-своему понимает, и если человечье не все дано ей, то и нам у нее многому поучиться надобно.

Так вот и жили мы втроем, Анютка уж после поселилась у меня.

Любила я разговаривать с ним, с Анчаром этим, про старшенького ему все рассказываю, какой он был, что все мне завидовали – и красивый, и добрый, и на гармошке играл, все девки даже из дальних деревень сохли по нему – а похоронки на него не было, без вести пропал, и вот все думаю, а может живой где, и объявится когда?

Поговорю это я с Анчаром, у него ровно слеза соберется, и жалобно заскулит так.

Старик мой ночью на лежанке повернется – Анчар в кухне голос дает, вроде так: кхе, кхе, я, мол, на чеку.

Ну, вот, а как беде случиться, Анчар еще за неделю поскуливать начал, и глаза смотрят грустно.

Старик же мой в эту пору не хворал, ходил легко как молодой, и стал собираться на охоту.

Бывало, Анчар от радости прыгает, а тут сам не свой, под лавку забился и дрожит.

Не пойдем, что с собакой, никак заболела...

Ну, ушли в лес, Анчар сзади идет, понуро; и у меня уже сердце болеть стало, может не пойдешь в лес, Данила, говорю?

– Ну, дак коль собрался, не поворачивать же назад...

И ушли.

А под вечер слышу, Анчар воеет, и Никита бежит, беда, кричит, стряслась, дядя Данила помер... У меня и подошник из рук упал и покотился. Тащил он его, Данилу, пока из сил не выбился, зубами за ворот ухватился и тащил, а после в деревню прибежал.

Похоронили мы Данилу, ушли все с кладбища, Анчар не пошел. Пробовали и силой увести, так шерсть вздыбилась, глаза горят, рычит – не подходи, мол, худо будет. Так и отступились.

И ночь каждую воеет, и жалобно так, будто над дитем своим убивается. Поесть принесла – ни к чему не притрагивается, и близко к себе не пускает.

Начну уговаривать, ласково так, Анчар, Анчарик мой! – зубами скрипит, будто просит душу не растравлять.

На шестой день Никита ко мне приходит – иди, тетя-Шур, наш Анчар кончается.

Пошла я. Лежит, глаза закрыты, как спит. Только позвала я его – открыл он глаза, посмотрел на меня жалобно, прощай, мол, – вроде и ждал меня проститься – и отошел.

А после того, как в городе была, сходила в церковь. Написала на поминанье, на бумажке – подаю батюшке – много имен-то, одних сынов трое.

– Что это, матушка, спрашивает, имя какое-то непривычное, как татарина будто поминаешь?

– Нет, батюшка, отвечаю, не татарин это, а Божья душа одна. Ты уж молись, не сомневайся.

И помянул он вместе и с детьми моими... Да Господь не прогневается на меня за это...

## Часть 5 ЛЮБОВЬ

– Ну, что, дружок, ты не заснул еще? – вскричал Алексеич. – Я, брат, люблю поговорить, как всякий человек русский, тем паче за чарочкой, да и сам послушать люблю, хоть и не всякого слушаю.

В народе русском мне два разряда людей особенно дороги – несчастненькие и тронутые – и тех и других Господь коснулся.

С немцем говорить с умным надо, он через ум и Бога достигает, а русского ум портит, у нас и в сказках дурачок впереди, и неспроста это.

Тут вот что понять надо: у нас и разумники, и умельцы не хуже чем в иных странах есть, но по большей части народ наш как бы в полсилы живет, будто эта жизнь не взаправдашняя, а так только... в ожиданьи чего-то, что ли...

Хотя, если правду сказать, сокрушает мужик наш в полную силу, и добро бы чужое, а то свое!

И вот интересно что – у немца, например, чем человек выдается больше, тем и в обществе выше поднимается, и в каждом слое оказывается среди равных себе, хотя бы по уму он был гений – характером он как и другие.

У русских же и в высшем слое выдающийся человек одинок, да там-то скорее всего одинок, а чаще всего все выдающееся выпадает как бы на дно общественной жизни.

Однако, кажется, корень русской души все ж таки и не в блаженных, и не в несчастненьких, и не в лишних людях, среди которых талантов больше, чем во всем остальном иноземном мире, но как-нибудь определенно отграничить корневой этот тип я не могу. Яснее и полнее всего проявляется он в русской женщине, и

поразительные бывают среди них и по уму. Но все-таки не ум – та сила, которая делает их особенными, и судьба их вовсе не умом определяется.

Долго пытался я понять отношение народной жизни к культуре; верно ли, нет ли, но думаю теперь, что это две параллельные силы, и культура не стоит над народным пониманием, и не продолжает его, а в лучших своих проявлениях как бы переводит в другую форму то, что народом создается непосредственно.

Народ же, к счастью, или вовсе не усвоил интеллигентскую культуру, или усвоил ее поверхностно; и к счастью это именно потому, что культура ниже судьбы, куда-то ведущей народ русский, вне ее и не промышляла о ней, и ниже способности непосредственного понимания Бога и жизни, которая в народе нашем разлита, хотя и не всегда проявляется.

Так как в то время в большей степени меня занимало книжное отношение к жизни, то в разговорах с бабой Шурой я волей-неволей касался литературных героев, особенно Толстого и Достоевского.

Достоевского, конечно, баба Шура не только не читала, а даже не слыхала про него, в Толстом же знала одну Анну Каренину и любила ее – да, пожалуй, в народе из литературных типов она наиболее известная и любимая. Любопытно мне было узнать мнение о Настасье Филипповне и князе Мышкине, и начал я пересказывать бабе Шуре историю их драматического притяжения и отталкивания.

Рогожина она поняла сразу, о Настасье Филипповне выспрашивала долго, в подлинность ее поверила и захотела понять и характер, и отчего складывалось в ее жизни не ладно все.

– Оно есть и такие, из молодых женщин, которые в парне любят дите малое.

А было б у нее свое дите, князь этот и не надобен был бы, она его речи поди и не слушала, ей его пожалеть надо было, жалостью и любила. Коли бы и он ее полюбил, все и ладно было бы. Но сильно он мне не по нраву, и на Христа-то нисколечки не похож, да и веры в него нет...

Не настоящий он, и выдумал себя, а другие-то хоть и настоящие, но Христов образ забыли, вот и схватились за князя.

Он, видно, и сам несчастенький, коли вместо жизни игру выдумал, да вот Настасью Филипповну он погубил, и уж это знать должен был.

А вот я тебе тоже притчу расскажу.

Любили двое одну девушку, ухаживали за ней, а она с обоими ласковая, и попляшет, и песни споет.

Ну, один и говорит другому: Ты, говорит, женись на ней, с тобой она счастливая будет, а я в солдаты пойду, не то убьют меня на войне, не то – так в походах забуду.

И как сказал, так и сделал.

А по времени померли все, и тоже судить на небе их стали, который праведный из них. Солдата-то на войне убило, девушка от тоски умерла, а друг евоный с горя по ней.

Ну, вот, спрашивают солдата, зачем невесту-то другу уступил?

– А, говорит, гордость побороть не мог, что не выбрала меня сразу, а сомневалась все.

– А ты-то, другого спрашивают, почему друга своего от солдат не отговорил?

– Любил я ее, сильно любил, отвечает, и за любовь и друга не жалко было.

Спросили и девушку, почему не показала, который ей мил больше.

– А хотела узнать, кто любит больше.

И судили-рядили их, и вышло так, что нет праведных из них.

Но да кто из нас знает, что праведно, а что неправедно?

Сейчас вот больше любовью живут, уже и дети малые про любовь понимают, а в ранешнее время мало в расчет ее брали. Родители и добра детям желали, а все девок замуж без любви выдавали, а то и парней женили супротив воли.

Меня вот тоже замуж выдали, не спросили, шестнадцать лет мне только минуло, я еще в куклы играть не бросила, хотя уже работала наравне со взрослыми.

А с подружками соберемся, бывало, и куклы из тряпок наряжаем.

Но девка я уже видная была, и парни на меня засматривались, да мне по сердцу не было никого.

Ну, а потом, как дети пошли, так про любовь и забыла я. А уж после Германской, уже не первой молодости я была, случилось со мной вот что.

Пошла я зачем-то в баню, уж поздней осенью было, открыла дверь, и вижу, сидит парень молодой, одежонка на нем – тряпье какое-то, а из себя красивый – ох, уж сильно красивый был! – но тощей и жалкой какой-то, совсем жалкой...

– Ты меня, хозяйюшка, не выдавай, говорит, а покорми, да хоть что-нибудь посугревистой одеть дай, что в доме не надобно.

А на ту пору мужиков наших из деревни на лесозаготовки забрали, и Данилу моего, я с ребятами одна осталась.

Ну, пожалела я парня-то, с неделю он у меня пожил, днем в бане аль на сеновале сидел, чтоб не видел никто, а ночью, как ребятки уснут, в дом приходил. Одежу я ему выстирала, зашила, и из

мужниного кой-чего дала, да и денег малость на дорогу нашла. Никитиха – ох, уж и тогда пронырливая баба была – что это ты, говорит, Лександра, баню средь недели топить вздумала?

Ну, отговорила я чем-то.

А содержала я себя строго, и с найденышем своим сижу, разговариваю, руки он мои гладит, целует, а боле ничего не позволяла.

И стал он собираться уходить, а я с ним прощаюсь и в лоб его поцеловала.

Тут на колени он пал и заплакал.

– Да неужто ты не любишь меня, голубка моя? – спрашивает.

– Не буду таить, – отвечаю, – коли б не детки, ушла б с тобой, вот хоть сейчас.

И сама дрожу, как лист осиновый.

– Так неужели не пожалеешь меня, и одной ночки не подаришь? – может одной-то и на целую жизнь?

Тут и я заплакала, и верно, жалко его стало, и стала я любобвицей его, на одну-то ночь, да не по любви, а по жалости.

И не Бога я боялась, и не греха, и не людского осуждения. А боялась я стыда перед самою собою.

От людей скрыть можно, перед Богом притвориться, а себя то не обманешь. И выше суда, чем сам человек осудит себя, нету для него. Может, и Бог то судит только через душу человеческую, а кто не видит грехов своих, осужден тяжче всего. Хотя бы не знал он муки своей – чем Господь покарал его, совесть отняв – слепой ведь тоже, мира Божьего не видя, всей муки утери своей не знает.

А когда уезжал я, сидели мы втроем – и Любка тоже – за самоваром, да пирогами с черникою.

– А вот послушай-ка, Лексеич, последнюю притчу. Три человека в Бога веровали. И заспорили меж собой: какая жертва угодней Богу. Один был богатый, другой ученый, а третий, пожалуй что, и ничего не имел.

Богатый и говорит: – Я, говорит, Господи, отказываюсь от богатства во имя твое.

– А я от учености своей отказываюсь, – ученый говорит.

А третий говорит: – Ничего, Господи, нету у меня, ни жены нет, ни детей, ни кола, ни двора, и наукам не учен. Одна только и есть у меня воля вольная до хотенье собственное. Так отказываюсь я от воли своей и буду жить по Твоей, а не своей, и да будет Воля Твоя!

Лексеич встал с верстака, разлил остатнее из фляги.

– Вот, друг мой, кажется и вся история. И не был я там больше, а через полгода письмо баба Шура прислала.

"Все тебя, Лексеич, помнят, ученики твои спрашивают, а Любка важный день говорит о тебе, а на днях так даже поплакали с ней вместе.

Только и ты нас вспоминай иногда. Я, поди, умру скоро, так может с Любкой когда встретишься? А и меня не забывай."

А пуще всего, во всю жизнь, хотелось мне первым стать, и гордость была превыше всего во мне.

Из гордости то я может и в последние шел.

Первым, Господи, не судил мне?! – так на тебе и всю волю мою!

Ну, допьем!

Мы допили. Лексеич лег на верстак, пробормотал: "Помилуй, Господи, несчастных и страдающих!" – и уснул.

Мне не спалось.

Рассвет забрезжил.

А в душе темно было.

Я было задремал, да вдруг Лексеич загремел кружкой о железный кран, зажурчала, забулькала вода.

– Вот, главного я тебе не рассказал... Но, правда, что главное, я и теперь не знаю. В молодости казалось, *главное* – книги умные и как бы их прочесть успеть, да побольше! После того умные люди за главное показались, и хоть скучно было возле них, а все заставлял себя их слушать... Но да скушней умного человека нет ничего на свете! Пожалуй, скушнее только дурак, почитающий себя умным... да он тот же умник, но черт, когда пёк его, в чем-то промашку дал, и вышел умный дурак.

А простой дурачок – Божий человек, и самое сложное Божье творение, а с особенной любовью Господь Юродивого сотворил. Нынче на наших юродивых поклеп возводят, в шута наряжают, дескать, он поумней других прочих, а дурачком прикидывается.

Конечно, наш человек Божий умных поумней, да не от ума прозренье его.

Ну, вот, все отвлекаюсь я от главного... Но, может быть, и слава Богу! Как тот купец, который главные дела переделал все, а о безделице – аленьком цветочке – не забыл тоже. И вышла безделица главней всего.

Ты вот с малыми детьми любишь говорить? Да не как гость заморский, будто через подзорную трубу разговаривающий – и близко будто, а все на разных концах света – а по-человечески, как с равными себе, если не повыше?

Не знаю, когда у них сознание пробуждается, но вот с одной четырехлетней девочкой у меня горячая дружба была. А дело было так.

Гуляла она с мамой за околицей, цветы рвала и на меня набрела, а я на пригорочке на солнышке лежал и сны смотрел.

Побежала за мамой, за руку взяла. Идем скорей, говорит, мам, Ну, я жениха себе нашла.

– Да, где жених-то, может ушел уже, тебя не дождался?

– Нет, он никуда не ушел, он пьяненький под кустами лежит...

– Да, с чего ты решила, что пьяненький? Может просто так спит?

– А возле него бутылка лежит пустая, с вином...

– Ну, ты, Аленка, с ума сошла! Ты бы лучше лягушку тогда принесла, вдруг Иван-царевич бы оказался.

– Лягушек я боюсь, они противные... А он может тоже Иван-царевич, ты же не знаешь? Пойдем скорее!

Подошли, и Аленка разбудила меня.

– Слушай, ты ничёй жених?

– Ничей...

– Давай будешь мой?

– Давай.

– Только ты больше пить не будешь?

– О, женщина. Еще замуж выйти не успела, а уже в оборот берешь. Ну, ладно, ради тебя и пить брошу!

– Вот видишь, мама, – оборотилась она к маме, – он и пить уже бросил. Он у меня будет ручной.

А замуж я когда за тебя пойду, сейчас или когда вырасту?

– Когда хочешь, тогда и выходи!

– А ты еще не старый будешь, когда я вырасту?

– Нет, маленечко только постарею, а ты расти быстреей, я совсем постареть и не успею!

– Ладно, я тогда быстреей расти буду... А ты разве не можешь потом помолодеть опять?

– Попытаюсь, может, получится...

– Лучше, чтоб получилось... А то если сильно старый станешь, я за Сережку замуж выйду... Да ты не бойся, мы тебя не бросим, мы к тебе в гости ходить будем...

– Ну, знаешь, мне это совсем не нравится... Я ради тебя на жертвы пошел?

– На какие жертвы?

– Ну, пить бросил?

– Бросил...

– Так что и ты кой на какие жертвы тоже должна пойти... Ты кого больше любишь, меня или Сережку?

– Тебя!

– А я признаю только вечную любовь, а временную не признаю. И тебя, когда ты старенькой станешь, все равно не брошу!

– Ладно, я тебя тоже бросать не буду, только ты все-таки постарайся снова помолодеть.

– Господи, да если ты меня любить будешь, я от одной радости помолодею!

– Мам, а можно мне жениха с собой взять?

– Да где же он жить будет?

– Ой, мама, ну разве ему много места надо? Он вот под кустиком даже спать умеет! Зато я его сама нашла, иду и вижу – лежит... Я сразу догадалась, что это жених... А хочешь, пока я вырасту, ты за него сама женишься, а потом мне отдашь? А?

В общем, подружились мы так крепко, что конечно, дело слезами кончилось, я уж и впрямь было к маме свататься стал, только у нее другой на примете был.

Ну вот, опять сбился... Я тебе еще про бабу Шуру рассказать хотел, про главное... а что главное, и сам не знаю ... Может, главное вовсе не в речах ее, не в том даже, что в Бога верила с высоким достоинством и чистотою...

Что-то в ней было выше и Веры, для чего она и от Бога бы отказалась, не том смысле, как нынешние умники, для которых вся безумная дилемма Веры и Неверия свелась к логической задаче – есть Бог или нет его... а она и Бога судила, и коль он погрешил бы против ее меры, то о таком Боге она сказала бы – такой Бог мне не надобен!

Какою была она... а и в каждой мелочи она уже *была!* Как смотрела, как платок подвязывала, как блины пекла... Она нашла свой путь, на котором не ум богател, а чем дальше, тем цвет лазоревый был прекрасней и чище и аромат тоньше... ее путь был к душистым лугам, любви чистой и жалости всеохватной... А я тебе еще вот какой рассказ расскажу!..

## КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ

(Григорий Данилов)

Перед Рождеством ездил я в город и вернулся уж поздно вечером, однако баба Шура еще не спала и только самовар горячий на стол поставила.

– Гость у меня, Лексеич, из Березова, в сельпо рыбу привозили, а у них трактор стал, от того так поздно, я ему на лежанке постелила, а ты уж в каморе ночуй.

Подошел я к столу, с гостем поздоровался, познакомились... Он из-за стола встал, роста высокого, голова плешивая, бельмо на одном глазу, а борода густая, окладистая, почти сплошь седая.

Руку мне подал, назвался Григорием Даниловым и снова сел за

стол, взял неспешно блюдце и степенно стал прихлебывать, временами дуя на чай.

– Я погожу, матушка Александра Александровна, дух переведу, а опосля еще выпью.

– А ты то, батюшка Дмитрий, спать рано ляжешь, или с нами, стариками, посидишь еще?

– Я бы посидел... а может у Вас своя беседа, так я и спать могу лечь, иль книжку почитать.

– Беседа у нас общая, мы с матушкой Лександрой про жизнь рассуждаем... отжить отжили, теперь вот за рассужденья взялись.

А свой разговор мы уж лет сорок тому переговорили, если ж матушка и переменялась в чем, так теперь все одно поздно прежний разговор вспоминать...

Ты, батюшка, на какой предмет детей учишь?

– Я математике учу, ну там складывать да умножать... в общем, не слова, а цифры...

– О цифрах тоже поди занятно рассуждать можно. Али либо о лягушке... мальчонкой когда был, я этих лягушек без рассужденья хватал, да девкам за шиворот бросал, вот и матушке Лександре тоже раз пустил...

Ох, визжали девки – сласть, только матушка Лександра супротивная попалась, как глазищами зыркнула, как палкой огрела поперек спины, так сердце и занялось, и уж тогда болеть перестало, когда не о девках, а о Господе Боге рассужденье душу мою заполнило. ...

Хотя грех не утаишь, Господу все одно видно, может я и о Господе рассуждая, девок этих бесовских только и зрел сердцем своим...

А племянница моя лягушек этих без всякого визгу раскурочит и только об них и рассуждает. Вот, думаю, заслонила лягушка ей белый свет... Ты иди хоть с парнями побесись, говорю ей. С лягушкой поди холодно обниматься.

Тебя, говорит, дядя Гриша, хоть и веруешь в Бога, в ад все равно пошлют, потому как ты еще до сих пор не перебесился.

Вот скажи мне, батюшка, можно ли, лягушку взором своим непрестанно видючи, Бога узреть? Оно, я понимаю, что и вглядывающиеся в Господа, может тоже не Господа, а лягушку какую страшную, прости Господи, али еще почище, видят, вместо Господа... есть, есть такие, и тьма таких.

Ну, а кто о Господе вовсе не подумал, вовсе его не видел никогда и не тосковал по нему, и весь взор свой во всю жизнь свою мимо Бога вперял – стоило ли такому жить и на свет роджаться?

– Ну, ты, батюшка, скажешь – кто хлеб сеет, сеет его во славу Божию, хоть и Осанну не возглашает, а кто Осанну возглашает, но хлеб Бóга для не сеет, тот черта славит. И кто жнет хлеб сей, жнет милость Божию, хоть и через скорби милость сия дается.

– Но всякий ли сеющий – во славу Божию сеет, да и сеющий во Славу Божию, подлинно ли в Его славу сеет?

Вот я тебе, батюшка Дмитрий, расскажу.

Повстречал Господь двух каменщиков, несущих кирпичи. Спрашивает первого:

– Что ты делаешь?

– Не видишь разве, – отвечает, – кирпичи несу.

И второго тоже спрашивает.

– Храм строю людям и Господу, – отвечает.

– Так пусть же у каждого из вас, – Господь возгласил, – Душа и живет делами рук ваших.

Вот, будто все ясно, и строящий Храм и в Душе Храм построил, а не строящий его, а таскающий кирпичи, душу свою так и оставил в пустыне лютой. Да подлинно, подлинно ли так все и есть?

Когда Господа узрел я, собрались мы, четверо нас было, и согласились на лютые муки, а антихристу более не служить. Отправили нас в карцер, чулан из досок во дворе, в щели снег сыплется, да без шапки, да без шубы, и хлеба давать не стали, но пошла холодного приносили раз в день, и неделю Господь силы наши укреплял, а потом двое померли, а меня с отцом Агафоном на этап поставили, и до Лены дошли мы. Там много наших было, в вере укреплялось. Там мы до весны дóжили.

Весной снег сошел, приносят нам две лопаты: Эй, кто хочет на свет божий взглянуть, надо предзонник вскопать.

А нас из бараков всю зиму не выпускали, и при этих словах такая маята по душе прошла, солнышко будто полилось на меня и всю душу затопило.

Ну вот, сказали бы – иди себе могилу копать, а после сам в нее ложись – и пошел бы, и с радостью.

Вот и пошли мы с отцом Агафоном, и так ласково, так мягко вскопали землю в предзоннике и заборонили ее граблями, а ведь это от побега, чтоб на мягкой земле след видать было, если кто ступит, так что мы вроде как тюрьму себе обустривали, а не то что Храм божий.

Так вот копали-то мы во славу Божию аль нет?

А ведь я будто лютости всякие стерпеть был готов, на что отец Агафон был в Вере крепок, а и тот моему неистовству поддаваться стал.

К Богу не через любовь придти можно, а через единую скорбь – вот что познал я. И всяким испытаниям Господним радоваться надо, и чем страдания пуще, тем ближе к Господу.

Сию я бывало в голоде да в голоде, а то и побои терплю – а ведь силу мне Господь дал великую – и улыбаюсь сам себе: Господи, как хорошо, что так плохо в мире сем! И чем хуже в мире сем, тем сердцу моему веселее, ибо в благом мире нет места подвигу.

Так вот не лютоści же испугался я, а видно к солнышку любовь перемогла веру.

– Грешник ты, Гриша... К солнышку то любовь и есть вера в Господа... Ты вот страдание возлюбил, а надобно возлюбить и радость.

– Возлюбил, матушка, возлюбил я и радость, когда Господь послал мне ее. Но от своего не отступаюсь я – надобно, чтобы стрелой огненной было пронзено сердце человеческое, чтобы скорбь взяла его в жены, чтобы сгорел свет весь, и тьма настала, и кручина сдавила сердце, и вопль наполнил душу и землю: – Каюсь, Господи, что на свет родился! – ибо без того пресен человек и все одно что трава.

– Да любишь ли ты Господа за дела его, Гриша, али ненавидишь?

– Не знаю, матушка... То будто люблю, а то будто ненавижу. И верую то в Господа ли, не знаю, хоть и проповедовал Слово Его, и за Слово Его на муки шел и сколько я боролся со слугами антихристовыми, и за Господа плоти своей и Души не жалел – а пуще того я с Господом боролся!

Так простит ли он борьбу мою, и пошлет ли мне откровение Свое, в котором полюблю я всякое дело рук Его, и воскликну – Благо!?

Благо, Господи, что гнал и мучил меня, и дал ненавидеть врагов своих, Благо, что сподобил простить их, Благо и то, что Любви к врагам своим не вместила душа моя.

Но и до сих пор борюсь с Богом, а ложась спать, говорю со слезами – прости, Господи, грехи мои и помилуй меня; а утром опять просыпаюсь в смятении и подступаю к Господу с вопросами.

Где правда Твоя? Если Кесарь и кесарево Тобою освящено и должен служить им; если это Ты потребовал, чтобы я закрыл глаза свои и не вопрошал о смысле дел Твоих; если это Ты потребовал, чтобы я не как равный к Тебе пришел и пред Твоим величием преклонился, но чтоб был рабом Твоим, а не свободно любящим, чтоб шел за Тобою как за поводырем в тьме кромешной и света не видючи, если Тебе прежде любви моей нужно унижение мое, если Тебе прежде надо, чтоб я узнал, почувствовал, что Аз червь есмь, и к Тебе червем приполз, если Тебе такая любовь нужна, и Ты меня так

любишь, Господи... если видишь не сына во мне, а Тебе прежде надо, чтобы я затрепетал могуществу Твоему, утрашился гнева Твоего, поник пред безмерностью Твоей – то оставь меня одного, Господи, не хочу унижить Тебя покорностью раба преданного, и рабом твоим быть не хочу. Сын я Твой или раб?

Ты дал мне жизнь земную для испытания души моей, Ты устроил Землю в неправде, чтоб я преодолел неправду, ты вверг в Тьму меня, чтоб я тьму преодолел и пришел к Свету – так пусть же Свет будет светел, а не Тьмой свет будет!

Я Твое дитя... Но когда ко мне дитя ручонки протягивает, ко мне, сивому и плешивому старику, окривевшему во Славу Твою – то я на колени пред ним становлюсь, чтоб вровень стать, и вместе с ним смеюсь радости его, и когда дите дергает бороду мою, я не сержусь на него...

А так ли Ты любишь меня, Господи, да и любишь ли?

Сомневавшихся в Тебе не прощаешь, и одесную в царствии своем не посадишь, за малые даже грехи стращаешь казнями лютыми и мукой вечною, а врагов полюбить учишь. Так я-то своих врагов, грешников и перед Тобою, простил, и на муку не осуждаю их, да и Тебя прошу простить их – а так ли Ты жалеешь падших?

Я ребенка малого слезинке скорблю, а дети Твои горькими слезами заливаются...

– Господа не вини, Гриша, то ученики его усердствовали, ученики то небесный образ зрели, да через земное преломили.

– Ох, матушка Александра, да как же тяжело к Правде-то пробираться! Лукавый прельщает, слуги его калеными железками от Бога отвращают, а Божии ученики и толкователи теми же калеными железками к Вере принуждают.

Да полно, матушка, да когда же по принуждению иль страху чиста бывает любовь? Братья-то мои по Вере прокляли меня, из барака изгнали как овцу паршивую, а с вышки часовой винтовкой грозит – и вот убил бы, и вышел бы я овцой паршивой с обеих сторон. А ныне в церковь меня не пушают, я де хуже Сатаны народ смущаю.

Люди христьянские, смотрите, вот что узнал я, и за что умереть готов, и отвергнутым быть готов:

Бог есть, и Бог как озеро чистое и прохладное, и свободу Он нам дал – идти ли к Нему, аль в пустыню палящую, и за то не винит нас, и не принуждает, а только скорбит. А пришедших обнимет и приласкает. Путь же к озеру чистому и прохладному труден – но то тайна Божия, и она откроется нам в конце пути, и по дороге еще открываться будет.

Бога же каждый человек сам должен открыть и найти и сам придти к нему, а учителей нету! Не верьте учителям и бегите их, ибо у каждого свой путь, и нет одного пути для всех. И я не учитель, и меня бегите, а ищите Бога своего.

Отвергните учителей, и меня отвергните, ищите Бога своего, а там – встретимся и обнимемся.

Ада же нет и нет наказания. Никто не принуждает любить, и не хотящий любить – пусть не любит. Любит всяк, но всяк любит для себя, а вот когда полюблиют для другого – узнают Бога. И суда нет другого, кроме своего, и наказания кроме своего – как лунатик, опомнившись, содрогается, увидя себя над пропастью, так грешная душа, проснувшись, содрогается... Вопль Души проснувшейся, когда наступает свет, и она видит, что мучила дитя свое, и молит Господа исправить дела свои – вот что и Суд и наказание.

Григорий Данилов вдруг замолчал резко. Стало тихо, только звякала ложечкой о блюде баба Шура... Смотрела она вдумчиво и осуждающе...

– Благообразия Господь лишил меня... Какой уж я теперь проповедник! А праведное слово без благообразия не бывает... Все божеское образ имеет светлый и чистый, и снег и дождь, и молоньи; и ночь и день!.. Каково чисты улыбка младенца и смущенье девицы! И умилительны...

А вот нечистый, когда бесчинствует – тут и земли дрожанье, и огонь, и дым, и серный смрад, и сажа свет застит.

Что теперь мне православным сказать?

Сам, скажуг, кривой, так нешто хочешь, чтобы и мы окривели? Нам плешивого Бога не надобно, мы не китайцы какие-нибудь... Подрезал мне Господь крылья...

– Эх, Григорий, видно и впрямь не перебесился ты. Сам же говоришь, что Бога узнают, когда полюблиют не для себя, а ты вот не только для себя любил, а самого-то себя и в любви к Богу любил. И подвиг твой был не для Бога, а для себя. Ты вот радовался, что во скорби де Бог Землю и жизнь создал, а радовался силе своей; в радости де Бога и слабый зреет, и Веру обретет, да не прочна Вера его будет, а в скорби да муке к Богу придти великую силу иметь надо, и только избранные Богом придут, а коль ты пришел, то ты Божий Избранник.

Не по-христиански это. По христиански скорбь не призывают, но коль Господь пошлет, принимают ее, как и все Господне принимают. Ты, Григорий, к Богу то шел, тебя тоже грех осудить, но тропиночку ты для одного себя протоптал, больно мало любви было в твоём подвиге, а больше ненависти.

Не видящих Бога, отвергнувших Его, Богом оставленных ты

ненавидел, и даже простого мужика за то, что о Боге не думает, за траву почитал. А отвергнувших Бога пожалеть надо, как Христос пожалел даже разбойника-душегубца.

К Богу-то, поди, и трава тянется, хоть и вовсе мысли не имеет.

Человеку о человеческом в себе заботиться надо, а тогда Божеское приложится.

Любить людей, да и себя тоже, Мир Божий как образ Его полюбить, тварь Божью не обижать, не обижать людей, желать Блага всему живущему, все что Господь даст – принять, и радоваться дню каждому.

Кроме себя самого человек боле ничего не имеет, и каков он сам, то и есть его единственное богатство; это-то богатство и надобно умножать.

Григорий Данилов кивал согласно головою.

– Я, матушка Александра, со словами твоими не со всеми согласен, но и когда ты супротив меня говоришь, мне всё с тобой согласиться хочется.

– Дак, батюшка, не со мненьем же соглашаются али спорят, а с человеком, мненья-то как ветер над водой, в разные стороны меняются, а река то течет себе и супротив ветра.

– Истинно говоришь, матушка, истинно! Оттого-то, поди, я и со своими воюю, и единовенные мои врата храмовы предо мною закрыли. Я, матушка, начальникам-то много в жизни подчинялся, как не подчинишься, когда на тебя винтовка наставлена? Но над духом своим власти не признавал, и даже Божеской власти перечил, не одной земной.

А экзархи-то наши всякую власть прославляют, и подчиняться велят, ибо, говорят, всякая власть от Бога. А я верую и проповедовал, что всякая власть от Сатаны, и не токмо светская, но когда и церковная принуждением, а не согласьем действует, то и она от Сатаны.

– С тем ли ты воюешь, Григорий? Экзархи-то поумнее нас, и супротив их ума тяжело стоять... Да во всякой Истине, которая от ума, надо искать Правду, которая от Сердца, а коль эту правду не сыщешь, то и Истине грош цена, ибо Истина не в Истине, а в Благодати Божией, а к ней через ум не придешь.

Всякая-то власть от Бога, пусть и так будет, да не всякая власть Благо, а святою властью и быть не могёт!

Вот и Зло от Бога, потому от Бога весь мир, и Добро и Зло, но зло от того не стало добром.

Так-то ведь и тьма от Бога, и свет, но во тьме нет Свету!

Баба Шура помолчала немного и заговорила снова с сомненьем и усилием:

„А может и во тьме свет светит? Как на Земле среди неправды живешь, и тошно от неправды станет, так доброму чему так умилишься, слезами радуешься! И думаешь, что коль неправды бы не было, то не умилилась бы так! Так выходит, что и зло Добро тоже, и тьма – Свет. А в другой раз еще тошней станет, и паду на землю и слезами заливаюсь: нет во тьме свету, нет.

И от вопросов таких, и от сомнений таких просветленья в Душе не было, и я уже засомневалась: да полно, не грех ли Господа вопрошать об этом? Не надо ли просто верить, и не вопрошать?

Но как же верить просто? Ноне люди поверовали, что Бога нет, потому что ученые люди им разъяснили это, а я поверовала, что Бог есть, меня с малолетства мать с отцом к Богу направляли.

Но кто же верует в Бога? Те ли, которые думают, что веруют, а живут без Бога, или те, которые к Добру и к Свету стремятся, а думают, что и Добро и Свет сами по себе, а не от Бога?

И кто к Богу ближе – кто не грешил, и не помышлял о грехе, а жил как челн к берегу привязанный, или кого буря и дождь трепали и носили, кто и грешил, но и скорбел о грехах?

И было мне виденье, на одну малую долочку времени. Будто я малое дитя, и пришла к горе железной, а там мученик святой дорогу сквозь гору прорубает.

А сколько ни прорубит он, Сатана ее вновь укрепляет. А старец уж изнемог, и близко к смерти.

И просит он у Сатаны разрешения работу свою на время остановить, чтоб Правду сказать мне, которую достиг он.

Разрешаю, Сатана говорит, всю правду сказать, только слово одно утаить.

А без единого слова, мученик отвечает, Правда неполна, а неполная Правда – ложь Антихристова.

Но все же поворотился он ко мне и говорит: Бога никто не знает, и не видел, но ищи Бога неуклонно. Премудрости Божией знать никому не дано, но вопрошай неустанно, в муке вопрошай, а не по прихоти.

На Земле Правды нет, ибо всякая Правда неполна, но кто ищет ее на Земле, тому дастся она на Небе.

Уповай на милость Господню, и на заступничество Его, проси у него помощи, но живи по Воле своей.

Отверзни уши свои, и очи свои, тщишь услышать слово Господне и увидеть Свет Его, но коль спросит Господь, чего надобно тебе, откажись и от Света и от Премудрости, но о единой Благодати Божией молись. И не забывай, что первая Благодать Божья уже дана, и это – Воля вольная.

Господь дал свет и тьму, и дал Волю, назвать ли свет Светом или Тьмою; и кто хочет, пусть тьму Светом зовет.

А кому какое воздаянье будет, сказать трудно. Мне за муки мои было воздаянье, твоя младенческая слеза капнула... а выше воздаянья и Господь не даст мне.

А грешникам наказанье нет. Пришел к Господу Вор и сказал, что украл и просит покарать его.

Знаешь ли ты, что ты Вор? – Господь спросил.

Знаю сам, а никто больше не знает.

Как же сильней накажу я тебя, если ты сам про себя знаешь, что Вор, а помнить будешь, пока душа память не потеряет, а память душа потеряет, когда умрет?!

Тогда прости меня, коль наказать не можешь.

А что тебе в Моем прощеньи, если ты сам не простишь себя?

Вот и мой завет: Живи как хочешь. Хорошее от плохого отличишь так: что без утайки другим рассказать можешь, то и хорошо.

В Бога веруй. Но Верой одной не спасешься. О Боге тосковать надо ежечасно. Коль душа тосковать перестанет, то либо с Богом восполнилась, либо умерла.

Родил тебя Бог крестьянкой, так воздělывай Пашню, которую тебе Бог дал, и она тебе хлеб родит для пропитанья. А душу не надо ли воздělывать и созидать?

Но единое слово я утаил от тебя, и потому неполна правда моя.”

– Ах, матушка Александра, где же слово то единое?

Вот поди до смерти его и не узнаешь...

Порадуй-ка ты нас еще чайником, да пожалуй и спать надо.

Разговорами слово-то мы все одно не сыщем, а носиться челну подобно по морю бурному нам уже поздно, вот если батюшка Дмитрий Алексеевич теперь вместо нас носиться будет, а свое слово мы ему сказали.

– Ну, вот, – Митяй Алексеевич воскликнул звонко – последуем и мы совету старца Григория.

Наши челны еще не текут, слава Богу, а все же им много еще мотаться по Белу Свету, так давай-ка и мы спать до времени.

И спи беззаботно. Коль надо будет нам проснуться, то нас разбудят.



*Больные сны  
на исходе белых ногей*

(Эпизоды из жизни Артемьева)



**Я** сидел в деревне пять дней невылазно; дождь холодный и плотный был вездесущ, подобно гнусу проникал любые преграды – и тяжелый плащ с капюшоном, и непромокаемую куртку, и болотные сапоги ... А многупудовая грязь налипала с такой бешеной яростью, будто бешеные собаки хватили за ноги, и каждый шаг вызывал раздражение. Разве жгучая необходимость могла заставить месить тяжелую глину, а так как моей необходимостью была только скука, то я предпочел оставаться взаперти. К тому же нашлось занятие: несколько лет назад здесь жил мой знакомый Артемьев, поправляясь от тяжелого нервного расстройства, и я с любопытством изучил оставшиеся после него бумага.

Многое знал я из его сбивчивых и туманных рассказов, рассказов наших общих знакомых, кое-что, хотя косвенно, видел сам, а что оставалось неясным, восполнял воображением или так и оставил неясным.

В свое время были толки, было мучительное желание проникнуть завесу и понять тайну, а теперь, усталый и скучающий, я с холодным любопытством приводил в порядок разрозненные впечатления и сведения – Бог весть зачем ... Быть может, мною двигала та же скука, которая заставляет разбросанных по глухим углам мечтателей изобретать вечный двигатель, теорию солнечной системы и новые системы всемирного благоустройства.

Я не поручусь за правдивость рассказа. Так, в полумраке туманные предметы складываются в тревожное видение, и чем сильнее напрягается зрение, тем определеннее видение – но действительность, страх или воображение создали явившийся образ?

Пытаюсь судить при свете дня – а вправе ли свет дня судить то, что явилось ночью?

И потому безо всякой критической проверки соединяю в этих записках разнородные сведения, и пусть судит читатель: сон ли пред ним, болезнь воображения или легкомысленное надувательство.



## 1.

Мысль не сгустилась. Неопределенное мучает меня ... а вернее сказать, мученье не в том, чтобы болело что-нибудь, а в отсутствии боли. Рука не затекла ото сна, сердце стучит ровно, а глаза видят все так же ясно. Передо мною, из окна, обширная пустая площадь, ярко освещенная солнцем, черные люди спуют в разных местах ее, и биение пульса их подобно надоедливому капанью капель в раковину на кухне (проклятый водопроводчик! А я дал ему три рубля! ...)

Их мозг и желудок соединены железной цепью, передающей усилия попеременно, и вся жизнь их – в движеньи цепи.

Но что мне до них, о Боже? Зачем я думаю о пустых и ненужных вещах, и зачем они меня раздражают?

Бесцельное блужданье молекул – вот мир вокруг меня! И мука в том, что все иное – иллюзия ...

Вероника ушла. Ну, что же?! Разве Вероника могла отменить пустоту мира, пустоту его бесцельных законов? Дождь не идет, чтобы напоить землю, снежный обвал безволен, гром гремит низачем. Шум сталкивающихся молекул наполняет этот мир, и можно математически точно вычислить траекторию их движения до столкновения, и рассчитать все последующие траектории – и ни одна не изменит движения из прихоти, из каприза, из страха или рассеянности.

Боже мой, зачем я проснулся? Только заблуждающийся живет, только иллюзия придает жизни смысл, химеры – единственная непустота в пустом.

Мы победили этот мир, мы разбили и деревянных и каменных идолов, мы обнажили покровы, мы неделимое разделили на доли – и горе победителям!

Мириады песчинок и тьмы песка – вот наш мир.

Божественный лик, видимый из отдаления, приблизился – и мы увидели потертость холста, ветхость рамы, потрескавшиеся и осыпающиеся краски ... И ужаснувшись, приблизились больше, и вот нет и холста, и красок, и благоговения и ужаса – нет ничего, а даже и "ничего" нет.

Усиленно сознающий разум ослеп, заблудился в капиллярах, вполз в песчаную бурю.

Подобно сумасшедшему он бросился с ножом на полотно всемирной картины, и Действительность красоты исчезла, как исчезает в зеркале огонь свечи, когда разбито зеркало.

Воля и прихоть уступили место всемирному тяготению атомов, любовь объяснилась влечением полов, движение нефти по артериям земли открыло нам "тайны плаща и кинжала".

О, Вероника! Быть может, я измучил тебя бесплодным усилием мысли, ты жаждала жизни, а я давал тебе лишь сознание ее и муку ее. Я утверждал в себе Соль сущего, и был слишком солон.

Но тебе ли, испорченной страданием мысли, удовлетвориться пресным питьем!

Твои упреки лживы, они вздорны, они всего лишь истерика уставшей женщины.

– Мне надоело – кричала ты – слышать одно и то же ... ты в тысячный раз повторяешь сам себя, но если когда-то мысль была свежа, то теперь она истаскалась от однообразного повторения. Ты требуешь Веры, Веры, Веры, но давно не оригинален, и никто не верит в твою гениальность. Да если бы ты был и Гений – что с того? Другие, не гениальные, делают дело, есть плоды их деятельности, а где плоды твоего гения?

Когда-то ты говорил, что мыслить – значить бездействовать, что действуют лишь ограниченные; но вот теперь ты достиг вершины бездействия, ибо и усилия тщетны, но мысль тоже, говоришь ты, и надо перестать мыслить.

Прощай же, мой милый, не пытайся разубедить меня, остановить, живи как хочешь – без меня!

– О, Вероника! Ты не знаешь, сколько усилий затратил я, чтобы создать тебя, чтобы вылепить из той же бесцветной глины, из которой миллионы безликих, тебя единственную, не похожую на других! И – тщетно! Глина взбунтовалась против ваятеля.

## 2

Неопределенное мучает меня ... Мысль о Веронике туманна. Я истощил себя в безумной жажде достигнуть полной ясности видения, я отверг химеры, и зоркость моя возрастала. Уже я вмещал мириады земных муравьев, уже бесстрастно наблюдал их слепой бег от одной муравьиной кучи к другой – я, муравей, влезший на дерево. И – о, как ясно, как ясно видел пустоту соломенного усердия, безбрежность самодовольства, воображающего, что и вселенная существует лишь как материал для строительства муравьиных куч!

Плесень, цветущая в одной из заводей всемирного моря, тщится покрыть собою лицо мира, но буря равнодушно и холодно бьет волны о скалы, сминая с ровной настойчивостью самодовольство и кротость.

У плесени и у моря свои тайны, и внутренняя жизнь их не соприкасается.

О, как торжествовал я своей независимостью от Моря Мира – и боль ясности ударила в сердце.

Извне виденья нет. Видеть – значит войти.

## 3

Владимир Алексеевич Артемьев жил на Московском проспекте – с видом на Сенную, добавлял он, культивирующий прошлое даже в названиях площадей и улиц.

Вот уже около месяца являлся он в различных кружках и компаниях, оставшихся еще со студенческих лет, много пил, впадая то в возбуждение, то в мрачную задумчивость, ораторствовал по обыкновению, проповедовал Христа и Антихриста вместе и предсказывал скорый конец света. Было ли все это следствием опьянения или тогда уже начиналась болезнь, решить трудно ... Некоторые его темные и странные идеи привлекали внимание, и Асенька К. тогда же записала их – во всяком случае, логического изыяна в его рассуждениях заметно не было.

– Свет от Тьмы отделяется по различению Добра и Зла, и конец различения есть также конец Совета ... Но Тьма останется, и мыслящая водоросль зацветет багровым цветом, и кровавый отблеск его падает на все сущее!

Человек впал в соблазн, но даже не по Порочности, а по Слабости Ума! В сознании находятся основания для различения прямой и кривой линий, и прельщенный дьяволом, человек рассудил так: либо в сознании же лежит мера, отделяющая Добро от Зла, и в мере находится поставление Добра над Злом, осуждение Зла – либо отличие это не имманентно сознанию и значит условно.

Доказать или постулировать! – Вот о чем соблазнился человек.

И на тысячелетние муки пойду во имя Добра, воскликнул он, коль мне математически точно будет доказано, что Зло хуже.

Как не вспомнить тут отшельника, который, увидев Мертвого Христа и ощупав мертвое тело его, воскликнул: «Око мое соблазнилось видимостью, и десница осязанием! Вырву же я собственное око, и отсеку соблазненную десницу, а буду веровать не по уму, а по Вере!»

Так вот соблазнившись умом, человек не рассудил того, что ни в каком доказательстве от ума нет оценки и осуждения. Прямая линия прямее окружности, но ни в каких отношениях не лучше ее. Пусть бы в уме нашлись источники для различения добра от зла, но отличая так добро от зла, как правое от левого, мы только утвердили бы зло, а не осудили его. ...

И много еще говорил Артемьев, но не буду передавать всего. Сам уже погружаюсь я, по воспоминанию, в мрачное обаяние проповеди ... А ведь это же слышал я и десять лет назад, и нового не услышал.

Новое было, пожалуй, в противоречии слова и дела, ибо проповедуя романтику бездействия, сорвался Владимир Александрович в действие как в пропасть и поразил многих, слушавших его – и со вниманием – все эти десять лет.

О, сколько пошло слухов, и прямо сплетен, в особенности о ночных кутежах у Л. и о безобразной карточной игре, когда Асенька К., не имея денег на уплату проигрыша, разделась донага.

Утверждалось, будто перед этим Асенька К. разговаривала с Артемьевым, и о чем-то его горячо просила. Рассказчики не забывали добавить, что Артемьеву в последнее время удивительно везло в картах, и выходило из этого, что он был при деньгах – и немалых и шальных.

Но слышал я и обратное, что выигрывать Артемьев начал только на следующий день, а до того две недели кряду проигрывал и, следовательно, Асеньку спасти или остановить не мог.

Правда, сам я видел Владимира Алексеевича редко и, как уже говорил, ручаться за истинность событий, о которых повествую, не могу, а уж тем более не ручаюсь за верное истолкование мотивов.

#### 4

Пошел третий час ночи. Две тоненькие фигурки пронеслись мимо и скрылись в подъезде, и чувствовалось, что бегут не от шалости или опаздывая, а прячутся от кого-то.

В подъезде было темно, я поднялся на первую лестничную площадку и остановился перед нишей. Как жаль, что не курю, и спичек нет. Тихонько протянул вперед руку, рука уткнулась в плечо, захотелось погладить лицо, уверен был, что девушка красивая, провел по щеке, но острые зубки неожиданно впились в руку.

– Как Вас зовут? – спросил шепотом.

Зубки разжались, я облизал укушенную руку.

– Ты чего – псих?

– Наполовину ...

– Лечиться надо, а не за девочками бегать. А если б мы в темноте – ножом?

– Ножа нет ...

– Откуда ты знаешь? Это ты стоял, мы пробегали?

– Угу ...

– Я тебя не разглядела. А ты, Лиза?

– А мне до него было?

– Ну, чего тебе надо?

– Я Вас хочу в гости пригласить.

- Ты всегда такой, или недавно тронулся?
- Пожалуй, что всегда ... а недавно еще пуще стал.
- Ну вот что, гражданин, проходите мимо, нам с вами не по пути.
- Отчего же? У меня – интересно, у меня цветы дома стоят...
- Ну и что?
- Тюльпаны...
- Ну и что?
- Гладиолусы...
- Может и еще что-нибудь?
- И желтые розы ...
- Может быть, у тебя и выпить есть?
- Есть и выпить. Шампанское.
- Не пьем.
- Еще десертное вино ...
- Не-а ...
- Коньяк ...
- Да, ладно, брось заливать!
- Водка ...
- Слушай, ты что – специально все приготовил и пошел искать?
- Да. Я сегодня бросил играть в карты и решил отпраздновать удачу и освобождение – с красивой девушкой.
- А может, мы уродины? Темно ведь, не видно ...
- О, нет, Вы милы! У Лизы сладкие зубки, а у подружки ее – нежное дыхание испуганного воробышка, хотя обычно она довольно решительна. Я вас, правда, почти не видел, но успел заметить в движениях музыкальность, я это очень ценю. К тому же, уродины вряд ли стали бы прятаться, да и кто их может преследовать? А кстати, я могу вывести Вас отсюда, я знаю как пройти на соседнюю улицу.
- Да мы посмотрели уже! Но дверь заколочена.
- Это внизу. Но тут есть один фокус – если подняться повыше, то со второго этажа можно спуститься по другой лестнице и выйти во двор. Дайте руку.
- Девушки повиновались. Мы вышли. На улице оглядели друг друга и остались взаимно довольны. Я решительно остановил такси.
- И вот мы – у меня.
- В прихожей я свет не включал, проводил в комнату и зажег свечи. Я наслаждался впечатлением, как художник, стоя у мольберта с откинутой занавесью.
- Мари, ты верила?
- Нисколечки! Все заливают, каждый строит из себя необыкновенного, а в глубине души необыкновенность даже презирает.

Ужин приготовили быстро и сели за стол друзьями. Девочки все приговаривали: Ах, как есть хочется! Кому бы выпить, а нам бы поесть! Я, по-моему, сегодня с утра не ела.

Пили мало, но я опьянел – внутренне, близость и желание женщины кружили меня сильнее вина. К тому же, порочность притягивает сильнее чистоты ... я бы сказал, что грех – это приправа к пресным яствам жизни.

Взгляды мои запросили приправы.

"Э, нет, так дело не пойдет, будешь приставить, будем кусаться!" – заявила Лиза.

– Ну, что ж, я не настойчив. Подчиняюсь силе слабости, и даю обет безбрачия – до завтра.

Утром пили чай, щебетали, были веселы.

– Милое сегодня утро, не правда ли?

– Да ...

– Я Вам нравлюсь?

– Да, очень.

– А Вы мне с того мгновенья понравились, как пробежали мимо.

Мне показалось тогда вот что:

Когда детям закричат – баба-Яга идет! – они врассыпную, визжат от страха, а головы высовывают, посмотреть любопытно. И страшно, и хорошо, что страшно, нравится, что страшно. Это не взрослый, липкий и унижающий страх, а – придающий остроту переживанию.

И вот Вы так бежали, как от бабы-Яги, и мне захотелось с вами вместе спрятаться.

## 5

У Артемьева день был свободен, а вечером он должен был уйти по делам – кого-то увидеть, кому-то отдать долг.

Было июльское воскресенье, но день походил на тихое майское утро – тепло, безветренно, воздух свеж и прозрачен.

Прогуляли вдоль канала, по Мещанской и Подъяческой, дошли до Сенного рынка – и окунулись в море цветов, красок, запахов, в сокровища Аладдина и Креза!

Вишня, сливы, яблоки, клубника, зеленый лук, салат, редис, огурцы, цветная и белокочанная капуста, крупитчатый творог, сметана, золотистая как масло, и масло, упругое как сыр.

Мед в сотах, мед цвета тины, мед янтарно-оранжевый, мед желтошафранный, мед разливной, и плотный как воск, горячие лепешки на меду, медовые и сахарные уста необъятных молодич в цветных передниках, «пскопских и новгородских, чудовских, гдовских, великолукских...

Картофельные ряды и мужики с бородами; огурцы зеленые гладкие и пупырчатые, малосольные, маринованные; помидоры "Бычье сердце", веселые "пальчики", помидоры моченые, баклажаны, кабачки, вареная кукуруза...

Господи, а ведь нас ждут еще горы и долины Кавказа, хурма и виноград, арбузы и дыни – и неисчислимо все, что ждет нас!

Глаза разгорелись, ноздри жадно вдыхали, губки полуоткрылись.

– Все, что хотите – ваше!

Лиза и Мари переглянулись.

– Арбуз? Или дыню? ... Лиз, давай клубники купим!

– Ах, мои стыдливые детки! Карточный выигрыш жжет мои руки – приятно жжет, надо сказать, но в банк под проценты я деньги не буду класть – так что будем вести себя, как завоеватели, и возьмем больше, чем унести сможем.

Арбузом пренебрежем, он слишком тяжел, а все остальное – наше!

– Май красавицы, па-смотри, какие дыни! Сладкие, как губки дэвушка, нжные, как ее пальчики! Бэри, нэ стесняйся, вот тебе самая лучшая, вэк вспоминать будешь!

Дыню гордо понесла Мари, прижимая к груди. Купили клубники, груш, иссык-кульских яблок, меду, сметаны в туеске и зелени для салата.

Возвращались мимо цветочного ряда.

Артемьев набрал два букета, или скорее две охапки гладиолусов – один букет был только оттенков кремового, другой – темно-бордового.

Девочки ревниво оглядели букеты друг у друга, и сказали с непередаваемой гордостью – Мой лучше!

Счастливые, возвращались домой.

– Боже, да я совершенно счастлив! – повторял Артемьев и смеялся.

## 6

Девочки пришли на третий день к вечеру, ворвались на кухню, перевернули все вверх дном, изжарили яичницу с зеленым луком, нарезали помидоры, вытащили из холодильника уже плесневевший сыр.

– Есть хотим – чуть не сдохли! Третий день не евши, животы подвело, вот, пощупай!

– Нет, что, серьезно два дня не ели?

– Угу. Да мы к этому привыкли, мы всегда, когда деньги есть, неделю гуляем, потом неделю сидим вдвоем на кровати, картинки в журналах рассматриваем.

Володичка, а от тебя позвонить можно?

– Ну, конечно!

– Тут у нас девочка одна, Синичка, ребеночка родила, уже месяца три, как родила, а мы все никак не съездим к ней.

– Если хотите, можете ее сюда пригласить в гости вместе с ребеночком.

– Ой, Володичка, давай мы тебя поцелуем! Синичка – девка, что надо, она тебе понравится!

Синичка собралась мигом и через час была у Артемьева, с ребеночком и еще одной "мировой девкой" по имени Галка – последнее имя не относилось к разряду птичьих, а происходило от обычного имени Галя.

Ребеночка раздели, перецеловали, снова одели, и снова тормозили, вырывая друг у друга из рук, а он удивительно спокойно и вежливо лопотал всем "гу-гу" и тянул ручки.

О Синичке Артемьев рассказывать спокойно не мог, он задыхался от смеха.

– Представьте себе какого-нибудь сверхфантастического индейца, усыпанного с ног до головы перьями, только в юбке – представили? Ну, а теперь снимите юбку, потому что, надо сказать, была она у нее относительной – и Вы получите некоторое представление о Синичке.

Ребеночка она любила восторженно, о возникновении его рассказывала обнаженно-простодушно:

– Малышку мою не частник делал, она – плод коллективного творчества, а мальчики все были что надо!

– Синичка, а ты на Невский гулять пойдешь?

– Нет, теперь мне нельзя, теперь я малышку воспитывать буду.

– Ну, а по мальчикам соскучишься?

– Все равно не пойду ... Зашью, если невтерпеж будет!

## 7

Я веду странную жизнь. Мари и Лиза бывают у меня почти каждый день, иногда я захожу к ним, всегда приношу что-нибудь поесть, они меня зовут "наш добрый папочка". Даю денег – "на карманные расходы".

Вчера Мари сказала, что мне волей-неволей придется их кормить, они мне "верны" с первого дня, поэтому есть им нечего.

Была первая сцена. Мари спросила:

– Мы тебе противны? Скажи прямо, мы переживем. Хочешь, мы приведем тебе девочку с Невского? Ты ведь любишь девочек, ведь любишь? Мы тебе ее подарим!

– А если подарок заартачится и сбежит от меня?  
– Ну, что ты! Галка по всему Невскому раззвонила, что ты собираешься женский монастырь создать и стать его настоятелем.  
Девчонки уже пари заключают, кто соблазнит тебя...

-----  
Девочки скучают. Они привыкли к шуму, веселью, авантюрам, ресторанной праздничности, ухаживаниям и интригам, карнавальному разгулу ... – а я им приношу конфеты и простоквашу.

Они как лошадь, мчавшаяся в атаку и вдруг потерявшая седока ... Сраженье все еще кипит, а эта бедная лошадь уныло слоняется по полю, мешая своим и чужим.

-----  
Только что позвонила Мари. Спрашивает, ночью ли я дома. Сказала, что придет Лизу развеселить меня. Интересно, что Лизу она – "присылает"..

## 8

Да, широка натура человеческая, много может она вместить и святости и злодейства, чистоты и грязи.

Во всяком случае, моя натура грязь вместить может, и не просто вместить, а с наслаждением и восторгом.

И вот что странно – я и теперь не раскаиваюсь и, кажется, не осуждаю себя...

Лиза пришла немного хмельная, беспричинно смеялась и явным образом стеснялась меня, отвечала невпопад, да и я чувствовал себя неловко.

Я, впрочем, не знал, собираюсь ли *соблазняться*... Как ни покажется большинству это смешным, но проблема для меня заключалась вовсе не в физиологии, не в том, притягивает ли меня женщина и волнуется ли во мне кровь; и даже не в нравственной плоскости – грешно или нет и позволительно ли согрешить..

Я чувствовал так – если никому не обидно, то и не грех! И что я себе позволить могу – то мне позволительно.

Проблема же для меня состояла вот в чем – в соразмерности, соответственности пестрого круга событий основному музыкальному тону судьбы.

Я смотрел на себя словно на героя некоей музыкальной драмы, и что было художественно оправдано, то было оправдано и во всех других отношениях... Я не жил... я сочинял пьесу, я примерял реплики, положения, поступки, как женщина примеряет перед зеркалом платье, я рассуждал в иных терминах, чем рассуждает

затасканная мораль... вот здесь, кажется, сидит чуть косо, а тут надо бы укоротить и вырезать больше, и надставить сбоку, и рукава длиннее... Безнравственно было только то, что было некрасиво.

Но, кроме художественности, еще и философия предьявляла права на меня, и воистину вместе с Белинским я мог воскликнуть – мы еще не разрешили вопроса о бытии Божьем, а Вы нас сзываете на пир плоти!

Но – Лиза уже пугливо на меня смотрела и, кажется, боялась похмелья без вина и вина.

Нужно было решаться – на дружескую бесплотную холодность, "игру в непонимание и робость" или ...

## 9

### Из письма Лины

Ах, Котик, надо что-то делать, Артемьев определенно сходит с ума. Я не верила слухам, разным сплетням про Асеньку, но теперь я сама убедилась, что все гораздо хуже. В общем, я была у него. Я два дня звонила, телефон молчал, на третий день случайно ехала мимо, решила заскочить.

Подхожу к дому, и тут за мной увязался какой-то цыган, я поднимаюсь по лестнице – он за мной, я побежала, он – тоже. Чуть не описалась, пока звонила, он уже обниматься полез.

Вбегаю к Артемьеву, а там еще хуже! В квартире полно народу, накурено, какие-то полуголые девки, у парней бандитские рожки, а на столе сидит араб в чалме и поварешкой наливает из кастрюли какого-то пойла.

Артемьев бледен и пьян.

– О, как ты кстати, Лина! У тебя появился шанс потерять невинность, сегодня здесь – вертеп, женщины становятся ведьмами – ну, а природной ведьме не грех, наконец, стать женщиной! Парня можешь выбирать любого, хоть – Ахмеда ... Ахмед, тебе Лина нравится?

– Послушай, Артемьев, ты ведь никогда не был хамом, хотя я знала, что в душе ты циник. Отныне я с тобой незнакома, и не приду к тебе больше, пока не попросишь прощения. А теперь проводи меня, а то там цыган какой-то гнался за мной и, наверное, теперь еще на лестнице.

– А вот Тима проводит, а кстати поможет не упустить шанс ...

– Ну и мерзавец же ты, Артемьев! Вот уж не думала, что ты можешь так измениться!

– А все потому, Линочка, что ты меня плохо слушала, а я не раз

говорил, что цельность равна ограниченности, а живой недубелый человек многолик. Теперь то, может быть, я самый подлинный, а до сих пор личина была. Теперь-то я свободен!

И самое удивительное, котенок, что я таки осталась и пробыла до полуночи, и даже напилась пьяной. Все-таки в Артемьеве есть что-то от колдуна, он убеждает не логикой, и как-то сердиться долго на него нельзя.

Мне кажется, он ребенок и только притворяется взрослым, чтобы не выпасть совсем из общества. Но, правда, я все-таки встревожена его поведением. Конечно, я не скажу, что совсем безгрешна, но, во-первых, выпила, и потом, Тима оказался человеком порядочным, в общем, со мною все в порядке и, хотя меня качало, но моя лодка не перевернулась.

Я ушла перед полуночью, меня проводил Тима, а они собирались выбрать ведьму, и вот ведьма должна была раздеться совсем голой... Так что я тебе описывала только цветочки, а ягодки не видала.

Котик, что у тебя с Андрюшей? А я купила новые босоножки с блестками ...

## 10

Было легкое светлое утро. И неужели это утро, это серебристое ясное колечко – начало событий глухих и темных? А я предчувствую, что цепь пошла разматываться и теперь все быстрее и быстрее, и оборвется мучительно и страшно.

Но в то блаженное ясное утро на душе было радостно и легко. Я походил вдоль канала и уже возвращался домой, как вдруг сверкающее видение остановило меня. Так солнечный луч, скользя по закрытым глазам, заставляет их открыться. Стройная молодая девушка, почти девочка, в полупрозрачном платье, вместе и нерешительно и безмятежно стояла посреди площади.

– Не сердитесь, если я покажусь Вам навязчивым, но мне кажется, что Вы ждете меня ... Хотя, может быть, было бы лучше, если бы Вы меня не встретили.

– О, нет, Вы ошиблись, я не жду никого. Я остановилась на мгновение, мне нужно было решить только, в какую сторону пойти ... Пожалуй, я пойду направо ... А вам, вероятно, налево ...Послушайте, но ведь Вы должны были свернуть налево!

– Именно это я и сделал! В начале нашего знакомства я стараюсь слушаться Вас беспрекословно.

– Как же сделали, когда Вы идете со мной?

– Постойте, я сейчас оправдаюсь. Разве Вы не предложили мне пойти налево?

- Да ...
- И в какую же сторону я, по-вашему, свернул?
- Ах, да, это для Вас левая...
- Ну вот, видите! А поскольку уже очевидно, что Вы ждали меня, то я хочу кое-что предложить ...
- Э, нет, так дело не пойдет! Я Вас вовсе не ждала!
- Предлагаю пари – если я докажу вам, что Вы ждали именно меня, то Вы знакомитесь со мною, в противном случае, всегда и на вечные времена покупаю Вам столько мороженого, сколько Вы пожелаете. Согласны?
- Ну, ладно ...
- Тогда идемте скорее! Нас ждут горы мороженого! Мне безразлично, выиграл я или проиграл – в любом случае наш путь лежит в мороженицу. Проигрывая, я иду по *Вашей* воле, выиграв – приглашаю Вас... Хотя – ведь если Вы идете со мною праздновать мой проигрыш, то оказывается, что Вы именно меня дождались, ожидая неведомо чего, а потому, не зная того, ожидали меня, а следовательно, Вы проиграли!
- У меня только один вопрос – Вы меня накормите настоящим мороженым, или Вы мне докажете, что я его ела, хотя бы я его и в глаза не видела? – то есть, что Вы мне предлагаете – мороженое или доказательство?
- Осязаемое, холодное, тающее сладкое мороженое с малиной и черной смородиной!
- Ну, значит, я выиграла мороженое! А жену Вы тоже изводите рассуждениями?
- Она от меня сбежала ...
- Ой, как здорово! Вы на меня не сердитесь, но у Вас, наверное, очень умная жена! Передайте ей от меня привет, пожалуйста!
- Передам, если она вернется. Скажу: одна очаровательная, безумно юная леди просила сказать тебе, что ты будешь дурой, если ко мне вернешься. А кстати, как зовут эту очаровательную леди?
- Наташа ... Но я уже не такая юная. Сегодня мне исполнилось шестнадцать лет.

Дружба не возникает постепенно, она может лишь открываться не сразу.

Хотя бы в тысячной толпе пробирались осужденные на взаимность, они откроют глаза в то единственное мгновенье, когда взгляду их ничто не мешает.

Я думал и убеждался не раз – если в самое первое мгновение ничто не дрогнуло в душе – ничто не заставит ее отозваться позже.

Я уверен был, я почти не беспокоился – рок привел серебристое

видение в одиннадцать часов утра на середину Сенной, и этот рок поведет ее и дальше.

Уже через час мы болтали непринужденно и весело. Я взял ее за руку, а внезапный дождь заставил нас спрятаться в какую-то тесную нишу, где мы, прижавшись друг к другу, дрожали от воды и волнения.

Потом мы гуляли по Летнему саду и расстались в третьем часу, условившись встретиться в шесть.

Мне предстояло весьма прозаическое занятие – купить брюки и, еле втиснувшись в переполненный трамвай, вися на подножке, вдыхая блаженно свежий после дождя воздух, ехал я мимо Михайловского сада, а догоняло меня уже второе колечко крепкой цепи.

На остановке, прыгнув с подножки, попал я в чьи-то твердые объятия.

– Владимир Алексеевич! А я на такси гонюсь за тобою, кричу, кричу, но ты не слышишь ... Куда так мчишься?

– В Гостиный, брюки покупать, – ошеломленно отвечал я.

– Ну, так пошли вместе. Век не был в Гостином.

– Ты давно?

– Третий день.

– Оттуда?

– Оттуда, Владимир Алексеевич! Вчера праздновал в Метрополе ... Просыпаюсь сегодня во втором часу, черт, смотрю: в шкафу – погоны милицейские! Ах ты, блядь, говорю, муж твой жизнью рискует, жулье ловит, на страже народных интересов стоит, а ты государственное имущество расточаешь.

– Какое такое государственное имущество?

– Так твоя же ... теперь тоже государству принадлежит!

Хочет, аж заплакала. Муж в командировке, на коленях просила пожить у нее, пока муж вернется. Ну, посмотри... Вот, мужнино исподнее на меня надела, футболку алжирскую, да жарко в ней, черт возьми!

Пришли в брючный отдел. Затормошил продавщиц, принесли брюк штук двадцать; одну ущипнул и оставил у примерочной.

– Ты, моя хорошая, не спеши! Товарищ штаны снимать и надевать будет, а ты смотри, в каких он тебе больше понравится ... Вот возьми-ка брошечку на память, я тут шел мимо, брошка висит, ну, думаю, захвачу на всякий случай, пригодится кому-нибудь. А кстати, красавица, завтра вечером ты свободна? Что-то ты мне больно нравится начала. Я зайду за тобой, закатимся куда-нибудь. Только, знаешь, я девочек пять лет не видел, так что подумай, может и подругу прихватишь?

... Ну, что, готово?

Пошли в скобяной отдел. Бойкость Иннокентия меня беспокоила, и я попросил его умерить свой буйный нрав.

– Не бойсь, замки-то мне на кой хрен, я запираюсь не собираюсь, просто посмотреть любопытно, нет ли чего нового.

Простояли в отделе минут двадцать, Иннокентий перебрал все замки и ключи, я ревниво следил за каждым его движением и продавщица, скучая, поглядывала на нас.

Двинулись оттуда в ювелирный.

– Один замочек заинтересовал меня, надо его на досуге изучить повнимательнее!

Иннокентий вытащил внушительный замок из кармана и похлопал по стальному боку.

– У ней их много, не обеднеет!

– Ну, приятель, если ты и в ювелирном решил захватить что-нибудь на память, я с тобой дальше не пойду!

– Не бойсь, мне стекляшки сейчас не нужны, да и мелочиться не собираюсь...

Небрежно просмотрев витрины, Иннокентий пальчиком поманил продавщицу, погладил колье на ее шее. – Ты девочка со вкусом! А подвесок к ним нет?

– Нет ...

– Могу уступить за половину, вещь чистая, не от фармазонов.

– Сколько?

– Четыреста пятьдесят ... притом, заметь, с клиентами, особенно такими очаровательными, как ты, я честен до неприличия. И вот доказательство:– Владимир Алексеевич, ты по ошибке положил в карман пару колечек, отдай их девушке!

Я с изумлением вытащил из кармана два колечка.

-----

–... Я теперь на вершине, Владимир Алексеевич, но это предзакатный час. Ты мне нужен. Не можешь ли вечерок уделить?

– Сегодня не смогу, встречаюсь с одной чудесной девочкой...

– А Вероника?

– Она ушла.

– Да ... Ну, приходи завтра в пять к ювелирному, а не сможешь – ищи меня в Метрополе. Ты мне очень нужен. Я еще не знаю, зачем, но чувствую, что встреча наша сегодня не случайна!

Я, может быть, через неделю исчезну совсем, а ты единственный человек, в которого я поверил как в Иисуса Христа – на минуту, да, но минута эта стоит жизни.

## 11

Шесть лет назад... Увы, прошло уже шесть лет! Господи, а я ждал, я думал, что будет жизнь фантастическая и сияющая, что каждый миг будет равен году, что буду их жадно и широко пить и жить в восторге неугасимом...

Шесть лет назад... Душа моя была на перепутье, я ходил и ходил в тесном пространстве, и устал от ходьбы и от темнеющей злобы на жизнь... Я ждал тринадцатого, за четыре месяца следствия судьба столкнула меня с двенадцатью необыкновенными судьбами, и вот, поджав ноги на топчане, я ждал тринадцатого с любопытством и беспокойством.

Оставался час до отбоя. Загремел ключ в железной двери, так часто, так часто вслед за этим раздавался мучительный окрик – "Артемьев, на допрос!", проскрежетала железная кованая дверь и в камеру вошел с узелочком в руках рослый молодец, смесь Ильи-Муромца, Соловья-Разбойника и простодушного Иванушки.

– Ну, ты как следователь уставился! – проворчал он добродушно, а в голубых глазах промелькнуло ледяное пламя.

Два года лагерной жизни выработали подозрительность и готовность вцепиться зубами – но в глубине было столько искренней доверчивости, открытости, беззаботности, что леденящее в голубых глазах казалось нелепым и диким диссонансом ... Понял я позже, что здесь два человека, не широта, не противоречивость души, а вовсе две независимые души, душа безумца заключена в живую и неиспорченную душу ребенка, не умеющую и не понимающую противоборства. Просидели мы вместе неделю, Иннокентий с утра до полуночи заставлял меня рассказывать различные истории, на которые я когда-то был Мастером, и вдруг, уверовав в меня какой-то странной верой, скрестив так же, как я, на топчане ноги, уставившись мутнеющими голубыми глазами, бесцветным болезненным голосом поведал о себе.

### Тринадцатая исповедь.

Вот мне теперь двадцать один год. А поверишь ли, четыре года назад был я таким ребенком, каким и в детском саду не бывают все дети – мамочка мне повязывала шарф, варежки надевала и пальто застегивала, девочек же я не то чтобы стеснялся, а и не понимал, что это – девочки ... Так школу окончил, и в первый раз в жизни выпил шампанского, на выпускном вечере. И не скользил, не катился я по наклонной плоскости, а как-то сразу будто в прорубь ухнул, и вынырнул таким молодцом, которому что Бог, что черт – все едино.

Будто зажмурился я на одну минуту, и понесло, и чем дальше, тем глаза открыть страшнее. Завертелась такая карусель, что и теперь не пойму, не то вправду все было, не то снилось мне. Каждый день пьянки, девки, гульба, а темными вечерами как на глухой дороге с ножом, либо с кастетом в переулочке темном или во дворе проходном. А после на выучку попал, университет прошел, и уже поумнее работал. Чаще в ресторане клиент находился, ну, танцы тут, девочки, вино, базар-вокзал, а после, как клиент поспеет, мы его к девочкам на квартиру везем – да не всегда довозим. Однажды попался такой слонявый, всю дорогу целоваться лез, до того надоел, посадил я его из такси возле Исаакия, еще прохожие кой-где слонялись, а мне уже неважно, хватит, говорю, гад, нацеловался, давай червонцы вытряхивай!

Не верит, целоваться лезет, перышком пощекотал, враз в разум вошел, на колени упал, ноги стал целовать.

А дальше еще пуще понесло, дерзким до беспамятства стал, днем в парадных останавливал, на пляже, на спор, пивной ларек взломал, тут меня и взяли.

Но мне еще восемнадцати не было и замечен еще ни в чем не был. да и родители постарались – так что всего год условно дали, устроился на работу, в секцию самбо ходить стал. И будто не было ничего.

Год так миновал, а встретил одного человека, и завертелась карусель снова, тут уж я в дело с камушками попал, и деньги пошли такие, что мог я на них, казалось мне, и жар-птицу купить, а девочки уж были любые мои.

Да баб презирал я и за людей не считал, и все были одно и то же, мизинчиком поманишь, и уж бежит.

Но стала тоска находить минутами, будто в сердце ножом ударит, вроде как из беспамятства в память прихожу.

Как-то сижу в трамвае, воскресный день жаркий, народ на кладбище едет, я было забылся... Светло, тихо, благодать вокруг, словно по лугу цветущему иду – и так на душе радостно – да вдруг очнулся: а у меня нож в кармане, и я граблю да раздеваю! Аж зубами заскрипел! – и все, мне крышка, назад не вернешься, нож выбросишь, а все что было, все одно при мне останется, не выбросишь.

А вскоре случилось вот что.

Ходил я на *пыльник*, так мы Сашкин сад звали, девочки там на скамеечках сидят и ногами болтают, *пылят*, значит. Приходишь и выбираешь – какую хочешь, ту и берешь с собой, а девочки все молоденькие и свежие, иным и шестнадцати лет нет еще.

И вот, прихожу однажды на пыльник с дружкой одним, две девушки сидят, вроде нас и ожидают.

Ну, бывало, подойдешь, трали-вали, базар-вокзал, она и разомлеет, а тут что-то случилось со мной, встретились взглядами, и будто ножом в сердце ударило, слова сказать не могу, и она молчит.

Так и простояли с час, наверно, я даже имя у нее не спросил, ушел как пьяный.

Назавтра прихожу в это время, она одна сидит, увидела, вскочила, и я образовался, но слов не нахожу все одно, да и не нужны слова вроде.

Так стали мы каждый вечер встречаться, две недели как сон пролетели, а я ни адреса ее, ни фамилии не знаю, руки не коснулся ни разу, к дереву она прислонится, а с смотрю на нее и молчу, только плакать хочется. Это в сентябре я ее встретил, а раз прихожу – нет ее, и назавтра нет, и целую неделю не было, я и ходить перестал, а все дела свои забросил еще как увидел ее, и нож выбросил. И жил с тех пор неясно как, на даче слонялся целыми днями, в город не ехал, пока снег не выпал.

А перед самыми ноябрьскими тот человек опять меня разыскал, и на дело пойти заставил – должен я был ему, или врал он, да черт его знает, я деньги никогда не считал.

Серьезного дела уже не доверял он, в ресторан тоже идти не могу, от пьяных рож воротит, а стали мы с напарником по параднякам шляться. Ну, всё, думаю, последнее дело – и уеду куда-нибудь подальше и в нору забьюсь, будто не было ничего никогда ...

Стоим так у батареи, греемся, на улице снежок тихий падает, я из окошка на Петропавловский шпиль смотрю.

Вдруг дверь грохнула и мимо девушка пробежала, в шубке и шапке меховой, а на лестнице полутемно, и нас в нише вовсе не видно.

Чувствую я отчего-то, что не домой она, хотя уже полночь было. Напарника я внизу оставил, сам повыше поднялся, а она на четвертый этаж зашла.

Так ждем, полчаса прошло, выходит, с другой девчушкой прощается, та дверь захлопнула и наша пташка вниз побежала, я чуть выше третьего этажа жду. Только поравнялась, нож у меня здоровенный был, мужика испугаешь, тихо и не дыши, говорю, жизнь шубки дороже, мама тебе другую купит, срываю шубу, шапку, вниз бросаю, часы, браслет рву, спешу, и тут только взглядом встретился – она, из садика, глаза синие открыла.

И такая тоска и злоба в грудь мне ударила, бить, кусать, по земле кататься и выть хочется, и начал бить я ее, за что, закричал, проклять я? А она глазами синими смотрит и не говорит ничего.

Бросился я бежать, и что было со мной до следующего вечера – не помню, Саул меня нашел, в бардак повел. Это я так прозвал его, а не любил он, чтоб его так называли.

Напился я до полусмерти, а куда ни взгляну, все мне его рожа ухмыляется, сгинь, говорю, рыло, видеть тебя не могу! Ты мою жизнь испоганил.

Ах, ты, говорит, недоносок, да без меня б ты под мамкиным подолом сидел, а не девочек по ресторанам водил!

Ну, взял я его тихонько, о шкаф слегка постукал, ухом об угол попало, рассекло.

– Ну, это тебе полезно, говорю, поганишь людей, так хоть не хвастайся.

Ласковый сразу стал, на мировую пошел, не будем зла, говорит, помнить, ухо мы ему перевязали, и дальше пить стали.

Ушел я из дому совсем, у кореша одного схоронился, ночью лежу без сна и мыслей в голове никаких, пустота одна, а днем возле того дома слоняюсь, думаю – увижу ее в последний раз, и – прощай, белый свет! Жизни совсем не жалко, а даже и вовсе ненавистна мне была жизнь моя!

На пятый день прихожу в садик, к скамейке заветной, сел на нее, и словно снова ее вижу, в глаза синие смотрю, а поднимаю голову – стоит она передо мною, слезы в глазах. Тут – упал я на землю у ног ее и ноги ее обхватил, туфельки целую. Она стоит, не шелохнется, лицо белое. Встал я, смотреть на нее боюсь.

– Прости меня, говорю, если сможешь, и прощай навек ...

Отворотился от нее и пошел, а ноги не идут, слезы горло давят.

Взяла она меня за руку и лицо погладила.

– Несчастный мой, говорит ...

Долго мы на скамейке той просидели и договорились так, что уеду я в Сибирь иль на Дальний Восток, и она ко мне приедет.

И, поверишь ли, хоть не сбылось счастье, а кажется за один этот вечер жизнь простить готов.

Вернулся я к корешу, а там два мента сидят, меня дожидаются. И вспомнил я, что с того вечера, как Саула прибил, нож свой не видел, да а ни к чему мне был он ...

Вот, Владимир Алексеевич, и весь рассказ.

Дали мне десять лет, да того и стою – но Соню, Соню мою я забыть не могут.

-----

На следующий день развели нас. На прощанье Иннокентий посмотрел на меня больным и тусклым взглядом и спросил с болезненной надеждой:

– Владимир Алексеевич, для чего жить на свете? Я в твои слова уверую, скажи только!

А что я мог сказать ему!?

– Не знаю, дружище, да и никто не знает.

– Но ты-то ведь живешь, ты для чего живешь?

– А ни для чего, видно ...

О, врал я, врал! Я знал, уверен был, что жить и вовсе не стоит, но скрыл от него.

## 12

Наташа уже ждала меня, стоя на лестнице первого этажа, наклонив голову через перила, золотистые волосы упали с плеч, прикрывая лицо, и мне захотелось гладить и целовать их, прижаться щекой и закрыть глаза, и не существовать больше.

Я остановился и молчал, и впился взглядом в светлую фигурку, будто в видение... Я вспомнил, что видел сон в тюрьме: девочка смотрит на меня сверху, волосы рассыпались, прикрывая лицо, и падает же сверху золотистый луч солнца и дрожит так, будто колокольчатый смех звенит.

– Вы опаздываете, я уже чуть не ушла. Ну, что будем делать, куда пойдем?

– А хотите, так стоять будем, двести лет, и не пойдем отсюда?!

– Ну, Вы первый устанете, и сбежите от меня. Мне тоже казалось, что мороженое можно есть вечно и никогда не надоест.

– Тогда, знаете что? Давайте ко мне пойдем?

– Ну, нет. Вы сходите один, а я здесь подожду.

– Вы не хотите зайти?

– Нет.

– Почему?

– Так ...

– Вы боитесь?

– Да ...

– А разве Вас не притягивает то, что страшно? Вы ведь любите страшные сказки, необыкновенные истории, рассказы о привидениях? Ведь любите?

– Да.

– Так если не будете рисковать, а всегда избегать опасности, жизнь будет простой и неинтересной. Но – подойти к краю пропасти, заглянуть в нее, почувствовать ее дыхание и жуткий соблазн броситься, закрыв глаза, вниз головой, когда сердце дрожит от сладкой боли как от росы – вот жизнь, достойная того, чтобы о ней помнить. Так Вы идете?

– Не знаю, мне страшно ...

– Но это и хорошо, Вы и должны бояться! Вам ведь шестнадцать лет, Вы мне нравитесь, я Вам тоже, в воображении Вы уже прожили многое, от чего еще далеки, Вы будете пить шампанское и смотреть мне в глаза, а я – я еще не знаю, буду ли пайнкой, или Змием-искусителем, и Вы не знаете, не окажется ли искушение сильнее Вас, устоите ли Вы перед ним, или броситесь в бездну, потеряв голову ...

– Нет, я не пойду, я боюсь Вас!

– Наташа, теперь Вы у входа в подземелье, как Аладдин. Что там ждет Вас? Пустота? Безобразное чудовище, которое Вас погубит, или сияющие сокровища? Вы можете толкнуть дверь, перешагнуть порог и – узнать! Или остановиться, бежать, отказаться, и никогда не узнать, от чего отказались, идти безопасной широкой дорогой, на которой никогда ничего не совершится непредвиденного. И помните, Вы выбираете жизнь.

– Теперь я уже не сомневаюсь в том, что Вы меня погубите, но – я иду.

Наташа дрожала и голос ее прерывался. В прихожей я обнял ее и поцеловал, она затаила дыхание.

– Открой же глаза, очаровательная пленница. Чудовищ еще не видно, сокровищ пока тоже, но, может быть, не сказаны еще волшебные слова?

И в этот миг зазвонил телефон.

– Володичка, весь день звоним тебе, тут один человек приглашает в ресторан всю компанию, приезжай к восьми, мы тебя встретим. Ну, это Лизкин приятель, она с ним давно не встречалась ... Я плохо знаю его, она не говорит. Ты будь с ним осторожен.

– Но, видишь ли, я не один, со мною девушка, еще подросток... Если ты обещаешь быть ее телохранителем ... Хорошо, мы придем.

– Наташа, нас приглашают в ресторан.

– В этом платье? И в босоножках?

– Ты помнишь сказку о Золушке?

– Да.

– Иди в спальню и превращайся в принцессу. В шкафу ты найдешь все, что хочешь, а после оденешь это ожерелье.

Лицо ее побледнело и глаза загорелись. Господи, какая женщина в шестнадцать лет откажется от воплощения мечты, с которой она засыпает каждый вечер, от волшебного сна, обратившегося в реальность?

Через полчаса передо мною явилась принцесса из сказки, фея, о которой я грезил когда-то, когда был жив.

И – был бал.

Господи, и это было всего лишь несколько часов назад!

Наташа еще спит, в бальном платье и в туфельках.

Я оставлю ей ключ. В пять часов у меня встреча с Иннокентием, а в десять – продолжение бала.

Мне страшно.

Я не стыжусь признаться в этом, я, воспитывавший волю к смерти.

Но – роковое влечет, и уклоняться не смею ...

Наташа была счастлива, о, она была ребенок, играющий женщину! Пустые лица блестящим роem окружили ее, увлекли, вскружили вниманием и комплиментами, и звонкий смех ее звенел колокольчиком весь вечер.

Я как будто начинал тяготить ее, и она подчеркнуто меня уклонялась.

Мари пила так же много, как и я, и была деланно весела.

– Наташа, Наташа ... не забывай ее! – шепнул я, передавая ей бокал.

"Загадочный человек" подошел знакомиться, Лиза дрожала, улыбаясь, с ним неотлучно "Два Джека" с пустым взглядом и мускулистым лицом.

– Размах у Вас Царский! И если Вы не царь еще, то сегодня венчаетесь на царство.

Тон мой был холодным, и загадочный человек взглянул мрачно.

– Да, Вы правы, и я прошу вас, хотя мы еще мало знакомы, хотя бы в малой степени порадоваться за меня.

– Я пью за счастье Ваших подданных, "Ваше Величество"! – невольно я взглянул на Лизу и, перехватив мой взгляд, самозванный царь взглянул почти с откровенной ненавистью.

– Желаю повеселиться! – коротко бросил он и отошел.

Теперь он с Наташей. Ей льстит "королевское внимание", успех вскружил ей голову, лишил осторожности, рабы и угодники окружают их пестрой свитой и, кажется, она уж слишком много выпила шампанского.

Надо немедленно увозить ее!

... Лиза – молодец! Как великолепно разыграла она сцену ревности!

Слава Богу, вчера все окончилось благополучно! А нужно ли ехать сегодня? Быть может, благоразумнее бежать, не искушать судьбу и спасти Наташу?

Только будет ли она спасена? Разве человек не внутри себя несет свое спасение или гибель?

... Пора собираться к Иннокентию ...

... Ах, дитя, дитя, я поцелую тебя спящую!

Всю ночь шла гроза, и воздух душен сегодня, гроза будет снова. Что-то вчера задело мое внимание, что-то страшно важное, имеющее роковое значение.

... Наташа улыбнулась блаженно.

Чей поцелуй ей приснился? ...

Все не могу оторваться от этих записок, будто не суждено к ним вернуться снова.

Я чувствую, развязка близка. ...

К Иннокентию!

P.S. Если ждет меня гибель ...

Мари стояла передо мной на коленях.

– Скажи только слово, я пойду за тобою, я стану другой!

– Разве я осудил тебя, ту, которая есть?

– Но ты должен увести меня отсюда, в другой, сияющий мир!

Позови меня, обмани наконец, обещай и не исполни, обмани меня, умоляю тебя!

– Но куда мне вести тебя?

– За собою! Немного, а после бросишь, я не упрекну, я не имею права на упреки, я только умоляю!

Я ничего не отвечал.

Куда мне вести ее ? Куда я иду? Я хочу умереть!

Вчера мне вдруг на минуту стало плохо, я перестал чувствовать тело. Неужели "это" возвращается?

Самозванец проходил мимо. Я протянул ему бокал.

– Павел Петрович, не откажите в услуге!

– ?

– Прикажите "Двум Джекам" прирезать меня в подворотне!

– Не следует спешить, дорогой! Судьбу не торопят!

... В грязной подворотне, и дождь скатывается за шиворот. Это моя судьба?

### 13

#### Бред

Артемьев и Наташа приехали в половине одиннадцатого, Павел Петрович нервничал, ядовито-удовлетворенная улыбка, как показалось Артемьеву, проскользнула по его губам. Лиза выглядела подавленной и побитой, от бывшей детской непосредственности не осталось и следа, слишком бросалась в глаза ее покорность побитой собаки. Испуганно взглянув на Артемьева, она отвернулась, и в продолжении вечера отводила глаза.

Мгновенные ощущения потери тела все чаще заставляли холодеть сердце Владимира Алексеевича.

"Я заболеваю, о, как некстати! Вот чего я боялся днем. Это было предчувствие."

Бал, казалось, не прерывался, и теперь только достиг полной силы, будто зажгли больше света, и музыканты заиграли громче. А музыка гремела, как гроза за окнами. Вежливые официанты разносили бокалы с шампанским, водку, апельсиновый сок, бутерброды с икрой и семгой. Наташа блистала ярче всех, она танцевала беспрерывно, и счастливая улыбка не сходила с ее губ. Она была в центре блестящего зала, блестящие нити, казалось, протягивались от нее во все стороны, вспыхивали и гасли возле Артемьева.

Артемьев видел призрачно. Время и события прерывались. Судорога прошла по его бледному лицу.

... Иннокентий ... ты должен быть ... ты ...

Пространство сжималось. Чья-то дрожащая рука поддержала его, прерывистый всхлип покрыл мутнеющее сознание ...

Музыка гремела еще громче. Пары пролетали за парами, вальс сменялся твистом, нежные прикосновения – зажигающими объятиями, взгляды говорили и трогали. Бал разгорался еще ярче. Но – сжался мир до размера свечи. Огонек горел неровно, иногда вспыхивал, опадал, и звуки тонули в шуме, и вдруг погас, как будто дверь захлопнулась. Долгая, долгая наступила тишина.

-----

Небытие порвалось подобно туго натянутой цепи. Мучительно обостренный слух улавливал самые ничтожные звуки; шепот, похожий на шипение ядовитой змеи, бил, казалось, прямо по сердцу.

– Не бойся, пташка не улетит, я рассчитал все точно. А ты сиди и будь начеку, перепадет и тебе на десерт.

Павел Петрович вернулся в гостиную. Наташа стояла у стола, с ужасом глядя в угол, в котором, накрытый ковром, лежал неподвижный Артемьев.

– Наташенька, мой котенок, садись на диван, дай мне свои сладкие пальчики!

– Не подходите ко мне, я Вас боюсь!

– Ах, девочка, страх только добавляет очарования... Ты нежна, ты дрожишь, как пугливая козочка – это так естественно! И еще сильнее притягивает, ты еще желаннее...

– Не прикасайтесь ко мне, Вы мне противны!

– Ах, вот ты как! А когда я нашептывал тебе на ушко нежные слова, ты млела, ты моргала ресницами, ты порхала в танцах из одних мужских рук в другие, и они все, и я, касались твоего тела – тебе не было противно? Ты лакала шампанское как девка, ты прижималась к

взглядам, которыми тебя раздевали – тебе не было противно? Или, думаешь, всех покорила твоя возвышенная душа? Да кому она нужна? То, что под этим платьем – вот что привлекало взоры, вот что наполняло их слова умилением. Но они – рабы, а я – царь, и я увижу твое нежное тело, и сомну его в своих руках.

– Да, я была дура, и я опьянела – и от вина, и от восторга. Я всему верила, я жила как в сказке, я вообразила себя Золушкой, я поверила, поверила в сказку, мне хотелось плакать от счастья, меня встретит принц, поведет в волшебную сверкающую страну, я стану принцессой... Я так часто видела это ... Я знала, что это мечта, что мечты не сбываются, а дома пьяный отчим, мама плачет... Вот, скоро вырасту, принц явится, возьмет меня за руку... Владимир Алексеевич сказал, что я толкну дверь и попаду в волшебную страну ... и я всему верила, мне говорили – пей шампанское, и я пила, я думала, что так надо ... Мне было так хорошо!

– Ну, хватит, кончай эти нюни, теперь тебе станет еще лучше!

– Не прикасайся ко мне, ты омерзитель!

– Ну, полно, полно! Ты смущаешься, это похвально. Раздевайся сама, мне это доставит еще большее удовольствие. Жаль, твой Владимир Алексеевич пьян как пес, он даже не сможет не тебя полюбоваться голую. Ну ничего, у него все удовольствия впереди, я Вас оставлю после одних. Так раздевайся же!

– Ты чудовище! Я буду кричать!

– Кричи, малютка, кричи! А кстати, ты не заметила, как со мною мент разговаривал сегодня – ну, милиционер, по-вашему?... Так вот, я ему плачу втрое больше, чем ему платит государство, и могу сам его вызвать, если хочешь. Ты поедешь, моя милая, не к милой мамочке, нет, тебя отвезут в отделение, и я готов заложить собственную голову, что туда ты приедешь уже далеко не невинной, поверь мне, малютка! Ну, отсидишь пятнадцать суток, авось опять сюда приедешь, твоя подруга Лиза мастерица на эти дела, она тебя научит. Так что выбирай! Останешься здесь – никто ничего и не узнает, всего-то навсего заплатишь за вечер, который доставил тебе столько удовольствия, небольшим удовольствием ближнему своему. Тебя ведь учили в школе, что за все надо платить?

– Негодяй, выпусти меня!

– Ах, ты еще дергаться вздумала?!

Павел Петрович с силой швырнул ее на диван, Наташа ударилась о спинку его и застонала.

– Тебе больно, пташечка моя? Я бы мог быть нежным, но прояви же и ты благоразумие, наконец! Неужели ты не понимаешь, что самое умное в твоём положении – это разрыдаться от сознания бессилия и уступить силе?! Поплачь же, моя девочка, не ты первая, мне даже

будет жаль тебя, слезы примирят тебя с собою, ну что же делать, ты ошиблась; ты расплачиваешься за ошибку, все значительное в этом мире исторгает слезы и крик.

Презирай же меня, плачь от обиды и возмущения, а я обещаю тебе, что буду с тобой деликатен, я уважаю слезы.

– Не подходи, мерзавец, я буду кричать, кусаться, ты ничего со мною не сделаешь! Володя, Володечка, очнись! – закричала она.

"Мне важно сломать ее волю, черт возьми, а не просто овладеть ею силой, – проворчал Павел Петрович сквозь зубы.

– погоди, видишь, я отошел от тебя, сядь же, успокойся, я скажу тебе что-то важное. Слушай же! Помнишь – последний бокал, который мы пили за любовь, показался тебе горьким?

А сейчас прислушайся к себе – ты не чувствуешь ли, что тело твое становится чужим, непослушным, наступает слабость, желание лечь? Ты не догадываешься, что это значит?

О нет, это не снотворное, моя малютка, это хуже, увы, это хуже! Сначала в течение примерно получаса ты будешь в состоянии некоего расслабления и равнодушия, потом, напротив, станешь слишком веселой и будешь хохотать неудержимо. Поверь мне, моя дорогая, через десять минут у тебя пропадет всякая охота сопротивляться.

Если ты образумишься, я буду с тобой нежен как с возлюбленной, а после отъезду домой. А будешь буяннить, я умываю руки, и пусть "Два Джека" поучит тебя любви и покорности – клянусь, он это умеет делать еще лучше, чем я. Подумай же хорошенько!

– Боже мой, что мне делать, что делать?! Володичка, миленький, Володичка, очнись же! Володичка, ну посмотри же, что с твоей Наташкой делается! Володичка! ... Ах! – вскрикнула она и упала на диван – в темном углу стоял Артемьев.

– Стойте! – произнес он. Голос звучал так безжизненно глухо, что все замерли, и "Два Джека" остановился в невольном страхе в дверях.

– Я скажу тебе, Наташа, как ты можешь спастись, скажу ... – Артемьев дрожал, и голос его прерывался.

– Как? Володичка, милый, спаси меня, спаси!

– Ты можешь спастись сама. Ты близко от окна, ближе всех, спасение рядом с тобою.

– Умереть? Мне броситься в окно? Умереть?

– О, рабы! Как Вы цепляетесь за жизнь! Любою ценою, хотя бы бесчестия – жить, жить, даже валяясь в грязи! Наташа! ...

Она смотрела на него изумленно... улыбаясь... слезинка медленно катилась по щеке.

– Всего два вечера ... я посмеялась... Конечно, это так много! Но может быть Вы правы, я уже многое узнала, я уже встретила моего принца, я уже была принцессой.

А как страшно в шестнадцать лет умирать, как страшно, как не хочется, как хочется еще ходить под дождем, есть мороженое, смотреть на луну... Но Вы правы, мой принц, Вы правы...

Наташа подвигалась к окну, ее поднятая рука дрожала, дрожал голос, рыдания поднимались снизу...

Артемьев почувствовал, что еще мгновение – все оборвется разом, ее рука тянулась к оконной раме, рыдание рывком рванет хрупкое нежное тело из непрочной рамы жизни.

– Наташа, стой! Ответь мне, зачем ты пришла сюда, к этой нечистоплотной твари?

Павел Петрович судорожно вцепился в стол, он растерялся, окно не входило в его планы.

– ... разве не удержало тебя чистое сердце, разве не хранило оно тебя? Как смела ты пойти за ним, доверчиво обнимать его в танце, смеяться на его масляные речи?

– Я не за ним... мне сказали, что тебе очень плохо, что ты зовешь меня... и я пришла ... спасти... пришла, чтобы ты меня покинул ... – Наташа отвечала как будто издалека.

– Но было, было мгновение, когда ты увлеклась им, когда ты могла бы пойти за ним? Было? Отвечай! – Артемьев кричал.

– Не знаю, я закружилась, у меня голова закружилась, мне казалось, что все так милы, все восхищались мною... Но даже не в этом дело. Я улыбалась ему, потому что ... мне хотелось досадить тебе... потому что... Но может быть, было и такое мгновение, когда мне показалось, что он необыкновенный, может быть... Но я бы не пошла за ним, не пошла... Но все-равно, я хочу... хочу ... умереть... я... – и она взялась за раму.

– Боже мой, Боже мой! Как тяжело, как я жесток! – проговорил Артемьев. – Наташа, Наташа ... Не надо!

У тебя будет луна, мороженое, горы мороженого, ты еще будешь счастлива и, может быть, забудешь сегодняшний кошмар, – речь Артемьева была все так же отрывистой и глухой.

– Сегодня тебя предали все – и Лиза, в которой ты видела сестру, и которая обманула тебя, и Мари, которая не стерегла тебя как свое дитя, и я – о, я-то пуще всех! Лишь эти двое были все время верны себе! А я кичился своим равнодушием к жизни, я гордился, что волю к жизни преодолел – но гордость свою не преодолел.

Сильнее воли к жизни была во мне гордость, и я упивался ею. Равнодушен я оказался к жизни других прежде всего ... Стой, раб, не ищи смерти, жизнь твоя и так истекает! – вскричал Артемьев.

– Выслушайте же меня, любопытные вещи должен я сообщить вам, да, весьма любопытные вещи, любопытней всего, что снилось вам до сих пор! Боюсь, что и сны ваши истекают тоже.

Я болен, смертельно болен, не бойтесь умереть и вы, мне ведь тоже не долго... только Наташа будет жить и радоваться жизни, только она чиста.

О, если бы я мог преодолеть этот кошмар душевной силой, нравственным превосходством! Я не спас тебя, Наташа, ты обязана лишь себе! Иди же домой, тебя больше не посмеют задерживать.

– А вы? Владимир Алексеевич, пойдите со мной!

– Нет, я останусь, я должен остаться, мне нужно кое-что передать этим насекомым...

– Владимир Алексеевич, я останусь с тобой, я не могу тебя бросить, Владимир Алексеевич, пойдём со мною!

– И ты меня простишь?

– Мне будет еще больнее, если я Вас винить буду, Вы больны, мне очень жаль вас...

– Пусть она уходит! – хрипло закричал Павел Петрович, а ты останешься здесь навсегда!

– Не спеши, Саул, судьбу ведь не торопят. Тебе необходимо внимательно слушать меня! Очень внимательно, так же внимательно, как и Джеку. А ты, первобытное чудовище, разве ты не знал имя своего хозяина? Смотри же на мою грудь! – и Артемьев распахнул рубашку – Смотри! Я сказал уже, что болен, а в припадке болезни становлюсь почти труп, неподвижный и нечувствительный к боли. Временами лишь сознание возвращается ко мне и опять покидает.

Хотел ли Саул удостовериться в том, что я не смогу помешать ему, или просто явилась ему дикая фантазия оставить свой автограф, но он выжег мне на груди букву "С".

Быть может, это и погубило тебя, Саул, и сознание медленно стало возвращаться ко мне. Ну, что же, я не останусь в долгу перед тобою, я научу тебя лаять и визжать по собачьи. Ты слышал о лунатиках, Саул? Ты знаешь, что они способны пройти по карнизу шириною в ладонь на высоте пятнадцатого этажа? Моя болезнь сходна с лунатизмом. Когда жизнь возвращается в бесчувственное тело, наступает состояние невиданного прилива жизненных сил. Однажды я осознал себя в глубокой грусти расхаживающим по балконной решетке.

Саул, ты не забыл еще, что боль – великий учитель, подойди ко мне ближе, я хочу проверить, так ли болит твое рассеченное ухо?

При этих словах Саул, взревев, прыгнул вперед, нож тускло блеснул в руке. Артемьев, слегка отклонившись в сторону, поймал кисть его руки на взлете, чуть повернул и нажал кверху. Саул согнулся, развернувшись спиной, второю рукой Артемьев ухватил его за ухо.

– Джек, стой на месте, если не хочешь залаять с ним рядом. Смотри!

Саул завыл. Упитанное тело недавнего царя, подчиняясь нечеловеческой силе, рухнуло на колени.

– Лай, ублюдок, пока я не сломал твою руку! – закричал Артемьев.

Дикие, похожие на кашель и мычание, раздались звуки. "Два Джека" рванул дверь, но страшный удар ногою настиг его, он упал, изо рта побежала кровь.

Артемьев отступил на два шага, встав рядом с Наташей.

– Саул, слушай меня внимательнее, чем прежде. Твой воспитанник, Иннокентий, просил передать тебе, чтобы ты готовился к смерти. Через три дня назначены похороны, я должен передать тебе вот этот шнурок. Иннокентий советует тебе удавиться. Но прежде ты должен убить Джека, Саул.

– Зачем? – прохрипел Павел Петрович.

– Иннокентий приговорил Вас обоих, но Джека ты убьешь сам.

Полтора года назад умер в Краслаге Прохоров, Иннокентий слышал его последние слова.

Да, он подтвердил, что убил твоего брата, но он был не один.

– Он приказал мне, приказал, он приказал! – закричал "Два Джека".

– Но это не все, Саул! И лучше бы было тебе не знать всего.

– Лиза?! – прохрипел Павел Петрович.

– Да. Прохоров не был ее отцом... Прощай, Саул.

Наташа, идем отсюда. Не оглядывайся, не запоминай... Эта ночь приснилась тебе, и я приснился тоже. Я провожу тебя до Сенной, до того места, где встретились мы, и мы простимся с тобою.

-----

Возможно, все было так. Быть может, это только бред. Артемьев долго болел, бредил. Поправившись, он не мог вспомнить событий, предшествовавших болезни. Последнее яркое воспоминание – простодушный ребенок посреди площади и слова: Мне кажется, Вы ждете меня, но может быть было бы лучше, если бы Вы меня не ждали.

1974 г. Ночь на 6-е августа, Дорога на Краслаг.

## ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА

**З**а стариком Лукиным, Иваном Яковлевичем, пришла смерть.

Не то спал он, не то в забытьи был – нет, снов не было, и памяти о прошедшем дне тоже, значит, провалился он в забытье, а очнувшись, не мог понять и сообразить, что делал с утра, и какой день сегодня. Вроде бы пятница... В маленькое окошко в сених засматривалось солнце, стало быть, день истекает, а в доме тихо и так пусто, словно теперь он не вполне в том самом мире, в котором был с утра.

В углу стояла старуха с косою – смерть. Говорили, будто смотреть на нее человеку нельзя, будто она пугает даже не видом своим, не сознанием, что жизнь кончена, а невыразимо пугает – пугает страхом провала, опрокидывается неподвижность пространства и ровное течение времени и срывается в бездну душа.

Страшнее всего смотреть ей в глаза. Взгляд не удерживается ответным взором, за зрачками у нее ничего нет, даже угрозы, там – бесконечность, которую можем вообразить мы в пространстве, глядя на звездное небо, но бесконечность, обрушившаяся вниз. Старик Лукин поднял глаза и усмехнулся.

Он засматривался уже в пустые зрачки, он мучительную истому падения пережил уже в сорок третьем, стоя в подштаниках у белой стены сарая и втекая мыслью и взглядом в короткое дуло парабеллума, медленно перемещающееся в плоскости, перпендикулярной земле. Некогда и неуместно было вспоминать прошлую жизнь или прощаться с нею, к тому же и в эту половину секунды время было насыщено до предела, и Лукин жил бездной настоящего, сделал целью его или фокусом мгновение, когда линия взгляда совпадет с осью ствола. Он выпил до капельки это мгновение, он заглянул внутрь смертоносного ложа и увидел кончик жала. И раскрыл ему свое сердце, и замедлил время так, что миллиметр за миллиметром следил движение пули в мягком теле.

Взгляд его был крепок и прям, и точен как молния, и ствол парабеллума дрогнул нервно, ввинчивая огонь по краю легкого.

Старик Лукин упал легко. Впрочем, тогда он был не старик, а рядовой 317-го пехотного полка, и утром еще бежал вместе со всеми в атаку, а в середине дня атака его кончилась у побеленной известковой стены.

... Ночью услышал он русскую речь и звуки гармошки, и застонал громко... если бы знал, как тяжело и долго еще бежать!

Иван Яковлевич оглядел низкую каморку, и грязную постель, столик у окна с недопитой бутылкой, и сел на кровати, без страха и суеты раздумывая о случившемся. Был он в нательном, босиком, штаны и рубаха висели на стуле рядом.

– Ты, это, вот что, погоди малость, я штаны хоть одену...

– На вечеринку, что ль, собираешься? – засмеялась старуха беззубым ртом. – Тамо-тко остатнее съмешь, да и кости перепреют, не то что штаны!

– Когда еще перепреют, а мне теперь в срамном виде идти? Да и ты, все ж, хоть карга старая, а баба... Горячку не пори, суеты при родах да и в жизни хватало, так хоть в смерти б без суеты... Опоздаю я куда, иль ждут меня?

– Ждут, не ждут, а срок твой истек! Вот, посмотри, в книге судьбы число обведено красным, сегодня пятница, тринадцатое число, твой день!

Старуха сунула ему под нос потрепанную книгу.

– Ты сдурела, аль что ль? – рассердился старик. – Человек умирает, а она красным обводит!..

– То для тебя – горе, а мне-то – праздник!

– Ну и что с того? Судьба моя, а не твоя, и нехрен в ней без спросу карандашом чиркать! Тоже – праздник нашла!

Старик схватил книгу и раскрыл ее.

Переплет был надорван, страницы захватаны, а иные чем-то залиты, и напоминали грязную скатерть после гулянки.

– Да, мало было благообразия в моей судьбе, будто всю жизнь трёсся в поездах, да ночевал на вокзалах... – с грустью сказал старик, возвращая книгу.

– Ишь ты, о благообразии вспомнил! Вином позаливал всю, аж в руках противно держать!

– А ты меня судить еще вздумала? Там судей без тебе найдется, а ты свое дело сполный да помалкивай! Люди вон в грязь по уши влазят и не морщатся, а ты от вина нос заворотила, ровно и моя баба. Той, вот тоже, пусть хоть антихрист, лишь бы непьющий.

Продолжая ворчать, старик одел штаны и рубаху, а на ноги вытащил из-под кровати берестяные лапти, в которых ходил на покос.

– Пяткам больно, стер вчерась, – объяснил виновато. – Ежели ты мучить не будешь, то от себя зачем терпеть? Пройду уж в последний раз с удобством! Будто бы и все равно, как пройти, коль в последний раз, а все же самое последнее всегда больше помнится, как и самое первое.

Бросив взгляд на подоконник, старик увидел недопитую бутылку и огурец и подошел неуверенно к окну.

– Выпить, что ль, на посошок? Чтоб добро не пропадало? Старуха все одно не пьет, а на поминки, поди, самогонки наварят?..

– Да ты совсем сдурел, старый?! Помер, никак, от водки, и опять к ней тянешься... Нашел добро!

Но старик уже налил в стакан, понюхал огурец, крикнул, судорожно как-то плеснул жидкость в рот, поперхнулся и закашлялся.

– Чтой-то хужей идти стала... Это ты, карга старая, под руку глядишь... Но и то – ожил маленько... Ну, что ж, пошли! Теперь мне и с тобой не так скучно будет.

– Ты куда бутылку тянешь, а ну поставь! – завизжала старуха и замахнулась косою. – Я тебя живо окорочу, не оживешь больше!

Старик остановился, взгляд его помрачнел.

– Ты вот что, власть-то не превышай! На том свете махай сколь хочешь, а у меня в доме – нишкни! Ты еще не хозяйка надо мной.

– Как же не хозяйка, когда за тобой пришла?

– Придти-то пришла... да куда ведешь-то?

– На тот свет и веду!

– Вот то-то! Значит теперь покуда я на этом свете, а не на том, вроде как на переходном этапе... А еще дойдем ли – не поручусь! Я, матушка моя, много этапов прошел, и коротких ни разу не было. И так сколь живу, все один этап переходный, а не жизнь получается.

И сколь же за мной всякой пакости приходило! В колхозе, бывало, еще ночь на дворе, в окно бригадир стучит – вставай, вставай!

На фронте, только заснешь – в атаку поднимают...

В тюрьме надзиратель ключами в дверь железную громыхнет – на допрос собирайся! – да все по ночам...

В зоне по рельсине побудку стучат, как по голове будто... И вот в первый раз заснул сладко и что-то сладкое сниться стало – так сама смерть разбудить пришла!

Ангела б какого-никакого прислали за мной, неужели не заслужил напоследок хоть этой чести, коль всю жизнь Господь Бог только и делал, что шпынял меня?

– О Господе поостерегись выражаться срамотно! – раздался суровый голос, и Иван Яковлевич узрел в другом углу, под старой осыпавшейся иконой, строгого благообразного старца с большой седой бородой.

– А ты кто таков, что стращаешь меня?

– Я апостол Петр!

– Ну, пофартило мне, полного генерала за мной послали, не иначе, как показательным судом судить будут!

– Ты, старик, и так-то грешник, ада не минешь, а богохульством еще пуще вину свою утяжелишь.

– Ах, Господи, как знакомо все это! Гражданин начальник, не в рай ли пришел приглашать меня? Так рая твоего не надо мне, хоть оно, положим, и в ад не хочу напрашиваться. Дали бы вы мне покою, а больше ничего от вас не прошу. Сладостей каких-либо и наград за жизнь горькую, посмертных, так сказать, благодарностей не нужно мне, при жизни, гражданин начальник, от обещаний устал – дескать, потерпи пока, потом все будет...

А я рассуждал вопрекор обещателям. Жевать я хотел, пока зубы были, а как повыбиты все, то что уж теперь предлагать? Положите вы меня где на пригорочке, при ясном солнышке, и оставьте в покое. Кому там зубы бейте, кому еще не повыбили, кого манной кашей кормите, кто еще вкуса не потерял – а мне уже ничего не надо, ни того, ни другого.

– Ну, ладно, хватит разводить агитацию! Я бы тебя за твои речи давно упек, куда надо, да есть еще у нас мягкотелые... Я к тебе по делу прислан, с поручением, мне надо сказать тебе кое-что, слушай-ка!

Значит так... вот ежели теперь, когда на тот свет не дошел, скажешь – хоть вслух, хоть про себя – только два слова: "Каюсь и верую!", только два этих слова и ничего больше – то все грехи твои, все до единого, враз прощены будут, и ты в рай попадешь.

А коль не скажешь слов этих, то уже никто не спасет тебя, и будешь во веки вечные кипеть в смоле и сере!

– Так что же, выходит, что я мог всю жизнь грешить, подлостей натворить, сколько в силах, и мне все скостят? Вроде полной амнистии получается? Ну, и вправду везет мне! В пятьдесят третьем под амнистию попал, и сейчас опять подгадываю – хотя, если толком разобраться, амнистий я не заслужил. Прощать виноватых надо, а на мне какая вина?

Тогда в ад сунули не знамо за что, потом смилостивились, ослобонили, и теперь не ведаю, за какие грехи смолой пужаете – но опять же – ручку поцелую – не буду в смоле гореть! Что земная власть, что небесная – одной только покорности и требуете, а и любви тоже только через лютость и покорность!

– Потому что человек не знает, что хорошо и что плохо, а потому должен покоряться и слушаться знающих!

– Во-во! У вас только покорные да молчаливые, своему уму и собственной душе не доверяющие, в праведниках и ходят! Ну, допустим, я козявочка супротив апостолов, а тем паче самого Господа Бога! Да я ведь и не лезу других учить, я всю жизнь козявочкой и ощущал себя!

Но для Господа то кто же я? Раб дрожащий, али сын возлюбленный?

Вот, возьмем семью... В одной родитель крут, и поленом чадо свое учит – о благе его забояясь... А в другой не принуждением отец сыну путь показывает, а сам живет праведно и тем научает любви его.

Или, пуще того, собаку возьмем...

Уж сколько выше ее человек, но разве он подходит к ней только с угрозой? Ты, мол, тварь такая, от одного сознания моего превосходства стой передо мною на задних лапках и хвостиком вилай?!..

Нет, приласкает и собаку хороший хозяин!

Так отчего же, к примеру, и я ко всякой твари с лаской подхожу, воробышка сапогом не шваркну, а Господь меня только лютостью страшает?

И что же тогда такое – любовь Его? Нет, такого Отца небесного мне не надо, в ужас, конечно, ввести меня Он может – но неужто за это любить и умиляться?

Да и за какие грехи особенные лютовать со мной? Я ли не был смирен, я ли шел супротив судьбы и власти?

В двадцать восьмом поехали мы с Веней Сапеловым после семилетки в Обинск, учиться. Но на третий месяц не выдержал я голодухи, домой убег, полтораста километров за два дня пробежал... А Веня остался, в большие люди вышел...

Через сорок с лишком лет повстречались мы, заходил я к нему в гости, когда к сыну ездил. Морда толстая, пузо в дверь не проходит... Но, вообще-то, мужик ничего, не заносистый.

Выпить купил он что-то такое, чем запивать сподручней было бы. Ладно... Сели за стол мы... Баба его кричит – врача вызывать не буду, подыхай! – дверью шарахнула, и в другой комнате стала чем-то гремять. Взяли мы два стакана, горбушку хлеба, пошли во двор, магазин там напротив. Ну, посадели на скамеечке, народ ничего, кагультурный, не цеплялся никто.

– Эх! – Венька говорит, – зря я с тобой тогда не убежал!

Женился б на Нюрке-попрыгунье, может, хоть капелька счастья и мне бы перепала! Не зря говорят, что нет хуже, чем из грязи да в князи!

Вот ведь – не я ему завидовал, а он мне...

В тридцать четвертом поехал я строить город на Дальний Восток. Опять же надолго не хватило меня... Но и не первым побег я – а бежал через всю Сибирь – дорожка впереди уже была косточками устелена...

Однажды был случай – не ел я уже дней несколько, озноб бил и ноги не держали; забрел в одну избу, а там как раз поросенка кормили из корыта... Разве я упрекал Тебя, Господи?

В пятьдесят первом, в декабре, был лагерный шмон, восемь часов на морозе шмонали... Ну, в сердцах заругался я – и в Бога, и в душу, и в мать! Рядом Лешка-сектант стоял... и говорит он мне:

– Что ж ты, мил человек, за добро ругаешься?

– Какое ж добро, когда околеваю?

– А я вот, – говорит, – каждое утро Богу молитву возношу, что ээком меня сделал, а не конвойным. По настоящему-то палач должен Бога проклинать, а не жертва. Ну вот ты, если б счас предложили из этого ряда в тот перейти – перешел бы? Ну?

– Нет! – отвечаю.

– Так возблагодари тогда Бога, что сподобил тебя Он не гонителем быть, а гонимым.

И так душу мою слово это пронзило, что и сказал я: "Слава Тебе, Господи, что я зло терплю, а не через меня терпят!"

И в того Бога, о котором я думал, что Он меня Добру учит, я верил. А в того, который унижает меня и смолой горючей грозит – не верую!

Не умею я любить через страх, и страх не люблю – может, потому, что в страхе всю жизнь прожил.

Вот вспоминаю я учителя своего, школьных годов... Пришел он к нам раз пьяненький и говорит – не любите вы меня!

– Любим! – отвечаем.

– Да как же любите, когда не слушаетесь меня вовсе?

– Дак потому что не трепещем! А ежели б трепетали, то слушались бы – но навряд ли любили!

– Эх, ребятки, правду вы говорите! – заплакал он даже. – Нет во мне твердости, но зато об меня, как об камень, не ушибется никто, и Бог с ней, с твердостью!

Вот и Тебе, Господи, не грех поучиться б у учителя этого! Ты запугал нас – так какой же любви теперь требуешь?

– Человек, как смеешь ты Господа судить, когда теперь предстанешь перед судом Его? – возвысил голос апостол Петр. – Не оттого ли ты против Него восстаешь, что жил в скверне и заповеди Его нарушал?

– Да, преступал я заповеди, и не единожды. А привелись вдругорядь жить, и снова б переступил. Потому что я хотел человеком остаться, а не Богу угодить.

Я и убивал, и лгал, и прелюбодействовал.

Но убивал я только тех, кто пришел убить меня и моих близких. И ты знаешь, каково это нам было, какую корысть мы имели с этого.

А о прелюбодействе у Ефросиньи дознайся – согласна она повиниться за те ошметочки счастья, что на ее долю выпали – то и я повинюсь!

Старик закашлялся, поискал воды, но воды не было. В руке он держал недопитую бутылку с водкой, и, вздохнув, вылил он остатки в стакан, выпил, перекрестился и сказал:

– Рая не заслужил я, да и не шибко старался. Но и в аду меня мучить тоже не след.

Ибо ежели меня мучить, а мучителей моих, которые во всю жизнь меня мучили, не мучить – то и уверую и скажу, что и после смерти на зону попал, и то же начальство на небе, что и в лагере, и те же конвоиры.

Обоих нас мучить вместе, и кто шкуру сдирал, и у кого она содрана уже – тогда воистину дела Твои будут выше разуменья человеческого.

Оставь же меня Ты, Господи, в покое!

Как отворачивался Ты от меня, покуда жив я был, отворотись и теперь, когда умер.

Солнце садилось. Было тихо и пусто в доме.

Старик вышел на крыльцо, оглядел светлый мир, поклонился



солнышку, и через огород прошел к одинокой сосне на пригорке. Там он сначала присел, прислонясь, затем голова его потяжелела, и съезжая и чувствуя, что вот начинается покой и муки нет ни в душе, ни в теле, он улыбнулся и сказал:

– Спасибо, Господи, что смерть послал легкую. Прости мне нрав не ангельский, а и я Тебе прощаю крест мой, что нес незнамо зачем. Прощай!

Солнце еще золотило верхушку сосны, и ветер тронул ее, как легкий вздох прошумел.

*Май 1982 – октябрь 1986*

## РУБАШКА БЛИЖНЕМУ

### 1

Что означает религиозное сознание? И есть ли Бог?

Кажется, что в предшествующие столетия вопросы эти не были столь рациональными, как сегодня.

Открывал ли для себя человек мир как образ Бога, или в отрицании Бога, в Борении с Ним строил жизнь и мир, он находился внутри Действительности, соотнесенной с Богом, и не мог отделить от него свое духовное существование.

Оправдание Добра было либо в Боге, либо вне Бога, но однако оно было необходимо и существовало, и нравственная жизнь имела твердое основание. Жизнь была религиозна либо потому, что Бог наполнял и освещал ее, либо потому, что жизненные основания находились в Богоборчестве, в отрицании Бога.

Бог был словно бы Магнитом для души, и одна душа, верующая в Него безусловно, притягивалась к Нему, другая же, постоянно чувствующая Его силу, Его магнетическое влияние, стремилась оттолкнуться от Него, и отталкивалась – но Магнит был постоянно, и одни соотносили жизнь и поступки со своим представлением о Нем, другие же, хотя и отрицали Бога, но строили мир внутри и вне себя если не по Его подобию, то с оглядкой на Его нравственный облик.

И только наше время являет собою опыт полностью внерелигиозного построения жизни, и только в наше время практически безразлично, говорит ли человек "да" или "нет" Бытию Божьему, ибо такое же, если не большее, значение имеет какое-нибудь праздное любопытство о существовании на Марсе инфузорий.

Но есть или нет на Марсе инфузории, верую или не верую я в их существование, ровно ничего не значит для моего отношения к миру и себе, для выбора пути и способа моего пребывания на этой безразличной к добру и злу из бездушного шествия земле.

И хотя мы еще сотрясаем воздух словами – есть ли Бог? – но окончательным разрешением Вопросы, который тысячелетиями сопровождал земную историю, я называю то, что ныне совершилось окончательно и непреложно, и что еще столетие назад возвестил Ницше – Бог умер!

Что в том, есть Бог или нет, если жизнь уже устроилась *вне* Бога?

И только механически, по инерции, как заклинание, душа вопрошает:

Есть ли Бог?

Вот уже и гроб опустили, и кладбище поросло травой, и никто

уже не помнит умершего... а странные слова вдруг раздаются у пивного ларька, и пусты и бессмысленны споры о них, как пусты и бессмысленны теперь и сами эти слова.

Но последнее разрешение вопросам в том, что вот теперь-то слова эти звучат на границе жизни и смерти, и потому не понимает никакого смысла в них умирающая душа, что это последние слова, которые она слышит... Но если задержится на краю, то страшный их смысл воспримет и встанет искать подобающий ответ.

Прежде можно было прежде жить и после ответить, но ныне надо будет вначале ответить, чтобы затем было возможно жить.

Однако вопрос о Боге неотделим от вопроса о сущности религии, ибо воистину душа ищет не Бога, а Веры в Него.

Душа ищет своего воскресения. Душа не пребывает, а из мрака небытия воскресает к жизни, и принимая жизнь в себя, узнавая себя воскресающей, сознает Воскресение как Веру.

Не все ли равно, есть ли Бог, когда начинается новая жизнь – Воскресение из мертвых?

– Верую, Господи!

Есть ли переход от Смерти к Жизни, то есть от Бытия вне Веры к Бытию в Вере, есть ли Бытие в Вере и что оно есть? – Вот вопрос, который будет либо разрешен, но не умом, а обретением Веры, либо не будет разрешен, и мой подавленный Дух останется у исчезновенья Души.

Да, пропала дорога жизни, и идти больше некуда!...

Да, я помню, я знаю, что Вера есть, и Вера есть Любовь... Или Любовь – путь к Вере, все равно...

Но если тьма, но если дороги нет, то почему не иду я той дорогой, о которой знаю?

Но в том-то и дело, что наша обычная обыденная жизнь и та жизнь, которая будет обретена чрез любовь – совсем не одно и то же. И дорога Любви трудна потому, что по ней надо уходить от привычной и легкой для нас жизни к другой, непривычной и нелегкой.

## 2

Я теперь болен, и трудно дышать... зато завтра не нужно идти на работу и у времени исчезла граница. Я видел эту границу каждый вечер, ложась спать, как дуэлянт видит барьер, к которому подходит с пистолетом.

Ночь вытекала из меня, и просыпаясь, я с тревогой прислушивался к тому, сколько ее во мне осталось, а когда не оставалось вовсе, пустой и подавленный, по сигналу Будильника, начинал Бег рабочего дня.

Я исчезал как человек и становился частью машины, осуществляющей заданную порцию трудовых движений. А вечером, возвращаясь домой, не успевал воскреснуть, как меня снова ставили в двенадцати часах от барьера и снова я приближался к нему, и время сокращалось, и ночь вытекала, вот и звонок – и Бег дня. Но сегодня я болен, на завтра барьер не стоит, и ночь задремала и не спешит уходить.

Я могу побыть с собою. Отдаться мечте, воспоминаниям, поговорить о пустяках или всерьез.

Что я делал, о чем думал, что испытал в прошедший год?

Стал ли богаче, шире мир, который, как путник, несущий с собою? Или, напротив, каждый день я теряю, все легче сума, а идти тяжелее? Слышал ли я серебряный голос, зовущий в светлые дали, споткнулся ли о чей-то чарующий взгляд?

Но, о, Господи, что за вопросы, от которых так неуютно и одиноко, не лучше ли выпить и окунуться в толпу, растворяясь в ней и ее растворяя в себе?

Иногда мне кажется, будто я нахожусь на краю мироздания, и какая-то сила стремится столкнуть меня в ничто. Страшась падения, я зарываюсь в город, окружаю себя им, забрасываю себя улицами и домами, как грудой листьев. Я спешу в середину, чтобы между краем и мною во всех направлениях была бесконечность города, тысячи улиц, домов, миллионы людей.

Страх отпускает меня в театре, я прячусь в партере, бельэтаж, как плед, греет ноги, сцена мягко ложится под щеку.

Но Время вновь грубо выталкивает на улицу, и я бегу за толпой, укрываюсь ею, вгрызаюсь в глубь земли и снова обретаю спокойствие. Здесь меня не достанет край, в этой норе тепло и уютно!

Я забываю про барьер, машину, мне кажется, что я свободен и жив.

Метро – мой миллионноликий друг, он – город вне пространства и времени, он чистый Дух города.

Семь часов вечера. Я выхожу на станции "Финляндский вокзал" вслед за маленькой девушкой с лукавым взглядом, предощущение влюбленности радостно пьянит, и все люди милы и хороши, и хочется сделать что-нибудь доброе.

И кажется, вот сейчас мне откроется – не в одном лишь уме, но и в сердце – что "Бог есть любовь". О, если бы идти теплой июньской ночью за путеводной звездой по мягкой чистой дороге! А не спотыкаясь о коряги...

Но кто же выстелит нам дорогу пухом и поведет за руку?

## 3

Около семи часов вечера я вышел из вагона метро и, почти не замечая окружающих, беспокойно искал взглядом впереди себя девушку в белой шапочке, инстинктивно уклоняясь от встречного потока пассажиров. Рядом раздалось восклицание женщины, и стукнулись и покатались по платформе яблоки, а затем мягко шлепнулся бумажный сверток с хлебом и колбасой.

Странно одетый старик с палкой пытался нагнуться, но ноги плохо его держали и палка мешала.

Еще не остановив бег в себе, я машинально поднял сверток и одно яблоко, два других подняла женщина и отдала мне и, так как я стал производить какие-то движения, выражающие попытку вернуть сверток и яблоки владельцу, то женщина решила, что ее участие в этом маленьком эпизоде закончилось, и отошла.

Подняв яблоки и пакет из-под сахарного песка, в котором были хлеб и колбаса (я теперь вспомнил, что это именно был пакет из-под сахарного песка, немного надорванный, потому что содержимое, видимо, с трудом вместились в него), я попытался вручить их владельцу, но мне мешал мой собственный портфель, который я поэтому поставил к стене в проходе. Затем мне пришлось поднять палку, и тоже поставить к стенке, потому что она уже мешала и ее владельцу, а так как мы оба уже мешали новой толпе пассажиров, с недоумением оглядывавшихся на необычную группу, то я свободной рукой поддержал своего старика, другой рукой с трудом удерживая яблоки и пакет, и подвел его тоже к стене, около которой уже были портфель и палка. Прохожий был мужчина лет шестидесяти, и выглядел не то, чтобы очень старым, но так, как дерево после жестокой бури, оставившей его уже не участником, а только свидетелем еще не закончившейся жизни.

Внутри же него жизнь как будто закончилась, и хотя она шумела и кипела вокруг, но прохожий казался самостоятельным явлением, совершенно независимым от жизни, словно бы существующим в другом мире.

Старик был одет в серый брезентовый плащ, каких было много после войны, но одеяние это только когда-то можно было назвать плащом, сейчас же оно явно попало на его плечи с сельского двора или огорода, где либо покрывало парник, либо прохудившуюся крышу в сених. В детстве, помню, точно такой же лежал у нас на парнике.

Я вспомнил колонну заключенных, которых встретил однажды в 52-ом году, и вдруг мне показалось, что она снова передо мною, соединенная в одном лице. Вероятно, колонна сбилась с дороги, а я,

быть может, тоже, и вот, преодолев 25-летнее расстояние, мы встретились снова.

Прохожий был обут в галоши, сделанные из автомобильной покрышки, и в старые шерстяные чулки, в которые были заправлены грязные рваные ватные брюки, а сверху завязаны веревочками.

Под плащом была невероятно заношенная короткая детская телогрейка, из-под которой выглядывала на груди нижняя рубаша.

Яблоки с трудом поместились в одном из карманов плаща, другой же оказался порван, и пакет мог провалиться в дыру.

– Сынок, я бинтику оторву, ты перевяжи карман-то...

И старик стал разматывать с шеи грязный бинт, которым шея была завязана в несколько оборотов.

– Погодите, погодите, у меня есть бечевка!

Я достал бечевку, плотно зажал край кармана и затянул узел. Пакет, хотя с трудом, поместился в оставшейся части, но очень неловко оттопыривал плащ, так что его нельзя было застегнуть.

– Какая жалость, что я сегодня не взял с собою ни авоськи, ни сумочки, вот только портфель один... Ведь так удобно было бы сложить все в одно место, и Вам было бы гораздо легче.

– Ну, что ж об этом сокрушаться, сынок! Коли нет, так нет, теперь уж не будет, авось, как-нибудь доберусь.

– А куда Вы идете?

– Я слышал, где-то здесь недалеко есть психбольница – хочу попросить провожатого до Московского вокзала. Поезд в 10 часов, у меня и билет есть, но сам я в поезд сесть не смогу, видишь, какой я?

– А где же Вы раньше жили, и как сюда добрались?

– Да я уже и не знаю, был ли у меня дом когда-нибудь?

Может быть, и был, но я уже этого не помню. Всю жизнь я прожил по лагерям, а теперь еще по больницам. Месяц назад из больницы выписался, поехал в родное село, а там ни родных, ни друзей, и никто меня не помнит. Кое-как по сараям прожил я этот месяц, спасибо, люди подавали, а тут снег пошел и стал я просить в сельсовете, чтобы куда-нибудь меня определили. Не много мне осталось, можно было бы и в сарае умереть, да вот вроде мечты у меня осталось – жизнь, можно сказать, на нарах и под забором прожил, а умереть хочу в постели и чтобы крыша над головой... словом, своего дома уже не будет, но хоть в каком-нибудь, для таких, как я предназначенном, в доме призрения...

Мне уже справку дали и ходатайство, я и в Москву еду затем, чтобы к начальству пойти, проситься, чтобы в такой дом определили.

Там у поезда меня встретят и до начальства проводят, а здесь вот некому на поезд посадить.

– Но как же Вы все-таки добрались сюда?

– Видишь ли, сынок, вчера меня ноги еще немного держали... да вот, выпил я вина красного, и ослабел, ноги совсем ослабли и память отшибло...

Утром совсем ничего не понимал, и в какую сторону идти, сообразить не мог, и сейчас еще плохо могу руководить собой, потому и надо мне провожатого...

Пить, конечно, не стоило... Но посуди сам – жизнь моя ведь уже закончилась, я будто на том свете, а сюда как в щель какую выпал... И – совсем один.

Тебя как зовут-то?

– Вася...

– Вот, Васенька, верно, ты единственный мой знакомый на этом свете, и я беседую с тобой человеческим языком, а весь остальной мир за каменной стеной, и им меня не слышно, и мне их.

Он поднял свою трясущуюся, очень слабую руку (она была слабее руки младенца, как бы безвольнее) и снял фетровую засаленную и заношенную до крайности шляпу.

– Так, Васенька, ты покажи мне, куда идти, и я уж пойду.

Мы подошли к эскалатору и остановились. Прохожий сам не смог бы удержаться на движущейся лестнице, и я стал звать к проходящим – только лишь поддержать его, помочь вступить на ступени. Густая толпа двумя ручьями обтекала нас, как будто отталкиваемая сильнейшим магнитом, и вливались оба ручья у первой ступеньки, так что мы были островом среди водоворота.

После продолжительного стояния я, наконец, соблазнил десятилетнего мальчишку, вдвоем мы подвели старца к ступеням, я его поддержал, так что меня немного мотнуло вперед, но удержался внизу, и они поехали оба, а я заметался по преисподней.

В десять часов вечера я снова вспомнил старца, садясь пить чай, и в воображении увидел его напротив себя за столом... в этом не было ничего невозможного, я ведь способен к состраданию.

Да, да, я хочу и любить, и помогать, и делать добро – но точно отмеренное, рассчитанное, и не увлекающее меня как половодье, но оставляющее со своей жизнью. Делать Добро так, как поставить свечу в церкви – поставить, и уйти к себе.

Но вот взвалить ношу любви и забыть про себя и свою жизнь – этого я не хочу, и потому я знаю, что хочу выбрать Бога, но выбираю себя, а не Бога, ибо Бог есть забвенья себя. И я хочу любить, но не могу и не готов отказаться от себя.

## ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

**В** этом году канун Нового Года пришелся на субботу, и Кира Афанасьевна Скопина встала чуть позже обычного, побаловала себя. А впрочем, это было не баловство даже, а необходимость – к полуночи Кира Афанасьевна изнемогала настолько, что засыпала на лету, а тут был день не простой, праздничный, и хлопот нес он больше обычного.

Вчера Кира Афанасьевна встала с тяжелым сердцем, чуть не опоздала на работу, Ленку накормила, а сама поесть не успела. Глянула в зеркало, вздохнула тяжело и так, растрепанной, побежала на трамвай. А с другой стороны, в трамвае все равно растреплешься, выскочишь возле института мокрая и смятая, стоишь минуты две, в себя приходишь и внушаешь по системе аутотренинга: все хорошо, все хорошо, а скоро станет еще лучше!

...Но лучше, правда, все не становилось... Раньше загадывала: вот Валюша в институт поступит, займусь собою, попробую устроить и свое счастье. Поступила Валюша, а времени на устройство еще меньше. Ладно, подумала, теперь Ленку до конца школы дотяну – и всё, хватит, надо же когда-то и для себя жить, дети все равно не оценят, да еще и упрекнут, скажут: а мы просили тебя своей жизнью для нас жертвовать?

Но как для себя жить, когда всю жизнь будто за поездом бежишь? Ох, бежишь, бежишь и никогда не догонишь!

Осень была тяжелая, а зима еще тяжелей... Валюша шубу хотела купить, девчонка не шибко ладная, парни за ней не то бегали, не то нет – непонятно, а своя ведь дочь, жалко... Была б красавица, так черт с тобой, хоть в телогрейке ходи!.. Ладно хоть, тут пол ставки подвернулись, да в отделе заняла двести рублей, к Седьмому и купили... Ох, как радовались, и Кира, и девочки, Валюша тут же на вечер в обнове побежала. Но, видно, счастье с шубой не купишь...

Позавчера у них опять в институте вечер, Валюша веселая до мой заскочила, клонула на ходу котлетку, стакан компоту выпила и улетела. Кира Афанасьевна на полставки ушла, вернулась в первом часу, Ленка спит уже, а Валюши все нет. До трех не ложилась, ждала дочку, да так на кухне на стуле и уснула. Проснулась перед утром, а Валюша на кровати одетая лежит и ревет, мать увидела, так пуще заревела и ногами затопала: не подходи ко мне, тебе какое дело, что хочу, то и делаю!

Вот и вчера не разговаривала, в своей комнате закрылась, а утром ушла рано, еще Кира Афанасьевна спала.

Ленка к бабушке на Новый Год укатила, и теперь непонятно Кире Афанасьевне – одна ли она праздновать будет или старшая вернется, а может, и компанию приведет?

Подруги по своим домам, тетя Даша в санаторий уехала, Петр Сергеевич к первой жене вернулся, прощальную открытку прислал, нового счастья желает.

Впрочем, Кире Афанасьевне раздумывать и печалиться некогда, день не резиновый, а дел – тьма-тьмушая и всякая тьма. Уже Кире Афанасьевне за последний месяц два раза плохо становилось, ноги подкашивались, и в глазах темнело, один раз в метро так прямо посреди вагона и бухнулась, а потом еще снова падала, но хоть, слава Богу, дома – правда, плечо о плиту ушибла...

В больницу она не пошла, туда тоже идти время надо, а где его взять, когда его нету? От сна открывать некуда уже, накроила и так столько, что обмороки начались. Ладно, вот Ленку в институт пристроит, и все, возьмет отпуск за свой счет, да и махнет куда подальше, ляжет в постель, да и не встанет недельки две.

Сегодня еще постирать надо, в магазин сходить, пирог испечь, в квартире прибраться, открытки поздравительные написать – ну, пусть хоть к Старому году придут, коль к Новому не поспеют – а если останется времени часика два, надо сходить в парикмахерскую... ну, не успеет – к соседке забежит, та ее уже не раз так ножницами подправляла – ничего, говорит, Кира, мужики все одно напьются и нашей красоты не увидят, да и было бы для кого стараться!?

А день красивый выдался, пошла Кира в лоджию белье вешать, глянула в окно – батюшки, снег валит такой крупный и пушистый, брильянтовый! Потом в магазин побежала, опять на мир посмотрела, и душа так встрепенулась, как давно уже не бывало.

Торопилась Кира с делами скорее управиться, и к соседке сбегала космы подравнять, вернулась, вымылась, стол накрыла, оделась во все чистое – хоть помирай! – а на часах еще девять часов!

Батюшки вы мои, в буднюю субботу, бывало, раньше часу ночи не управлялась с делами, а тут в праздничную к девяти поспела!

Дочки не было, да и навряд до одиннадцати придет, а то, может, и вовсе в своей компании праздновать будет, записки никакой не оставила... Ну, ничего, Кира Афанасьевна и одна за столом посидит, если никто на огонек не забредет.

Осмотрела свое хозяйство, в кресло присела и почувствовала тут, как устала и как голова книзу тянет.

А не поспать ли часик? – подумалось. – Времени до полуночи много, теперь отдохну, а зато потом и за столом буду бодра, да и сама соберусь к кому на огонек?

Тут за стеной как раз музыка мягкая, убаюкивающая полилась, Кира Афанасьевна свернулась калачиком на диване, накрылась старым халатом, да и заснула.

И приснился ей сон праздничный, новогодний. Сначала ей жизнь ее прошлая снилась, то будто она в школе учится, потом в студентки пошла, на картошку с ребятами ездит, песни поют, потом влюбилась и замуж вышла.

Как дети пошли, да пеленки, да плач, да хвори всякие – эту часть сна пропустила Кира Афанасьевна... потом муж пить стал, потом вовсе ушел и осталась она с детьми...

Вот ей тридцать пять минуло, и тетя Даша пришла и говорит – пора, милочка, об жизни подумать – о Боге, то есть – скоро в могилу, а жизнь твоя кроме суеты ничем не наполнена и не озаменована!

Да, когда Кире было семнадцать лет и провожал ее Петенька из кино, стояла она у калитки в легкой косыночке, вечер морозный был, звезды крупные, каждая звезда с яблоко, и губы Петенькины яблоками пахли – ох, уж каким светом радостным, волнением дивным душа ее тогда наполнена была!

И вспомнила, и встрепенулась, и захотелось снова свету небесного и волнения дивного, пошла с тетей Дашей сначала в церковь православную, потом в Озерки к баптистам, и Библию начала после стирки почитать и позже прежнего спать ложиться – а все свет тот дивный не светил, и товарки по вере были такие же постные и скучные, как на комсомольских собраниях, а Бог грозный и немилосердный.

Но тут Петр Сергеевич опять объявился – вторая жена его прогнала – и пожил с недельку у Киры Афанасьевны, пока дочек в доме не было, а потом снова исчез на два года до этой осени... И свет последний, какой в душе оставался, померк, и объяла мир тьма Египетская!

Утром надо завтрак приготовить, детей в школу и институт отправить, и самой на работу собраться, вечером в магазин за продуктами сходить, ужином накормить, посуду помыть, белье постирать... да и поспать тоже надо! – и вот второй год Кира Афанасьевна ни божественных книг не открывала, ни мирских, и в обморок впадала все чаще – и не только телом, но и душою.

Так и сорок минуло, а на следующий день Ленка говорит:

– Мама, а разве вчера не твой был день рождения?

– Ой, доченька, точно был, как же это мы не вспомнили, чем же это я вчера занята весь день была?

Сон ближе к нынешнему дню склонился, уж и проснуться пора было, да вдруг кто-то в дверь постучал, и явь опять отступила, а вошел к Кире Афанасьевне сам Господь Бог – Царь Небесный.

Сначала даже оробела Кира, но после оправилась как-то, за стол пригласила, и рюмку неожиданному гостю налила. Выпили за Старый Год, за Новый Год, на душе у Киры потеплело, уже и Царя будто не боязно стало, и по третьей рюмке наполнили, да вдруг Царь Небесный рюмку отставил и говорит:

– А я ведь по делу к тебе, Кира Афанасьевна! Было, лет десять тому, воскресным утром стояла ты в церкви на коленях, и о чуде молилась, а после и забыла об этом и не ждала – а дошла ведь молитва твоя чистая, услышал ее я! Вот и зашел к тебе мольбу исполнить, чудо хоть какое сотворить... Пожелай же чего-нибудь, государыня моя, Кира Афанасьевна – ежели не шибко трудная просьба будет, то и уважу!

Призадумалась тут Кира и опечалилась.

Молодость, что ли, сызнава вернуть, с Петенькой у калитки постоять?

Ах, нет, сызнава не постоишь радостно, как вздумаешь, что впереди будут ночи бессонные, кори и коклоши, штопка носков и стирка до одури – ах, не захочешь ничего сызнава. На будущее чего пожелать? Да ничего уж мило не будет так, как было мило когда-то, обманули надежды на заре разгорающейся, а день вышел пыльный, жаркий, суетный. Отдохнуть бы только от суеты этой пыльной и грязной, да и не надо ничего больше!

Тут сон закружился как-то, словно в теплую июньскую ночь звездопад в полнеба пошел. Кира Афанасьевна согрелась ласково и улыбнулась сквозь сон...

*31. 12. 1983*



## Простое дело

Марфа Степановна легла спать в двенадцатом часу ночи, хотя вставать, как всегда, надо было рано, в половине шестого... В десять уложила Лидкиных ребятишек, а до одиннадцати зять выступал, куражился, замахивался на Лидку и на самую Марфу Степановну, пригрозили милицией, а еще соседу постучали, плотнику дяде Мише – он держал дома спирт, и давал зятю опохмеляться, поэтому имел на него влияние.

Чуть что, дядя Миша сразу страшал: Ты вот что, Серега, будешь буйнить, чёрта я тебе больше спирта налью!

Серега побурчит, побурчит, и успокоится.

Марфа Степановна еще и со стиркой возилась, и Серегины выступления ее почти не задевали, она к ним привыкла и почти не замечала, как радио на кухне – вон оно орет во весь голос, а чего орет, спроси ее: дак я разве слушаю? – скажет.

Ну, пьющий – а где же ты непьющего нонче найдешь? Да и лучше ли непьющий-то будет, еще как сказать...

Время колотилось, как сердце в груди – вот оно ударит под ребро, тут только заметишь, что есть оно, а то наколачивает себе день за днем, да год за годом, и все одно и то же... Батюшки, да разве ж нынче уже другой год идет?

– С Октябрьских другой, тетка Марфа, – Витька-сосед подначивает, – постановление было, чтоб теперь с Октябрьских год начинать, неужели не слышала?

Марфа Степановна постелила себе на кухне – благо кухня просторная, и тараканов мало – и улеглась, скрипя косточками и пружинами; но сон, который всегда как-то сразу наваливался, будто разбойник обушком тюкнет – тюк! и провалилась куда-то, а в пять часов словно за рукав кто потянет, вот и нету сна, словно его и не было, да и во сне никогда ничего не снилось Марфе Степановне – а и об чем снится, коли ничего за день не бывало, чего раньше не было – сон-то в этот раз приходил медленно.

Будто думы какие-то приходять стали, или хоть не думы, а что-то, неизвестно что, из прошлой жизни померещилось, будто еще когда в девках была...

– Батюшки! – подумала бы Марфа Степановна, если бы умела думать и обворачивать думы в ровные витки слов, – батюшки, да неужто и я в девках была?! И за мною парни бегали, и об чем-то

сердце колотилось, и сон не сразу шел, а мысли всякие голову кружили и чувства незнакомые сердце трогали и билось оно вздохом?

Но тут сердце так больно стукнуло о ребра, что Степановна чуть не вскрикнула и думать забыла о такой далекой и словно не ее жизни, а перевела дыхание и лениво оглянула смутный ряд последних дел и впечатлений.

– Видно, я на больничном не догуляла! – сказала она себе. Врач определил простуду, и дал бюллетень на три дня, хотя какая ж простуда, когда вдохнешь глубоко, так за ребро задевает... Пробовала и пиво с молоком вскипятить, и у соседа налила стаканчик – но не отлегалось.

Сегодня первый день на работу вышла, день был сырой, холодный, и в груди ломило, и ноги дрожали, и сильно из себя ее выводили парни эти, что на переборку капусты прислали, не успели вилами два раза воткнуть, уже в закуток пошли, из сумки что-то потащили...

Ну, потом вроде повеселей работать стали, да все одно покрикивать на них надо было – кочан один из кучи вытянут, и опять в споры, и политика у них тут, и Бога поминуют, и книги какие-то ругают, а за весь день хоть бы одно путное слово сказали.

Оно бы, может, их и поинтересней слушать было, если бы Марфа Степановна сама о Боге хоть сколько думала или вспоминала – но как радио на кухне не замечала она, хоть и орало оно во весь голос, так и Бога не видела и не слышала, и есть Он там или нет – не думала она об том и не знала.

Ну, а если б и верила?

Вон, Михаил верующий, сосед-плотник, баптист, в церковь ходит, вина не пьет, – что в его жизни по-другому, какой другой прок в ней?

Ни к нему не ходит никто, ни он сам акромя церкви никуда, и такой уж нудный да постный, что и завалившая какая баба была у него, да и та сбежала – с тоски, говорит, удавиться хотелось, лучше б уж пил да приколачивал, все поинтересней было б, чем про рай да про ад назиданье слушать.

Если бы Марфа Степановна верила в Бога, то может она и не похожа была бы на Михаила-соседа, да и в церковь может ей некогда было бы ходить, и была бы она та же самая тетка Марфа, в трамвае утром ехала на работу, вечером стояла в очереди два часа – треск давали – потом бы готовила ужин и стирала.

Ведь вот верит же она, что земля круглая? Или не верит, что ль? Ну, да не все ли равно, верит или нет?!

Пусть и земля плоская, и Бог есть, пусть и наоборот все – ни в жизни, ни в душе Марфы Степановны это ничего не меняет, все равно как про негров – верила раньше Марфа Степановна, что они людей едят, а недавно и их на базу прислали, черных, работали хорошо, и не съели никого – теперь Марфа Степановна, если бы она подумала когда, уже по другому стала бы о них думать – но что с того?

Нет, ученые ее совсем из себя вывели, капусту опять не разгребают, за гусеницу заспорили.

Если бы Степановне интересно было, то, может, послушала бы, что они о гусенице говорят, а так она им перекур объявила, и пошла к заведующей про премию узнать.

Ученые же дармоеды прыгают на сквозняке, лень им в закуток отойти, а один – в очках – аж охрип, все свое доказывает.

– Я, говорит, губу ей нижнюю удалил, и снова листочек подаю, который она до этого есть не хотела... Поползала она, поползала рядом, и – представьте себе – щипать начала! Вот, думаю, интересно...

Беру я солянку – соляную кислоту то есть... Какой концентрации? Ну, аж дымилась она, процентов сто будет... Ну, может, пятьдесят – но дым из нее точно шел, крепкая такая была! Вот я гусеницу туда окунаю легонечко... Нет, сперва я ее усыпил, в наркотизирующий раствор поместил, она у меня уснула, а после солянки я водичкой ее обмыл, подсушил, и в коробочку положил...

И, представьте себе, на третий день очнулась, зашевелилась и поползла. Я промокашку беру, нарвал мелко, и сыплю перед нею – есть начала, промокашку чуть не всю съела, вот курва, думаю, а! – и кислота ее не берет!

А, кстати, может и нам еще грамм по пятьдесят принять? А то ноги что-то совсем заоченели, сил нет!..

Но тут Степановна что-то скоро вернулась, и снова стала ругаться...

"А, чтоб их, чертей, холера поела!" – подумала она, вспоминая, и стала поворачиваться на другой бок, и тут где-то далеко за стеной часы начали глухо бить полночь...

Зеленая першавая гусеница с трудом распрямила израненное тело, вытянулась, и вдруг ей стало легко и свободно и она увидела солнце. Упругий мягкий листочек лежал под ее ногами, ярко-красная бабочка махала крыльями, овевая легким дуновеньем, жужжала маленькая мушка и плыли синие облака в небе.

Может быть, ей вспомнились бесконечные споры о духе и плоти, горестные ночные размышления, призыванье молитвы и Веры, тяжелая тоска бездуховности.

А может быть вспомнился ей ее экзекутор, кандидат наук и младший научный сотрудник Николай Федорович Касенькас, который уже давно уснул и спал легко и беспечно.

Да, если бы он читал книги, то, может быть, не заснул бы так быстро, но книг не читал он со школьных лет, а теперь иногда проглатывал что-то о шпионах, и склонялся над микроскопом.

Если бы он умел и хотел размышлять, или если бы его ровно стучащее сердце умело отвлекаться на посторонние звуки – может быть, он увидел бы сон.

Но ни он сам, ни его товарищи по науке и микроскопу давно не имели ни снов, ни мыслей, и некому было думать о бедной гусенице.

Полночь пробила последний удар. Марфа Степановна вскрикнула, и ее давно уже безжизненная душа облачком пара растаяла под потолком кухни.

#### ЭПИЛОГ

Заведующий спецотделом сектора посмертного воздания и перевоплощения Ангел Иванович Стурудзе оторвал усталые глаза от листка бумаги.

– Странные сны видят гусеницы, сказал он, ни к кому не обращаясь. – Вот послушайте:

*И дух и плоть явились мне, как некий всадник на коне... Подобен конь был буре, мгле, цветку, улыбке на челе. А всадник был покой, полет, холодный огонь, горящий лед. С улыбкой странной на устах, он привставал на стременах, и конь послушно бег стремил. О, как мой сон меня томил! Так в безмятежности порой вдруг затуманишься слезой, и замирает на устах подобный крику смутный страх.*

1985 г



III  
СТРАННАЯ  
ЛЮБОВЬ



## ЛЮБОВЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

### 1.

Сегодня моросил первый апрельский дождь. После тоскливой гнетущей зимы душа моя словно очнулась от забытья, и я вглядываюсь в мир удивленно – *и я еще жив, и мир не до конца погряз в скверне* – а скоро трава зазеленеет, и цветы распустятся на полянах у ручья, и загудит тяжелый шмель, очнувшийся, как и я, от беспамятства.

Более тридцати лет назад, в апреле семидесятого года, вот также очнулся я после мрака, и на меня обрушились отчаянье и блаженство.

Мне тогда еще не было тридцати, писал я стихи, мечтал о великом будущем, в ожидании его пил, ругал несовершенную власть, себя мнил гением, сам "совершенствоваться" не хотел (да и не знал – *как* – разве только пить бросить?!), собирал книги, ходил в филармонию и в театр, но главное – о, главное мое занятие состояло в том, что я *влюблялся!* – На улице, в метро, в трамвае, в своих учениц, которым преподавал математику, в литературных героинь, в актрис кино, в замужних дам, босоногих девчонок, бесхозных девиц, в свои мечты, в ночные видения... да и во весь божий мир!

И вдруг посреди пира чувствительности и воображения, когда я словно в океане купался во взглядах и словах, случилось роковое, разверзлась твердь мира и в трещину я – *ухнул*.

*24 марта семидесятого года*, утром, прямо с урока, только прочитал я любовную записку одной черноглазой шалуньи, явился за мною "проводжатый" и *сопроводил* в Большой Дом на Литейном прямо на допрос, а к вечеру меня отвели в одиночную камеру.

Две недели после того никого я не видел, кроме стражников и следователя, и душа моя изнывала.

Утром и вечером разносили еду, обслуга была – как я позже узнал – из *пятнадцатисуточниц*, вероятно какие-нибудь спившиеся девки и бабы, разговаривать им запрещалось, я слышал только шаги и шорохи, скрип открывающихся "кормушек" (окошек в двери), просовывалась миска с ложкой и окошко захлопывалось, изредка раздавался смех, когда охранник, утерев серьезную бдительность, вдруг ущипнет какую-нибудь из них... Но этот отзвук женского мира переживал я как щебет птиц.

Я трепетал от одного лишь знания, что там, по коридору, проходит *женщина*.

...И вот, после непрерывного женского половодья – две недели почти на необитаемом острове!

Но вдруг открылась дверь камеры, и в сопровождении целой делегации явилась *женщина-прокурор*, молодая, и с голыми коленями. Я ее так пожирал глазами, что она смутилась и, возможно, поэтому распорядилась о некоторых поблajках – велела перевести меня в *общую* камеру (впрочем, нас стало в ней только двое) и водить на прогулку.

## 2.

Через несколько дней, под вечер, отверзлась тяжелая чугунная дверь, меня с соседом повели вниз по железной лестнице и вывели во двор. Я-то думал, что буду гулять в большом весеннем дворе в толпе товарищей по несчастью, но оказалось, что для прогулок сооружен так называемый "прогулочный дворик" в центре двора, расположенного внутри четырехугольного здания тюрьмы, окруженного, в свою очередь, громадным *Большим Домом*, простирающимся одной стороной вдоль Литейного, а двумя другими вдоль Шпалерной и Захарьевской. Четвертой стороны, скрытой среди зданий, располагающихся вдоль проспекта Чернышевского, я не видел.

Дощатый прогулочный "дворик" представлял из себя следующее сооружение: в середине его был круглый цоколь, диаметром метра четыре, верхняя часть которого была окружена перилами. От цоколя отходили семь или восемь дощатых клетей в длину метров по пять, в каждую из них заводили узников из одной камеры и дверь закрывали на ключ. Пóверху вдоль перил ходил *вертухай*, кроме него видел я только соседа по камере и доски стен, а под ногами – утрамбованную гальку.

Приуныл я от такой прогулки и грустно стал вышагивать взад-вперед, да вдруг взглянул наверх.

А надо мною высоко простиралось темно-синее апрельское небо, по которому бежали сверкающие, краснеющие от заходящего солнца облака, и пролетали диковинные птицы, золотые, розовые, вишневые, как языки пламени, как всполохи северного сияния.

Я замер, потрясенный, и чуть не в беспамятстве увели меня в камеру. Но назавтра меня ждало новое потрясение, соединившее и птиц, и небо, и облака словно в небесную сцену, на которой разыгралась любовная драма.

Проходя вдоль дощатой стены (а в это время *вертухай* наверху стоял ко мне спиной), услышал я вдруг девичий шепот:

– Мужчина! Можно с Вами поговорить?

– Конечно! – пересекшимся мгновенно голосом пробормотал я.

– Вы за что сидите?

– Антисоветская агитация и пропаганда. А вы?

– *Террор и бандитизм*. Пыталась захватить самолет. Но мне семнадцать лет, обещают дать всего полтора года, хотя *подельникам* моим *паяют* строго.

Вертухай повернулся, мы отошли от стены, *соединившей* нас, и начали ходить взад-вперед в ожидании следующего диалога.

– У Вас покурить ничего нет?

– Я не курю! Но для Вас достану. Принесу завтра.

Сидел я с мрачным мужчиной пятидесяти лет, бывшим власовским контрразведчиком, во всех своих сокамерниках подозревавшим стукачей. Ко мне, однако, он проникся доверием и стал по-отечески опекать.

В камере я удивил его безмерно:

– Федотыч! Срочно нужны карандаш и бумага!

– Это зачем? В карцер захотел?

– Я должен написать ей письмо! К тому же, она просила сигарету... Да если бы ещё и конфет достать!?

Федотыч пощупал мне лоб, посмотрел зрачки, отошел на два шага и покачал головой.

– Федотыч, ты же все можешь, ты же на Колыме – и то выжил!

– Потому и выжил, что глупостей не делал... Хотя... правда, бывало всякое... Карандаш и бумага у меня, конечно, есть, но если поймут, возьмешь на себя – ты парень еще молодой, в карцер тебе в самый раз! Ладно, стой у двери, слушай, когда вертухай пойдет, а я попробую *постучать*!

Он отошел в угол, тихонько костяшками пальцев простучал несколько фраз. Через некоторое время где-то далеко застучали тоже, чуть слышно... Через полчаса из соседней камеры нам простучали ответ.

– Ну, какие новости, что ты спрашивал? Что ответили?

– Я передал так: *Поэт влюбился в террористку, нужны конфеты!*

– Ну и как?

– Подождем до утра...

Утром опять раздались "нежные шаги пятнадцатисуточницы" (но уже *террористка* затмила мне весь мир и всех женщин)...

Шаги замолкли у нашей кормушки, раздалось хихиканье, окошечко открылось, просунулась миска с кашей и затем другая, накрытая еще одной миской, и окошечко захлопнулось.

*Контрразведчик* хищно схватил вторую миску и умчался в свой угол. Мне это показалось подозрительным.

– Ну как, сердце не ёкает? – спросил он.

– Из-за каши, что ли?

– Поменяться мисками не хочешь?

– Ну, мне все равно, могу и поменяться...

– Тогда загадай желание! Чего бы ты сейчас больше всего хотел? Шампанского, чаю, сигарет... конфет?

– Сигарет?... – неуверенно спросил я.

– Больше ничего?

– Ну, и конфет?

– Посмотрим... Держи свою миску.

"Неужели чудеса возможны и здесь, где на каждого узника десять стражников?" – подумал я, открывая с надеждой крышку.

Сверху лежали синие куски "шрапнели", похожие на обломки базальта, а из-под них выглядывал уголок промасленной бумаги. Дрожа, развернул я бумагу – внутри было еще два маленьких пакетика, в одном из них лежали две сигареты, а в другом – три "Белочки".

– Ну что, старого Федотыча рано еще в расход пускать? Но мой тебе совет – *шрапнель* пока не ешь, судьба любит злые шутки, и вдруг перед прогулкой будет *шмон*? Так что припрячь гостинцы в миску и пиши письмо.

Знаешь, двадцать пять лет назад, в апреле сорок пятого года, и я "дурил", наша часть стояла в Альпах, и я побегал в горы за эдельвейсами... Представь себе, все рушится, будущее смутно – а я прижимаю к груди охапку цветов и улыбаюсь – вот как ты теперь.

Может быть, человек не смог бы оценить блаженство, которое иногда выпадает на его долю, если бы судьба не была к нему немилосердна, если бы предательство, смерть и боль не заходили к нему в гости как к себе домой.

Я знаю, ты видишь во мне немецкого пособника – и это тоже верно. Но в мае 45-го я участвовал в боях за освобождение Праги на стороне русских войск, и был ранен. Так что не все так просто...

Ну да ладно... Тебя, поди, тоже следовательно обзывает изменником Родины, а штука в том, что Государство и Отечество – не одно и то же, и защищая Государство можно бороться с Отечеством – и наоборот.

Через несколько часов нас повели на прогулку, я перебрал подарки и письмо через стенку, и был вознагражден таким вздохом восхищения, словно пообещал свободу.

– Ты красивый? – спросила она меня на следующий день. – Тебя я все равно буду любить, даже если ты не красивый. А за мной мальчишки бегали еще с детского сада... Ты сильно боялся после ареста?

– Да, было страшно... На ватных ногах на допрос шел...

– Значит, ты меня поймешь...

– Цветочек мой аленький, конечно понимаю!

– Я тебя во сне видела. Как мне было страшно все эти дни, я боялась, что сойду с ума! И вдруг такие письма, стихи... Теперь, если мне снова станет плохо, я о тебе буду думать. Да и так буду думать, ты не против?

На следующий день шел дождь, и на прогулку нас не водили. Мой контрразведчик сжалился над моим несчастным видом и простучал в стенку: *“передайте террористке, что поэт ее любит!”*.

Вечером нас повели в душ, а на следующий день состоялось четвертое свидание.

– Мой миленький, спасибо за весточку! – услышал я шепот, когда прижался к перегородке. – Я тебя тоже люблю!

### 3.

Неужели это было на самом деле? Апрель, яркое солнце, *тюрьма для двоих* – и я счастлив в тюрьме!?

А сегодня... Но, может быть, это только краткие отчаянные мгновения?

Я словно на каменистом склоне сползаю вниз, и иногда камешек брызнет из-под ног, и сердце обрывается от внезапного страха, что всё, падаю... Нет, ещё держусь, но тихонько сползаю... а долго ли еще, и где край – неведомо... Но ведь временами и всяческие радости меня посещают, и в баню хожу, и водку пью, хотя и нельзя, и к девицам пристаю не только *всё еще*, но – *по-прежнему!*

Я попал в удивительный мир зарешеченных снов.

По железным ступеням душа поднимается ввысь.

Остаются внизу коридор, две стены и окно,

И рыдающий голос за мною летит – Оглянись!

Я попал в удивительный мир, где звенит тишина,

Где меняются цены на все, чем вчера дорожил.

Где без края – печаль, и надежда дороже вина.

И где нет никого, кто надежду хотя бы на час одолжил.

О, как душно здесь быть, здесь стираются души дотла,

И бессильные слезы спекаются в горле как кровь.

Бесконечная ночь проседает под тяжестью зла,

Но у края мольбы неожиданно входит любовь.

Небо над головой было высокое и нежное, звезды сияли гроздьями, а еще выше звезд через Млечный поток был переброшен небольшой горбатый мостик, с обеих сторон шли по нему двое, семнадцатилетняя девочка, и все еще не повзрослевший мужчина.

Еле слышная музыка доносилась из-за звездных высей.

Господи, сделай музыку громче! Громче, громче сияйте звуки,

грохотом и громом лейтесь в уши, небесным водопадом заполоните жизнь!

Но нет, не слышно *благую весть*.

Не так живу, но как надо жить, не знаю, и ничего не умею изменить ни в своей, ни в чужой жизни.

От прошлого я не отрекаюсь, и пил, и бегал за юбками, пил, как все, *вино плоти* – так отличался ли я от других?

Или бокал мыл чище, наливая шампанское? (*А чаще портвейн номер семь или цимлянское розовое за рупь двадцать*).

Или подворотню искал посветлее? (*А я ли не пил в подворотнях?*)

Но я любил всех тех девчонок, с которыми пил портвейн или розовое цимлянское, и даже когда жаждала плоть – жаждала и душа. Искал я женскую красоту, с чувством восхищения соединял сострадание, и не было прикосновения к женщине, в котором было бы одно только наслаждение, а не было восхищения или нежной жалости.

Арестовали меня в благодатную пору, среди радости и веселья, через два месяца должен был я защищать диссертацию, сегодня бы уже был профессором и зарабатывал столько же, сколько продавец пепси-колы...

Страх перед "органами" вбит в меня был с детства, хотя я и бахвалился перед друзьями. Но когда привезли в Большой Дом (а были со мною вежливый, и пальцем никто не тронул), ноги у меня сделались ватные и в горле пересохло.

Вечером привели в камеру, сняв перед тем отпечатки пальцев и отобрав брючный ремень.

Я не был уверен, что не будут меня бить или даже пытаться, я ожидал всего. Словно поезд слетел с откоса, и вдребезги вагоны, стекла, и вся прежняя жизнь – а новой уже не будет, все кончилось, навсегда, навечно, без воскресения – стиснутый в одну отчаявшуюся дрожашую точку, стоял я посреди одиночной камеры и боялся пошевелиться.

– Целых два месяца, и днем и ночью, думала и мечтала я только о смерти, – прошептала она при четвертой встрече, прижимаясь к доскам перегородки (а через каждые две фразы отскакивали мы от перегородки, потому что *вертухай* совершал половину пути вдоль перил и шел в нашу сторону, и мы делали вид, что бесцельно слоняемся по своим клеткам). – Я не хотела жить, я боялась будущего. Мысль о том, что буду я наложницей у конвоира или *вора*, или еще хуже, что *мною будут пользоваться, как вещью* – сводила меня с ума.

Я думала, что жизнь моя кончилась.

И вдруг с неба падает сигарета, три конфетки, письмо и стихи – и мне захотелось жить!

\* \* \*

Что такое человек?

Конечно, в нем есть и душа и тело, но традиция аскетического христианства, хотя и не отрицала существования тела (или *плоти*), но объявляла его вместилищем всякой скверны и греха, и смысл жизни человека видела в *умерщвлении плоти*, в борьбе с ее нуждами и соблазнами.

*Плоть* следовало превратить в *мощи*, и лучше в *нетленные*; или совсем остаться и без плоти и без мощей, а стать бесплотным духом.

Впрочем, сказал бы я им, Бог с вами, *умерщвляйте* плоть, носите вериги, сидите на столпе или камне, делайте что хотите с собой – если только не превратите вы свою точку зрения в господствующую религию, государственную власть, так что другим станет нечем дышать.

Кабала фанатиков, или кабала *святош*, по выражению Мольера, еще хуже, чем власть лжецов и лицемеров.

Но лучше ли и власть так называемых *материалистов*, которые кроме плоти не хотят видеть ничего в мире, для которых и дух и душа не более, чем слабый свет, источаемый светящимися гнилушками, ток воздуха от теплого тела, электромагнитное поле, образующееся около янтаря, потертого кусочком сукна?

Что противостоит естественному порядку мира и, так сказать, его "круговороту веществ"?

Любовь к женщине!

Если бы я был талантлив и умел писать книги, я написал бы о каждой из тех, кто вошел в мою жизнь или только прикоснулся к ней, отдельный роман, и, быть может, это множество романов смогло бы в некоторой степени рассказать о тех чувствах, которые я к ним испытывал.

Но, сознаюсь, романы эти были бы противоречивы. Разве не испытывал я Страсть? Нежность? Вожделение? Но были состояния, в которых останавливалось время и не успевало вылиться вино из падающего бокала, хотя и протекали миллионы лет, протекала – или пребывала – Вечность. В этих состояниях не было нужды в поцелуях и прикосновениях, как не нуждается в звуках и в инструментах, их производящих, музыка, звучащая в душе.

Да, может быть, любовь – это грех – но двое, помещенные, словно зверьки, в соседние клетки, разделенные досками перегородки, пережившие перед тем отчаянье, которое едва не раздавило их – о, как эти двое припали друг к другу!

– Миленький мой! Я почему-то думаю, что больше мы не увидимся.

До тебя ведь еще никого у меня не было... Я хочу, чтобы ты был первый...

– Но что мы можем сделать? Как?

– Я знаю, что это невозможно, но – все равно я буду только твоя...

Давай сегодня ночью представим, что у нас тайное свидание...

*Ты хочешь?*

#### 4.

...Тюрьма спала. Приближалась полночь, и хотя часов у нее не было, она знала, что скоро прозвенят тайные полуночные удары, словно вздохнет и повернется на другой бок тишина.

Сегодня подобрала она под ногами в прогулочном дворике вещь непостижимую – крошечный обломок ржавого бритвенного лезвия. Вероятно, кто-то хранил его и либо выбросил, опасаясь обыска, либо обронил.

Она думала о нём, и нежное счастье наполняло ее душу.

"Любимый мой, я буду только твоя, даже тогда, когда ты забудешь про меня, я буду тебя любить!"

*... Тише, мыши, кот на крыше!.. тише, тише...*

Теплая слезинка скатилась по щеке и коснулась краешка губ.

Она начала вспоминать строки стихотворения, которое сочинила днем и нацарапала на стене. За это полагался карцер, но она уже ничего не боялась.

Внезапно я решила на побег.

О, как легко, как радостно мне стало!

Нас с милым вечность пустит на ночлег,

И в ночь я завернусь, как в одеяло.

Сминая время, хлынула судьба, –

Так в бурю берег разбивает море.

Как брызги слёз, как дождь – осколки горя.

Сзывает павших в новый бой труба,

В отчаянии с самою смертью споря!

Любимый мой, простимся до утра!

Ты только мой на том и этом свете!

Ведь я та самая, из твоего ребра!

Я буду ждать тебя тысячелетья!

Мы встретимся. Бегу, бегу... Пора!

*"Ты не пожалеешь? – спросила ее ночь. – Впереди еще вся жизнь!"*

*"Я боюсь, что она меня оскорбит. Если бы ко мне пришел Бог – но Он молчит..."*

*Никто не приходит..."*

Она подождала, пока затихли шаги в коридоре, и начала тихонько водить осколком лезвия по руке.

*"Больно... Я не знала, что будет так больно и страшно. Но надо потерпеть ещё несколько минут, а потом будет хорошо. Любимый мой, я тебя никогда не покину, не покидай меня, хотя бы мысленно, иногда вспоминай меня!"*

*"Кажется, стучат часы... как будто секундная стрелка стучит. Мне уже почти не больно, только обними меня крепче!"*

-----

Тридцать лет не решался рассказать я о девочке, со школьной парты попавшей сначала в *захватчицы* самолета, потом в тюремную камеру, потом в клетку "прогулочного дворика", и там ступившей на мостик, переброшенный через поток Млечного Пути.

Что такое любовь? Скверна, как уверяют монахи? Пошлость, как думают многие? Или это таинство, в котором земное и небесное соединены так, что *небесное снисходит до земного*, а *земное восходит до небесного*?

Но что ей до этих споров, если не случилось еще у нее до тюрьмы ни светлой, ни пошлой любви, и какая она на самом деле, ей еще трудно было сказать – но силы и жестокости, которые могли в этом споре сыграть главную роль, она справедливо боялась.

Какого же числа в апреле состоялась наша последняя встреча?

Время стерло в памяти дату, но, быть может, я ее еще узнаю, когда историки Большого Дома напишут историю его внутренней тюрьмы.

И тогда прочитаю я о том, в каком году и кто ее построил, в каком году и при каком начальнике окна закрыли жалюзи, так что свет дневной в камеру проникал, но что было на воле, увидеть не удавалось, ни деревьев, ни тюремного двора, ни даже облаков на небе; в каком году и кто прогулки по тюремному двору заменил прогулками в деревянных клетках, построенных посреди этого двора; и, наконец, прочитаю я и о последнем ограничении свободы, введенном в апреле семидесятого года, и, быть может, там будет указано, какого числа это произошло. Тогда три дня нас не выводили гулять, а когда вывели снова, мы увидели, что поверх всех деревянных клеток натянута частая проволочная сетка, так что сквозь нее не пробросишь ни сигарету, ни конфеты, ни тем более любовное письмо со стихами.

Но там не будет написано, по чьей вине это произошло...

Мы отыграли нашу любовь еще под *открытым* небом – последние – а после нас если кто-то в этой тюрьме и влюблялся, то была их любовь уже под небом, закрытым стальной сеткой, и ни небесному было не снизойти до земного, ни земному не подняться было до небесного.

## НОЧЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ НА НЕБО

Рассказ

*Посвящается сестричкам  
хирургических отделений.*

### 1.

**П**оследний разговор с хирургом состоялся в девять часов вечера, операция была назначена на девять утра.

– Василий Алексеевич, надеюсь, Вы все обдумали, посоветовались с родными, взвесили последствия? Я полагаю, Вы человек достаточно серьезный и здравомыслящий.

Итак, Вы готовы подписать Условия?

– Боюсь Вас огорчить, но еще не готов. Вероятно, я подпишу их утром, перед тем, как меня повезут в операционную. Скорее всего, подпишу... Но эту последнюю ночь я еще хочу оставаться самим собой. Или – оставаться с иллюзией, что пока еще ничего не случилось, что я – это я, тот, что был всегда, независимый и непокорный.

Я еще не все обдумал, не во всем разобрался, но главное для меня ясно – то, что со мною происходит, не просто мое собственное невезение, а – словно бы старый незаконченный философский спор. Мои оппоненты прибегли к несправедным доводам, они нарушают правила честного спора, вместо возражений просто схватили меня в темной подворотне, приставили нож к горлу, и требуют – жизнь или кошелек? Или даже еще ужаснее – честь или кошелек?

– Да ничего подобного! Василий Алексеевич, Вы ведете себя словно невинная девушка перед грубым кавалером, в то время как молодость Ваша давно прошла, и совсем другие, взрослые ценности должны определять Ваши решения.

К Вам только что пришло признание, последняя Ваша книга уже имеет успех, Вы ведь сами рассказывали, что находитесь в точке творческого подъема, следовательно, главное для Вас – жизнь!

А Вы считаете и пересчитываете медяки, которые придется за эту жизнь заплатить.

Я готовился к нашему разговору, поэтому перечитал Вашу книгу. Вы ведь помните, как она кончается?

«"Дух или Плоть?" – задает нам Дьявол вопрос – потому что он

еще надеется нас искусить, он еще пытается усилить наши сомнения, он еще ловит последние наши колебания.

Бог же нас не спрашивает, Он обращается к нам как отец обращается к сыну, Он говорит: "Мальчик мой, Я в тебя верю, я знаю, что ты уже сделал правильный выбор, ты уже идешь по пути духовного возвышения, и я тебя не оставлю, я тебе помогу."

В начале жизненного пути нам кажется, что человеческое и природное – это главные антиподы, природное состоит из темных инстинктов, человеческое – из светлых духовных устремлений. "Надо стать человеком! – говоришь себе. – И чем более ты человек, тем ближе к небу."

В конце пути смысл противостояния меняется, все лучшее в человеке достигнуто, жизнь почти закончена, и человек задает себе последний вопрос – остаться ли человеком или стать ангелом?

Монахи и святые задают себе этот вопрос еще в середине пути, мы, слабые, хотя бы в его конце.»

Ну, так вот, с этой точки зрения ничего плохого с Вами не может случиться, даже напротив, Вы просто станете немного ближе к ангелу. Но, впрочем, и эта метафора – драматическое сгущение ситуации, по существу, с Вами совершенно ничего из ряда вон выходящего не произойдет, с внешней стороны всё останется как есть, просто раз в месяц нужно будет принимать пилюлю, чтобы восполнить недостаток естественных гормонов – и всё. Больные диабетом должны ежедневно делать себе инъекции, и не проклинают жизнь, а живут и радуются, а Вы из-за одной пилюли на стенку лезете!

– Но я боюсь, что руку помощи в этом предстоящем превращении в ангела протягивает мне как раз дьявол, а не Бог, это дьявол любит ловить человека на неосторожных высказываниях; я ведь не намеревался превращаться в ангела, тем более в таком грубо материальном смысле; писал я свою книгу, имея в виду добро, сострадание, любовь... в том числе, и любовь к женщине.

И вообще, умозрительные рассуждения, как я теперь понимаю, мало относятся к жизни, жизнь – сама по себе, рассуждения – сами по себе...

Правда, возможно, что завтра я подпишу условия капитуляции, эти две недели оккупации меня разгромили, парализовали волю, унизили гордость.

Если покорность перед неотвратимым как раз и означает быть христианином, то я уже почти христианин. В буквальном смысле слова я, конечно, всегда был христианином, я ведь крещен во младенчестве, но завтра, кажется, мне предстоит принять схиму, может быть, изменить и имя? Раз уж приходится менять пол...

– Да кто Вам внушил такой бред? Да я же говорю Вам, что ровно ничего не изменится! Вы же не становитесь женщиной!

– Если бы! Женщиной я еще, пожалуй, мог бы согласиться стать – конечно, молодой и красивой! – но ведь Вы же хотите отправить меня на небо, где не женятся и не выходят замуж, где нет ни мужчин, ни женщин!

– Ладно, Василий Алексеевич, я устал с Вами спорить, а мне надо как следует отдохнуть, ведь это я буду резать Вас завтра, и рука моя не должна дрогнуть, как и *"нож хирурга, к истязаниям привычный"*, как пишете Вы в одном из своих стихотворений.

Завтра, так завтра... надеюсь, сквозь сон Вы сумеете расписаться.

Через час Вам сделают укол, Вы проспите ночь как невинный младенец, и сонного Вас повезут на второе крещение, так что даже и не заметите, как мы Вас разберем, почистим детали, и вновь соберем, и станете Вы лучше прежнего, и напишете новую прекрасную книгу.

До завтра.

## 2.

В одиннадцать часов вечера мне сделали даже два укола – во-первых, обезболивающее, во-вторых, очень сильное снотворное, дежурила моя любимая Светочка, и она же сделала мне уколы.

– Вместо поцелуя! – смеясь, она мне сказала.

– Так, может быть, на прощанье меня поцелуете и в самом деле?

– Нет, нет, я суеверная, только после операции!

– Ну, после операции мы будем целоваться уже только как брат и сестра, а сейчас еще могли бы поцеловаться как Ромео и Джульетта!

– Ромео, давай-ка бай-бай, а то я тебе по ошибке такой укол в попу вкачу, что спать на спине долго не будешь!

Палата наша успокаивалась обычно не раньше часу ночи, злопыхатели называли нас палатой буйно помешанных, а мы ласково прозвали себя "камикадзе".

Заходили поговорить с нами о жизни, а чаще поспорить, дежурные врачи и медсестры, да и между собою схватывались мы не на жизнь а на смерть, хотя друг к другу относились нежно, спаянные общими бедами.

Сегодня мои "подельники" поспешили закончить споры пораньше, чтобы дать мне выспаться, и уже в полночь все затихло, но ко мне сон не шел, даже как будто вместо дремоты наполнял меня странный восторг.

Часы в коридоре проббили час. Всё молчало, видения, мысли и образы протекали мимо меня, словно берега спокойной лесной речушки.

В два часа в коридоре раздался шум, дверь открылась, Светочка завела маленького старичка, уложила в постель, приготовленную с вечера, и обернулась ко мне. Увидев, что я не сплю, она подошла ко мне, погладила по голове и убежала.

Вскоре я как будто начал дремать... и вдруг послышалась возня, давешний старичок сполз с кровати и попытался сделать несколько шагов, но, не выдержав даже своего детского веса, упал, попытался встать, опираясь руками об пол, но это ему не удалось.

Две недели назад, при поступлении, меня уже один раз разрезали, и хотя я немного окреп с тех пор, и даже настолько, что влюбился в красивую сестричку, но поднять с пола тщедушного старичка я все же не мог, надо было идти за подмогой.

Ординаторская была закрыта, кабинет врача – тоже, пройдя по коридору до лестницы и прислушавшись, я услышал отдаленные голоса сверху, и действительно, в ординаторской выше этажом оказались три дежурных сестрички, они "гуляли". "Завтра ведь Крещение – вдруг я сообразил, – как же это я раньше не вспомнил?"

Светочка была уже немного пьяна, белый халат был на ней не полностью застегнут и не закрывал её бьющую наружу фигуру, как не закрывает апрельский снег весенний ручей.

Мы забыли про старичка, я схватился за ее горячую руку, соврав, что у меня закружилась голова.

– Светик, можно, я расскажу анекдот?

– Приличный?

– Ну, конечно, разве я могу рассказывать *неприличные* анекдоты, у меня уже и мысли неприличные кончились.

Так вот, в большом городе один спасающийся от соблазнов праведник перестал выходить на улицу.

"В чем дело?" – спросили его.

"Я не хочу смотреть на обнаженных женщин", – заявил он.

"Но на улице они же одетые!"

"Ну да... а под одеждой-то – голые!"

– Вы это к чему? – слегка посмеявшись, спросила Света.

– Если поклянетесь, что не будете на меня сердиться, то скажу.

– Клянусь!

– Мне кажется... Я на Вас смотрю, и у меня голова кружится... Мне кажется, что Вы словно Афродита выходите из пены морской, и клочки пены еле держатся на Вашем прекрасном теле, на двух пуговицах, и кроме белых клочков пены на теле больше нет ничего. Это правда?

– Бесстыдник! Просто, очень жарко, вот я и разделась, я же не знала, что Вы припретесь... Да еще будете так смотреть, словно у Вас

не глаза, а рентгеновский аппарат. Ну-ка прижмурьтесь, а то я Вам глаза завяжу. Такой серьезный человек, еще и писателем притворяется...

– Нет уж, я договорю до конца.

Мне кажется, будто я вылеплен из воска, а от Вас идет такой жар, что я расплавляюсь. Но это расплавление – такое блаженство, что если бы я знал, что от меня больше ничего не останется, что я расплавлюсь и даже испарюсь без остатка, я от Вас не захотел бы отодвинуться.

Словно все женщины мира соединились в Вас одной, словно все желания, которые я за всю жизнь испытал ко всем, кто мне нравился, кто меня притягивал, слились в одно желание, я ощущаю все клеточки Вашего тела, все выпуклости его, все ложбинки, все изгибы и покатоги, Вы в меня вливаетесь, как река в океан... или, пожалуй, нет, это я в Вас вливаюсь.

Мне достаточно просто стоять рядом и смотреть, даже прикосновения излишни... Если бы еще одна только пуговица нечаянно расстегнулась... Я хочу увидеть дорогу в рай... Может быть, я хочу увидеть ещё больше, но... Тогда уже не доживу до утра.

Светочка сделала одно движение, попыталась плотнее запахнуть свой халатик, и тут пуговица и в самом деле нечаянно выскочила из петли.

Мы оба перестали дышать. Потом вдруг Света потянула меня вниз по лестнице.

– Старичок там лежит, а мы... бесстыдники... Боженька нас ругать будет!

Старичок и в самом деле лежал так, как я его оставил, не пытаюсь подняться, мы его положили на кровать, накрыли одеялом и вышли в коридор.

Голова моя кружилась, и временами мы прикасались друг к другу, словно нечаянно.

Вчера я снова начал писать стихи, вот послушай.

Жизнь выпила меня, я думал. Но теперь,  
Считая обретенья и потери,  
И в прошлое открыть пытаюсь дверь,  
Стою растерянный у прошлогодней двери.

Какие глупости я раньше писал, вознамерившись уподобиться ангелам небесным, а теперь я точно знаю, что нет ничего прекраснее, чем умереть человеком. Конечно, лучше умереть в медовых объятиях, чем на операционном столе, но я не хочу тебя пугать. Да и вообще я умру еще не скоро, не раньше чем поцелую тебя.

Мне показалось, что мы только чуть-чуть прикоснулись губами, голова моя еще сильнее закружилась, Света отступила на шаг, прижала палец к губам и побежала по коридору.

Я схватился за косяк двери, чтобы не упасть, на воздушных ногах вернулся в палату и бросился в постель, позабыв о завтрашнем дне.

### 3.

Часы пробили половину четвертого, я все еще не спал, в палату вошли двое – дежурный врач и большой грузный пожилой угрюмый мужчина.

Мне показалось, что по какому-то тайному умыслу мне необходимо было его дожидаться, словно я у перекрестка дорог должен был рассказать ему, куда дальше идти.

Да и самому себе.

– Как Вас зовут? – шепотом обратился я к нему.

Мужчина словно с трудом вышел из своего мрачного раздумья и медленно и неохотно ответил – "Евдоким Моисеевич".

– Редкое имя, – заметил я.

– Скорее, имя-отчество, сочетание имен. По отцу я еврей, а по матери русский, вот и получился с одной стороны Евдоким, с другой – Моисей. Правда, в еврейх я побывать не успел, отца арестовали еще до моего рождения, за участие в Троцкистской оппозиции, и на волю он уже не вышел, а мать бежала в деревню на Новгородчине, там и родила меня, да через год померла, так что я ни папенькин сынок, ни маменькин, а бабушкин – одна она у меня осталась из всей родни.

Вырос я в деревне, и стал самым обыкновенным русским, про отца своего подробности узнал только в пятьдесят шестом году, но уже евреем становиться было поздно... хотя от самого факта я не отказываюсь, но не придаю ему большого значения.

Да к тому же бабушка крестила меня на второй день, как я родился, и воспитывала в старинном духе, на все службы в церкви водила, у нас в соседнем селе церковь, слава Богу, не разорили. Так что я крещен, и моя "вера отцов" – вера бабушки. Да вот, боюсь, через день меня будут в третий раз крестить ...

– А почему в третий? Было и второе крещение?

– Да, было... Если не спится, то расскажу. Так вот, к осени 42-го года исполнилось мне тринадцать лет, и был я уже рослым мальчишкой, не только по дому помогал, но и во взрослую жизнь окунулся с лихвой, ходил на болото к партизанам, был, можно сказать, связным.

А когда в Ленинград партизаны собрали обоз с продовольствием, то от нашей деревни и я с бабушкой с ним отправился, тем более, что

путь его пролегал мимо наших мест, ехали мы с последней подводой, от других на отшибе, чтобы успеть схорониться, если нас догонят немцы или полицаи.

Ехали мы по ночам, проселочными кружными дорогами, не было вокруг ни души, а все же как-то догнали нас. С нами было трое партизан, завязался бой, нам велели бежать и схорониться в болоте, а уже был ноябрь, болото замерзло, но еще не везде, сначала мы бежали по краю, да за нами немец побежал, и стал стрелять из автомата, пришлось с бережка прыгать прямо в промоину. Я б тому немцу, если б сейчас найти, почистил морду, за старухой и мальчонкой охотиться начал, а видно было, что мы не партизаны...

Залезли мы в воду по самую макушку, только нос наружу торчит, за кустом схоронились, а немец сверху стоит и палит по кустам, не уходит, пока все патроне не расстрелял. А ноябрь... Вода ледяная, а он целый час почти сторожил.

И представьте себе, я даже не простудился. Бабушка после даже хотела мне еще одно имя дать, Евгений, да передумала, дед, говорит, Евдоким, и дед деда Евдоким тоже, должен ты нашу породу сбересть, других мужчин в роду нету.

А Вы почему не спите?

– Утром у меня операция, надо было передумать о многом, вот и не спится. Но, кажется, мне все стало ясно, что мучило, только я думал, что выводы следуют из правильных рассуждений, как в математических теоремах – предположение, условие, дано, требуется доказать... разматываешь цепочку силлогизмов и находишь правильный ответ. А на самом деле правильный ответ разматывается в событиях жизни, некоторые из которых даже, может быть, имеют характер знамений.

Происшествия, встречи, сны... всё имеет значение, и гораздо большее, чем выводы ума. Вот ведь и зверь тоже живет, как и человек, полноценной жизнью, и принимает решения, заводит семью, хворает, ищет лекарства, охотится, но – не размышляет, хотя каждому действию предшествует некоторая целесообразная цепочка событий.

Утром у меня операция, и я должен принять верное решение, и силлогизмы говорят одно, для них очевидное, а таинственное иррациональное жизненное начало – совсем другое.

У меня странное чувство, что я Вас ждал, что мои раздумья имеют и к Вам прямое отношение. Расскажите мне, как Вы попали в нашу палату?

– Ну, как я сюда попал, наверное, от меня не зависело, это просто случайность, шел, шел, поскользнулся...

Хотя, кто его знает, может, Вы и правы, я ведь человек

религиозный, и за случайностью пытаюсь найти сокровенный смысл.

Три дня назад у меня был День рождения, я отпраздновал семьдесят лет. А за три дня до того женился.

Вот на юбилее у меня совместились и юбилей, и свадьба, гостей было всего двое, одна гостя с ее стороны, один – с моей.

Друзей у меня почти нет, я жил одиноко, целых тридцать лет, как ушел из семьи, так и жил один, думал, что один и помру. С прежней семьей отношения я не поддерживал, дочь иногда звонила, раз в год, а сын даже и не звонил. С теперешней женой познакомился я в воскресной церковной школе, она тоже одинокая женщина, но еще молодая, ей только-только исполнилось пятьдесят пять лет, вышла на пенсию, с работы ее уволили... тут мы и встретились.

Казалось, вот, наконец, мы и нашли свое счастье, я даже выпил на радостях полстакана водки и шампанского два бокала, хотя перед этим жил как монах – ни женщин, ни друзей, ни выпивки.

И вдруг, словно что-то в организме стряхнулось, какая-то ось слетела, заклинило организм. Я все надеялся, что пройдет, два дня парился в бане, к врачу идти боялся, а три часа назад увезли меня на скорой помощи, я уже совсем подыхал.

Словно шел на праздник, нес в подарок цветы, и вдруг в темной подворотне мордой об стену – шарах! И цветы на помойку.

Даже не за себя обидно, а за нее, конечно, она говорит, что не бросит – да я сам уйду, зачем я теперь ей такой?

– Рано отчаиваетесь, Евдоким Моисеевич, Вы ведь мужик здоровый?

– Да не жаловался, никогда не болел, поэтому, может быть, так намертво и заклинило!

– Как заклинило, так и расклинит. У меня операция утром, а у Вас – на следующий день, так что отнесемся ко мне, как к *разведке боем*, если я не подорвусь, то и Вы пойдете той же дорогой, и напишете заявление, что кроме аппендикса, который нам дьявол подсунил, ничего вырезать не разрешаете, какими Господь нас создал, такими мы и должны умереть.

Врачи любят запугивать – это, мол, нельзя, то – нельзя, если их слушаться, то и на улицу выходить побоишься, там тоже подстерегают опасности. Якобы, они говорят, если резать не в полную силу, то мало шансов выжить, мол, если палец болит, то надо руку до локтя отхватить, чтобы наверняка победить холеру. А я думаю, что всё напротив, если мы с вами будем заранее знать, что все наше при нас остается, то, как говорят, медицина против нас будет бессильна.

– Но вы-то еще молодой, а мне уж, видно, пора и к Богу.

– Мой дорогой, да с Вашей статье семьдесят лет разве возраст? Да я Вам расскажу историю, которая вернет Вам веру в то, что жизнь чудесна и непредсказуема, и не подчиняется схемам.

Итак, слушайте.

Двадцать пять лет назад я и мой близкий друг познакомились с игуменом одного из прибалтийских православных монастырей, между нами возникла такая скорая и сильная симпатия, что на следующий день старец пригласил нас к себе в гости. Захватили с собой (с разрешения старца) мы и племянницу, девуцу 18-ти лет.

В келье был накрыт стол, стояли фрукты, салаты и множество бутылок с выпивкой. И что же? Оказалось, что старец хотел исповедоваться перед нами, тогда еще молодыми людьми. Было ему в то время 93 года, встречались мы и после еще не раз, он называл нас своими друзьями, а в тот трудный момент своей жизни переживал он тяжкий душевный кризис.

«Страсти кипят! – восклицал он перед нами. – Не знаю, что делать. Шестьдесят лет монастырской жизни, а мир меня искушает вновь так сильно, что подумываю, не бросить ли монастырь, и не жениться ли... И предложения есть!»

И это в 93 года!

А Вы говорите про какие-то детские семьдесят лет!

#### 4.

Кажется, уснул я около пяти часов утра, и хотя проснулся в семь, но спал, как мне показалось, очень долго.

Наскоро умывшись, я написал на одном листке Завещание, и сунул его под подушку, а на другом листке Заявление следующего содержания.

«Я верю, что Господь Бог не нуждался бы в помощи хирурга, если бы захотел превратить меня в ангела; посему не даю разрешения на какие-либо изменения в плане творения, по которому был сотворен наш прародитель Адам.

С уважением, имею честь, и т. д.»

В половине восьмого в палату заглянул "Иоанн-Креститель", принимавший меня второго января и не давший улететь на небо.

Он тогда прибежал ко мне каждые полчаса, чтобы удостовериться, что я еще жив, и уговаривал:

"Василий Алексеевич, потерпи, голубчик, не умирай, у меня трое из автокатастрофы, счет идет на минуты, а ты сибиряк, ты выдержишь!"

Наконец, дошла и до меня очередь, я и впрямь *выдержал*, Петр Федорович сам привез меня в палату, глядел на меня влюбленными

глазами и восклицал – "Ну ты и жилистый мужик! Как ты вообще праздники протянул, ума не приложу!?" Нет, тебе теперь даже медицина не страшна!"

Мы, конечно, мгновенно сдружились, и при каждом дежурстве Петр Федорович забегал к нам, чтобы поболтать – а болтали мы чаще всего "о бабах".

И вот рано утром он влетел к нам в палату, и удивился, что я уже на ногах.

– Алексеич, а ты что ж не спишь? Разве тебе не сделали вчера уколы?

– Видно, на эту ночь судьба моя имела другие виды, со мною происходили разнообразные приключения, и они еще не закончились, в частности, и Вы должны ответить мне на один вопрос.

Я показал ему Заявление и спросил – "Это правда, что при варианте операции, *не умаляющем гордыню*, шансы выжить падают чуть ли не в десять раз?"

– Ну, это враньё, никто не располагает такой статистикой, просто считается, что... в общем, никто не хочет лишнего риска...

– А какой вариант предпочли бы вы?

– Мм... я не имею права давать тот совет, который ты думаешь услышать, я врач, а врач обязан бороться за жизнь больного, и если надо отрезать ногу или руку, чтобы пациент остался жив, хирург отрезает все, что нужно.

– Тогда скажи мне не как врач, а как друг – что бы ты выбрал?

– Ладно, припиши к своему Заявлению две фразы, я продиктую, только не говори никому, что это я толкнул тебя на минное поле. Повидимому, достоинство выше жизни, что бы ни говорили проповедники смирения. Но я верю, что ты выдержишь все испытания, когда тебя привезли, было еще хуже, так что иди за своей звездой, и она тебя выведет.

У тебя удивительное свойство, ты заставляешь к себе привязываться, а хирург не должен пациента принимать близко к сердцу – почему и не оперируют близких.

В восемь часов пришел мой сын сдавать для меня кровь, в половине девятого сестра принесла лекарства, которыми не располагала больница (сегодня и это обстоятельство вызывает у меня печальную улыбку), а в половине десятого Света прикатила "каталку".

– Большой, Вы готовы? Быстро всё с себя снять, и лечь в каталку на спину.

– Отвернитесь, я не могу раздеваться при женщинах.

– Я не женщина, а медсестра, и Вы не мужчина, Вы – больной. Ну-ка быстро раздеться, а то сейчас позову Марию Федоровну! (Марья Федоровна была сестра-хозяйка, почему-то ее все страшно боялись, даже врачи).

Пришлось подчиниться, я лег, сгорая от стыда, и прикрывая листком бумаги грешные места, и Светочка выкатила меня в коридор, по которому катился поток холодного воздуха.

– Светик, солнышко, ну хотя бы простыней прикрой, мне же холодно!

– Ничего, скоро будет жарко, а простыня у меня одна, я Вас накрою, когда повезу назад, она должна быть стерильной. А это у Вас в руке что за "фигня"? Специально, чтобы прикрыться?

Вся палата вышла в коридор, провожая меня.

– Света, Алексеича привезешь назад к нам, мы уже договорились, никакой реанимации, в своем доме и стены помогают, а наша палата – наш дом.

В десять Светочка вкатила меня в операционную, я отдал свое заявление Главному, и он вспомнил и моих родителей, и Еву, и Адама, а про меня сказал, что надо было удавить меня еще вчера, меньше бы и я мучился, и бригада.

– Ребята, Вы не расстраивайтесь! – виноватым голосом попытался я их утешить. – Можно, я расскажу анекдот на прощанье?

– Ну, валяй! Хуже уже не будет.

– На злобу дня, так сказать. В общем, одному больному сделали операцию. Все прошло хорошо, больного положили на каталку, и санитар повез его по коридору. Везет, везет, долго везет, спустились на один этаж, на другой, больной в недоумении спрашивает:

– Санитар, куда Вы меня везете?

– В морг!

– Но я же еще не умер!?

– Так мы еще не доехали!

"Ну, что я говорил? – развел руками главный хирург. – Он еще нас доведет до инфаркта."

В половине одиннадцатого под негромкие звуки музыки я поплыл по реке, лодка слегка качалась.

И вдруг я услышал голос Великого Инквизитора: "Так ты не хочешь расставаться с грехами?"

– Не хочу.

"Положите на него раскаленные угли!"

Было около одиннадцати часов утра, я очнулся и начал кричать.

[Но об этом следует забыть.]

В час дня Света повезла меня в палату, я хотел спросить у нее, куда она меня везет, но губы меня не слушались, с трудом я мог выговорить только открытые гласные.

Я жив! – это я чувствовал ясно, и только боль, хотя уже не столь сильная, мешала мне быть счастливым. [Не знал я, к счастью, как далеко еще мне до выздоровления.]

Второе сильное чувство, которое я испытал, было чувство любви, соединившее меня с родными и близкими – они суетились вокруг моей постели, поднимали изголовье, махали полотенцем перед моим лицом, ходили на цыпочках, говорили шепотом и источали любовь.

Я всё чувствовал, понимал, даже хотел сказать, что я всех люблю, но не двигались губы, и я усиленно моргал глазами, предполагая установить новый способ общения при помощи моргания.

Неожиданно боль стала отступать, глаза закрылись, музыка полилась откуда-то сверху, тело мое стало приподниматься над кроватью и вдруг полетело ввысь.

А героическая Светочка еще не ушла с дежурства и шла в палату, чтобы попрощаться со мной (*героической* я прозвал ее из-за одного отчасти смешного случая, где она тоже меня спасала... впрочем, не буду о нем говорить...).

Возможно, ей пришлось подпрыгнуть, чтобы успеть ухватить мое улетающее тело, но она успела, и всадила укол в мою исколотую попу, даже не успев отдернуть простыню. Музыка оборвалась, я свалился с неба и мне стало больно и скверно.

– Я ведь предупреждала, явила Света через два дня, что если Вы будете себя плохо вести, то потом на спине Вам будет больно лежать!

Кстати, в довершение этой короткой истории хочу сделать одно небольшое замечание.

Часто говорят о полетах души на небо во время клинической смерти, будто бы человек, умерший лишь на короткое время и насильно возвращенный к жизни, вспоминает потом о полетах души.

Я думаю, что в большинстве случаев речь не идет о мистическом или метафизическом опыте. Когда человек умирает, и сознание начинает его покидать, он переходит границу между жизнью и смертью и испытывает состояние, подобное тому, что и при засыпании. При этом угасающее сознание видит один или несколько снов (ведь и при засыпании сознание угасает) – вот эти сны и вспоминает временно умиравший, когда просыпается к жизни.

Мистический (или метафизический опыт) сопутствует другому, противоположному переходу – не от иллюзорной реальности к небытию, а от полубытия бодрствования к свету Пробуждения.

## ВСТРЕЧА НЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

В вагоне поезда Москва-Владивосток, а точнее сказать, в ресторане, за одним столиком встретились три уже немолодых человека: двое мужчин и одна женщина.

Кирилл Афанасьевич, слегка за шестьдесят, был навеселе, еще почти не закусывал, ресторан был пуст, и случайного посетителя пригласил к себе широким жестом.

На столе стоял графин с водкой и огуречный рассол в банке, не считая разнообразной закуски.

– Как Вас по имени-отчеству?

– Игорь Иванович...

– Не волнуйтесь, уважаемый, нынче многие из нас *не при своих*, а так как это я Вас приглашаю, то выпивка и закуска – моя! Чтобы Вы не чувствовали себя неловко, можете заказать сок или лимонад.

– Жарко... Водку пить я даже побаиваюсь... Врачи, правда, и вовсе пить ничего не рекомендуют.

– А вот, кстати, идет и барышня! (барышня, кстати, была их ровесницей, но выглядела моложаво, хотя и печально).

– Что Вы предпочитаете, уважаемая, шампанское или сухое вино?

– Вы меня приглашаете? – с чуть заметным акцентом отозвалась дама.

– Не только приглашаю, но даже готов встать на колени, чтобы вы согласились составить нам компанию! Мы люди вполне приличные, в обществе не напиваемся, культурны и обаятельны.

– Да, я это уже успела заметить. Спасибо за приглашение, будем считать, что вы собрались распить "на троих", и в моем лице ждали "третьего" – не так ли?

– Что ж, можно считать и так, но у меня есть и более важный повод – ко мне возвращается жена.

– Значит, уместно шампанское. Кстати представлюсь, – добавила дама, усаживаясь, – Елизавета (если по-русски), а если неудобно звать просто по имени, то ещё и Петровна.

– Я слышу, что Вы говорите с акцентом, – заметил Игорь Иванович.

– Хотя когда-то я была русской и говорила без акцента, но вот уже почти сорок лет живу за границей, сменила гражданство, сменила мужа, сменила язык... Так что я *бывшая* русская, даже и не русскоязычная.

– Немного странно это слышать. Можно стать бывшей женой, бывшей турецкой подданной, но стать бывшей русской, мне казалось, нельзя!

– Все проходит, даже любовь, даже партийная или религиозная принадлежность, почему же не пройти и привязанности к народу?

– Ну, кстати о любви, – отозвался Кирилл Афанасьевич, разливая в бокалы шампанское. – Мы с женой любили друг друга, и расстались... налетела буря, разметала нас в разные стороны.

Я затеял амуры со своей студенткой, она строила глазки заведующему кафедрой. Но я держался. Ушла она. Так просто, внезапно, ничего с собой не взяла, оставила на столе записку: "Сбежала с проезжим офицером".

Потом мы встретились, объяснились, у нас установились прекрасные отношения, и оба мы были счастливы, каждый в своем.

И вот, почти в один год, у нее умирает муж, от меня уходит жена, мы встретились на похоронах, у каждого из нас нет никого ближе. Так и получилось, что сначала помогали преодолевать друг другу горе, а теперь – пытаемся еще и познать новую радость.

А сегодня она прислала мне сообщение: всё решено окончательно, во вторник я возвращаюсь к тебе. Целую, люблю, твоя Валюшка.

Вот как оно бывает!

И он разлил всем еще по бокалу шампанского

– Кстати, не расскажете ли и вы какую-нибудь историю о любви, трагическую или смешную, но именно выпадающую из порядка вещей, как эта моя встреча после двадцатилетней разлуки?

Игорь Иванович задумался.

– Знаете, я поэт, и поэтому существо ветреное и влюбчивое.

Много было в моей жизни встреч и расставаний, и влюблялся я иногда в самых невероятных обстоятельствах.

Влюбился я даже в прокуроршу, обличавшую меня на процессе. Правда, объясниться ей в любви мне не удалось. Я начал говорить о том, что даже смерть из рук прекрасной женщины – награда – но меня лишили права голоса и пообещали вывести из зала суда.

Впрочем, есть одна история, которая стоит того, чтобы остаться в памяти хотя бы нескольких человек.

После тюрьмы меня перевели в тюремную психиатрическую больницу, с свободами и правами еще меньшими, чем в тюрьме, да и притом с неопределенностью срока. Больного освобождали лишь с условием, что он отказывается от своих общественно-опасных идей, в моем случае я должен был доказать, что я ЛЮБЛЮ Советскую власть. Дело в том, что осудили меня за то, что я её НЕ ЛЮБЛЮ – так было сказано в Приговоре.

В последний год моей неволи я пребывал почти в санаторных условиях – содержали меня в отдельной камере-палате, которая закрывалась только на ночь, а днем я ходил по коридору, и даже меня выводили на разные легкие работы на территории тюрьмы..

К тому же, персонал тюрьмы-больницы любил меня, и для меня было множество льгот, так как я считался "человеком необыкновенным".

Особенно близкие отношения установились у меня с молоденькой сестричкой, с которой мы часто выстаивали в доверительных разговорах.

Она, как оказалось, тоже была диссиденткой, в мое безумие не верила, да к тому же, как положено в романтических обстоятельствах, была красива, умна, обаятельна и обладала волнующей женской силой – короче, очень быстро свела меня с ума.

Я написал в ее честь множество стихов – именно стихами пытался я завоевать ее сердце!

К сожалению, при освобождении тетрадь со стихами потерялась ... помню я лишь отдельные строки, посвященные ей. Впрочем, стихи были слабыми, и поэзия не много потеряла от их утраты.

Стихи ли мои на нее действовали, или романтические обстоятельства, но так или иначе, постепенно и она начинала волноваться при наших встречах, и грудь ее трепетала, и дышала она... да, так сладко, так трепетно было ее дыхание, что голова моя еще сильнее кружилась.

Но мы не могли не только взять друг друга за руки, но даже придвинуться поближе.

О, как я мечтал оказаться с нею в других обстоятельствах, менее романтических, но где мы были бы только вдвоем! Я грезил о ней днем и ночью, я представлял ее своей возлюбленной, любовницей... короче, все больше сходил с ума, подтверждая диагноз советской системы.

Так наступило 31-е декабря, ей выпало дежурить в тюрьме в Новогоднюю ночь (и я думаю, что это она сама вызвалась).

Ближе к полуночи затих шум в больнице, затихли шаги охранников, и вдруг в камере погас свет (который горел днем и ночью), а через несколько мгновений открылось окошечко – "кормушка" – в двери.

Целоваться через это окошечко было страшно неудобно, но мы все же слились в поцелуе.

– Миленький, я договорилась с корпусным, взамен обещала ему кое-какие лекарства... Я пыталась уговорить его, чтобы он открыл твою дверь, но... он не согласен ни на какие условия... Кроме одного...

– Какого же?

– Сам мог бы догадаться! После встречи с тобой я должна была бы остаться на ночь с ним.

Мы целовались, я ласкал ее грудь, наконец получил неземной подарок, прижавшись к ее груди губами. Что мы только не шептали в порыве восторга, в каких словах не выражали нашу страсть и жажду друг друга – но все было тщетно, проклятая железная дверь нас разделяла! Быть вместе было блаженством, но оно было мучительно.

– Решать тебе! – сказала она, плача. – Или мы заплатим такую цену, или я сейчас уйду, я не могу больше терпеть эту пытку!

Игорь Иванович замолчал, затем добавил: Выпьем за величие и отчаянность женщины!

Все выпили, никто ни о чем не спрашивал, хотя история была недосказана.

– А что наша прекрасная дама? – воскликнул Кирилл Афанасьевич. – Не может быть, чтобы у нее не было какой-нибудь романтической истории, да может быть и под Новый Год?!

– Да, были и у меня в жизни разные приключения, не скрою, – низким бархатным голосом отозвалась дама, сняла очки, протерла глаза платочком. – Но, к сожалению, через 20 минут моя станция, а мне еще надо собрать вещи. Могу добавить к вашим рассказам две-три фразы.

Ну, вот, например, из Апухтина:

*Она была мечтой поэта,*

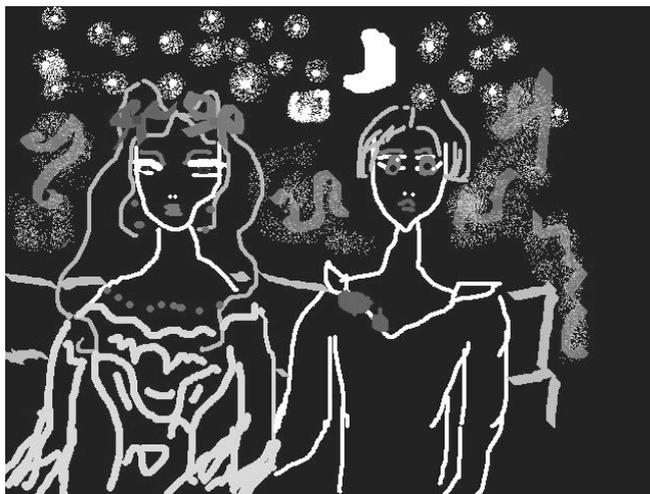
*И слава ей венок плела!*

Затем решительно встала из-за стола и, не прощаясь, вышла.

1977 – 9 июня 2012

IV

# ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОРИИ



## ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО, ИЛИ ЗАПИСКИ НА КОФЕЙНЫХ ЛИСТКАХ

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Прежде чем представить эти записки на суд – не скажу – широкой публики, но хотя бы двух-трех ценителей литературы или, по крайности, специалистов в области психиатрии и государственной безопасности, позволю себе прибавить несколько слов, объясняющих обстоятельства, при коих записки эти ко мне попали и возбудили мое любопытство.

Итак, был тоскливый предновогодний вечер. Приятельница моя, милостиво приютившая меня на часок, чтобы выслушать сетованья на жизнь и утешить кофеем с земляничным вареньем, убежала на кухню мыть чашки, я же обратил внимание на стопку листов, служивших подставкою для кофейника. Несмотря на кофейные пятна и неразборчивое письмо, я таки дочитал их до конца и нашел в них некоторые литературные достоинства, а сверх того искренность и горячее, или, быть может, *горячее*, лихорадочное, тревожное чувство, как пульс оживляющее давно уже безжизненные слова. Очаровательная подруга моя уступила листки мне на вечер, я снял с них копию, и вот рискну отпечатать три экземпляра (о, никак не более!) и, быть может – с ее разрешения – предложу прочесть их избранному кругу лиц.

Записки носят слишком личный – или, как говорят, *интимный* характер, но все подробности, открывающие личность автора, а также адресата, я постарался опустить. Прошло, вероятно, не слишком много времени с той поры, как они в лихорадке были писаны и передавались в дрожащие руки героини, но, к сожалению, она уже не помнит, кто же это из ее многочисленных поклонников так нежно и страстно за нею волочился.

– *Да кости его уже давно, поди, истлели!* – меланхолически заметила красавица, доливая мне горячего кофею, – и сто́ит ли об нем так сокрушаться?!

– Но разве истлела его душа, запечатленная на кофейных листах? – пристрасно я возразил, уже ревниво сочувствуя автору. Сознаюсь, многое показалось в нем созвучным мне самому, даже временами возникало чувство если не тождественности в ощущениях, то – *аналогичности*, как будто линии наших судеб близки и параллельны.

Строго я взглянул на красавицу, в ее глаза заволакивающие и дурманящие – о, какие глаза! Как они красивы, нежны, загадочны! Что-то забытое начало вдруг подниматься с низин души... Но нет, нет! Теперь мое все не важно, всецело теперь внимание кофейным листкам, тем паче что мое все в них почти выражено.

Итак, благосклонный читатель и следователь! Итак, неблагосклонная красотка!

Слово уже не мне, а страдальцу, *кости которого давно истлели*.

Быть может, я буду возникать и в дальнейшем, а посему, чтобы не было путаницы, договоримся так – себя я буду называть Издателем, несчастного влюбленного именовать буду Автором, третье же лицо, проявившееся в сих записках, и в некоторой степени тоже являющееся их автором, назову *Третьим Лицом*. Итак, слово Автору.

## ГЛАВА 1

### ОТВЕРГНУТЫЙ

17 июня 1984 года Александр Николаевич Мухин, преподаватель древнегреческого языка в 9-м классе специализированной школы № 7, сошел с эскалатора на станции Гостиный Двор. Был час пик, толпы народа обтекали его с обеих сторон, двигая то в одну, то в другую сторону, а Александр Николаевич судорожно втягивал воздух и вытягивал шею, пытаясь в толпе разглядеть в белом в серую точку платье, с развевающимися волосами и в синих глазах как зеленый луг в колокольчатом море. Он бежал по эскалатору вверх, задыхался, сердце билось неровно от горького недоумения и нежелания верить нелепой правде.

Да еще проклятая старая цыганка вцепилась в его рукав костлявой рукой, он еле вырвался, но она бежала за ним легко, не отставая.

– Позолоти ручку, пригожий молодец, не пожалей копеечку бедной вдове, скажу всю правду, не утаю, зря гонишься за красотой ненаглядной, не ищи красивую, а ищи верную, красота для глаз, а верность для сердца.

– Денег нет, – мрачно ответил Александр Николаевич. – Нет денег, нет удачи, ничего нет, впору повеситься.

Он сунул руку в карман и неожиданно нащупал две медные монеты, вытащил было обе, но передумал, копейку сунул цыганке и бросился вперед.

– Пятак отдай, отдай пятак! – закричала визгливо старуха, но уже Александра Николаевича притиснуло к длинному прилавку у перехода на Невскую линию, вдоль которого плотно жались

любопытные люди. Вверху висела веселая надпись: Дешевая распродажа: "Пластмасстрест" и "Бумпром", грудами были навалены пластинки Шультьёсова, брошюры по сельскому хозяйству, толстые политические речи и конференции, и потрепанные старые книги по медицине и Бог его знает еще по каким наукам:

"Распространение кукурузы к северу от 60-й параллели".

"Решения основополагающего съезда стоматологов – в жизнь!"

"Двурушничество двуликого Януса" ...

Меланхолически перебирал Александр Николаевич брошюры и книги, и ладонь оцарапал о бронзовую застёжку.

Коричневая пыль въелась в пергамент, на полях еле видно проступали позеленевшие заметки тушью на латыни, основной же текст был на халдейском.

– Отдай! – сурово проговорил худенький старичок в пенсне, неожиданно грозный при тщедушной фигуре и, ухватившись за обложку, потянул книгу к себе.

"Предсказание судьбы и толкование снов, книга наговоров тайных и прозренья сквозь видимую пелену мира" – прочел Александр Николаевич и книгу не выпустил.

– Еще не продана? – спросил он у букиниста, лениво листающего журналы ушедших мод.

– Нет, кажись...

– Почём?

– По деньгам...

– Деньги-то есть... – краснея, соврал Александр Николаевич – но деньги деньгам рознь, так что – по чьим?

– А коли есть, так и по твоим... Да ты посмотри, там в конце цена обозначена.

Дрожащей рукой развернул аудитор последний лист, испещренный пометками книгопродавцев и владельцев и, наконец, разыскал в нижнем углу треугольный штамп и надпись:

"Уценена... Макулатурная база Главбумснаб, 1937 год, цена пять копеек."

– Вот, – робко он протянул заветный пятак. (Хорошо, что вчера не закусывал – промелькнуло туманно в душе).

Продавец взглянул так же меланхолически, пятак принял и отвернулся.

– Да что он мелет? – Взъерился старик в пенсне. – Чего он дает? Этой книге цены нет, она немалые тыщи стоит, а он ржавый никель суёт! Отдай книгу, я за нее хорошие деньги дам!

– Гражданин, не наваливайтесь на прилавок, у нас не спекуляция, а продажа по преискуранту, вот, ознакомьтесь! – И ошеломленному

старика продавец сунул в нос потертую тетрадь, где на первой странице было: "Мелиорация всей страны в свете решений", старая цена 17 коп., новая цена 1,7 коп.

Александр Николаевич увидел вдруг платье с горошком серым и решительно подошел, оставив прилавок сзади. Книгу держал он раскрытой в левой руке, и невольно взгляд пробегал витиеватые строки, но высоко поднимал над толпою, чтобы не измять, громадный букет белых, как пена, пионов, роскошно-томные лепестки которых, дергаясь за беспорядочно-бьющимся сердцем, обрывались как клочья пены и падали на пол.

– Юлия! – отчаянно выкрикнул он, задыхаясь. – Два слова, минута только – и я уйду, клянусь тебе, и не буду преследовать, я обещаю, но остановись теперь, это последний раз, умоляю, это необходимо – и всё, уйду!

– Уходи немедленно, я тебя видеть не хочу! – яростно закричала Юлия, закрывая лицо руками – и, отвернувшись, бросилась к двери, но дверь была закрыта.

– Я заклинаю тебя, это последний раз, время проходит в мольбе и твоей ярости, но если ты повернешься и взглянешь в глаза мне, и одну только фразу скажу тебе – то больше не нужно будет ни ярости, ни мольбы, кончится всякое время, и меня около больше не будет ни сегодня, ни завтра. Ты не хочешь дать мне одной только минуты прощанья, но зато как много нелепых минут!

– О, Господи, оставь меня, я тебя ненавижу!

И она бросилась бежать по длинному коридору, а аудитор бежал сзади, в волнении и стыде взывая:

– Остановись на минуту, и вслед за этим ты будешь свободна! Ты простишь минуту передо мною, и я не буду больше бежать сзади, ты убегаешь, чтобы поскорее избавиться от меня, но я буду бежать за тобою, пока ты не ответишь мне. Ну для чего тебе так много минут ненависти вместо всего лишь одной минуты расставанья, о которой тебя заклинаю?

Влево по переходу на Перинную линию устремилась толпа, и Юлию подхватило, взметнуло вверх по ступенькам и словно прибоем оставило в грязном замусоренном зале... В углу на треногом стуле сидела скрюченная старуха, похожая на цыганку, и острым кривым зубом ловко щелкала грецкие орехи, выплевывая скорлупу на пол.

– Как она удивительно похожа на давешнюю гадалку! – подумал Александр Николаевич – а вот и рисунок на 57-й странице, глава под названием "Толкованье о том, что есть".

"Происшествия, впечатления от них и мнения суть те сновидения, которые проходят туманными образами перед взором спящего, медленно бредущего по каменистой дороге к обрыву.

Вот повеяло свежим ветром из темного подвала, и спящий улыбнулся – снится ему зеленый луг и волнистые колокольчики.

Но есть вовсе не то, что снится, и судьба открывается лишь усилию спящего проснуться. Тогда только видимый отблеск, данный в происшествиях, совпадает с глубокой сущностью представляемой на сцене жизни трагедии".

– Что за дрянь орехи! – бормотала старуха. – Нет ни одного полного, все пустые души. Тут впору с голоду умереть. Нет, теперь все не то, что в былое время, не тот люд пошел, пустой и мелкий. – И она подхватила еще один орех, как будто радостно ослабившийся в ее темных узловатых пальцах, мигом разгрызла и выплюнула.

– А говорили, что культурный европейский город, что будто на Невском тротуары деревянные, и будто их моют каждое утро! – сердито проговорил старичок в пенсне. – Нет, дрянь городишко, кругом только зеваки, да ученые белки по деревьям прыгают и орехи грызут.

Аудитор протер глаза. Вверху у входа висел плакат: Временная выставка русских народных промыслов. Картина из дерева, коры, ореховой скорлупы и тополиного пуха. Живой уголок и "Философия общего дела".

На старом ломаном стуле сидела маленькая шустрая белочка, и злобный старик протягивал на изумрудном блюде горку орехов. Рука его мелко дрожала, на отполированной поверхности камня отражался тесный зал, длинный коридор, прилавок букиниста, эскалатор, извергающий из недр все новые толпы людей, переход на Перинную линию и туманные дали, в которых терялись вереницы комнат и залов громадного здания. То, что показалось вначале грудой орехов, было толпой снующих взад-вперед людей, как будто увиденной в повернутый другой стороной бинокль, и хищный зверек уже протягивал лапку к фигурке в серебристой облатке с вьющимися каштановыми локонами.

– Пустая душонка, пустая душонка, – казалось, складывались в удивительные слова легкие посвистыванья зверька, и острый зуб уже примеривался, уже вытягивался, уже будто облачко страха и боли облекало еще не знающую страха и боли фигуру.

– Остановись! – закричал в ужасе аудитор и толкнул стул. Блюде упало, орехи рассыпались по полу, белка взметнулась по сухому стволу дерева и спряталась на вершине.

– Ну, уж вы никого не замечаете, молодой человек! – проворчал, скрывая неприязнь, мелкий пожилой прохожий, споткнувшийся об упавший стул.

– Простите, да мы, кажется знакомы? Мы встречались у

Евгении Павловны. Вы приходили жаловаться, что Юлия не ходит на Ваши уроки и совсем забросила историю Древней Халдеи и основания совместной магии. Надеюсь, Вы перевели ее в следующий класс?

– Да, она уже в десятом, но это не я жаловался, напротив, ее я хвалил и потакал, – сухо отвечал учитель древности.

– Вы так увлеклись чтением, что как будто совсем исчезли из нашего мира. Что это у Вас за книга в руках?

– Чтение тут ни при чем, я и без него не в этом мире, а книга – что ж, извольте – "Волшебство и магия в Древнем Египте, мир внешний и внутренний и связь их между собой, именуемая Религией. Священные тексты, найденные при раскопках в Александрии".

Александр Николаевич сухо кивнул головой и сделал движение, пытаюсь уйти, но бывший провизор поймал его за рукав.

– Помилуйте, да это лживая книга, я читал ее. Там, что ни страница, то неправда, там нет ни грамма истинной философии. Ну что тут пишется, вот – "она клялась ему в вечной любви, но душа ее спала, и клятвы были лживы". Я знаю текст подлинный, там все было иначе, там говорилось, что "были лживы клятвы..." Это все редактор, он настоял в перемене слов, он говорил, что немного сфальшивить, чуть притвориться, слегка покориться – небольшой грех, если цель Велика. Но он грозил, что в противном случае рукопись вовсе не увидит света, и потому необходимо чуть притенить свет, чтобы осветить тьму. Вы не находите?

– Но спящие проснутся?

– Да что Вам до спящих? Вы же творец, создатель. Вы носите камни на здание всечеловеческой культуры, и оно все растет и ширится...

– А семена не прорастают... – заметил учитель древности.

– Ась? – отозвался бывший провизор.

– Если одно только слово переставить не потому, что внутреннее зрение и слух художника так слышит, а потому только, что так нужно слепой внешней силе, то уже все слова, и все образы, и все звуки и краски будут служить не Пробуждению, а Подавлению. Разве Апостол Петр не предал учителя единственно тем, что промолчал?

– У вас тут, кажется, ученая беседа? – раздался скрипучий голос старухи в цветном цыганском платье. – Приятно видеть столь сильное самообладание у современных молодых людей! Его возлюбленная идет на свидание к жирному Августу, и сегодня ночью станет его любовницей, а отвергнутый учитель беспечно проводит время в философском споре...

## ГЛАВА 2

**НАД ПРОПАСТЬЮ**

Расталкивая прохожих и прижимая букет и книгу к груди, бросился Александр Николаевич сначала по переходу, затем выбежал на Екатерининский канал и далее к сияющим куполам Храма на Крови невиннейшего из всех русских царей.

– Остановись, Юлия, остановись, не наклоняйся над бездной, там нет величия, там лишь смрад и тление! – кричал Александр Николаевич, как будто прекрасная Юлия могла его слышать. Прохожих было много, одни спешили после рабочего дня домой, другие же, быть может, решили насладиться ясным весенним предвечерем в Гефсиманском саду и тоже спешили, пока капризное северное солнце не спряталось за тучи.

– Остановитесь же и Вы, дражайший учитель! – схватил его за фалды куртки где-то виденный на толкучке разносчик книг Мокей Львович Поперышко, он же магистр ордена "Святого Извоза" Серпилий Климент Релятивус.

– Не думаете ли Вы, что громкий голос и пафос негодования – это все, что нужно юной особе, спешащей к обрыву, чтобы вдруг опомниться и воспеть с ангелами? О, Вы не знаете юных особ, дражайший аудитор и знаток Халдеи! Вы не знаете, сколько в этих ясных невинных глазках желания и воли к падению, сколько запретных и не невинных слов бродят в их туманных хмельных головках, и какие чудовищные образы хлопают крыльями и устраиваются им на грудь, в то время как щеки их заливают румянец от Вашего постороннего случайного взгляда! Да мрачный Демон – всего лишь дитя рядом с их невинностью! А Вы приказываете остановиться уже у приоткрытой двери, которая манит и обещает... вот тут-то вся штука в том, что обещает нечто не совсем определенное, нечто почти загадочное и неясненное, ускользающее, непонятное, неизведанное, похожее на волшебный сон, на сладкое и страшное вместе, словом волнующее, как говорят поэты, до глубины души, а я бы сказал – до кончиков их розовых пальчиков, до лакированных коготков и ленты в волосах! А что предлагаете Юлии Вы взамен? Величайшую в мире награду – Добродетель! А что она с нею будет делать, если и своей ей девать некуда? Предложите свободу ребенку – он не поймет, что Вы ему предлагаете. Вот подождите немного, пусть Ваша драгоценная Юлия уже *трезво* оценит изящество и утонченность... гм, как бы это помягче сказать?.. несколько тяжеловесного Августа, пусть она разочаруется в нем, пусть поплачет над своей загубленной молодостью – о, вот тогда она

падет на Вашу грудь и снова заплачет, но уже очищающими слезами покаявшейся и прощенной, и Вы пойдете вместе по сияющим путям Добродетели к неизреченным горным высям, где ангелы поют и демоны скрежещут, где свет и чистота и благоухание...

Да поймите же Вы, несносный праведник, что никто не ест несоленого супа, что пройти под руку с грехом заманчивее, чем с тощей праведностью... да не вцепляйтесь Вы так в мою бороду, уж лучше схватите за руку Вашу чистейшую голубку, вон она наклонилась над бездной и в глазах адский пламень!

И Мелхиседек протянул к глазам Александра Николаевича бронзовое полированное зеркальце, в котором и впрямь что-то мелькало, что-то сливалось, вот уже резче обозначились очертания Юлии – и что же она делала?

– Нехорошо подглядывать, молодой человек! Чему же Вы учитесь своих барышень, если сам такой бесстыдник?

– Что Вы от меня хотите? – собравшись с духом, сколько мог твердо спросил несчастный влюбленный. – Может быть, Вы хотите денег?

– За что?

– Ну, я не знаю за что... Но как будто Вы имеете власть, по крайней мере, над нечистой силой...

– Дай двадцать копеек! – вдруг раздался требовательный голос неряшливой нищенки, и Александр Николаевич машинально запустил руку в карман, в котором – уж это-то он точно знал – ничего не было, пораженный, нащупал копейку и отдал старухе.

– Другие мне и рубли дают! – визгливо возразила она, однако копейку схватила жадно.

– Больше ничего нет, да и это-то неизвестно откуда... – оправдывался Александр Николаевич, но старуха уже сгинула, и противно и насмешливо улыбался магистр.

– Какие же деньги Вы мне сулили, дражайший, если у самого ни гроша? Впрочем, не унывайте, деньги мне действительно нужны, да я и не много прошу, Вам вполне по средствам – а нужно мне пять копеек, и сию же минуту, ибо иначе будет поздно, и если я властен над несбывшимся, то над сбывшимся, увы, даже я не властен! Итак, поспешите, ржавый пятак – и Юлия рассмеется весело и беззаботно, и, потянувшись, скажет: "Фи, какая чушь лезет мне иногда в голову?!"

Ну, так что же?

Александр Николаевич догадался. Пятак стояла проклятая книга, за которою охотились демоны тьмы.

В этой охоте они готовы были даже Юлию превратить в живую мишень, в залог, в разменную монету, в ходовой товар, или же в эшафот, на котором – чик! – и оттяпают голову аудитора, а Юлия –

что ж! – еще, быть может, его же голову преподнесут ей на блюде и она будет счастлива, ибо много ли понимает глупая, хотя бы и ученица учителя древности?! Всемирный Массонский заговор оплел своей паутиной Александра Николаевича, сам Великий магистр снизошел до того, что со сверкающим копьём прибыл поразить бедную мушку, когда она увязнет беспредельно – и что же, стояла ли книга живой человеческой души? Александр Николаевич раскрыл последний раз бронзовые застежки, буквы задвигались, затанцевали, маленькая фигурка полуобнаженной девушки заскользила к краю страницы, а черные бесенята букв реяли вокруг нее, складываясь в удивительные слова: "Не покидай меня, мне будет без тебя одиноко, я ведь твоя волшебная запутавшаяся половинка!"

– Юлия, я с тобой, я тебя не брошу! – вскричал аудитор и, захлопнув книгу, всунул ее прямо в пухлые ручки разносчика и масона.

– Но, увы, и это еще не все, дражайший и многоуважаемый, теряющий голову от любви и ревности! Есть еще одно условие, ах, весьма неприятное для вас, но поверьте, я ничего не могу поделать, таковы правила в том магическом мире, в который я дерзаю вмешаться. Видите ли – ах, а Юлия уже занесла ножку над пропастью, бедное дитя, я уж и не знаю, успеем ли мы ее спасти, да и послушается ли она наших увещаний... впрочем, время идет, надо спешить! – так вот, дражайший, не все на свете продается, и не все покупается, этого ли вам не знать? А уж тем более не все на свете продается и покупается так дешево, как Вы предложили.

Ну, ну, я не говорю, что речь идет о покупке Вашей несравненной – нет, она выше подобных предложений! Но ведь купля-продажа присутствует – да и не только присутствует, а является сердцевинной и сущностью того, что теперь соединяет нас! Я хочу купить у Вас книгу, чтобы насладиться ею затем в тиши уединения, а не как Вы, в толпе и наспех. Вы же покупаете у меня сердечный покой и надежду на будущее, так сказать, откупаетесь от счастливого соперника... Или того хуже, Вы уж меня простите, но ведь Вы не сопернику платите, Вы, так сказать, нанимаете шайку злодеев, или, во всяком случае, их предводителя, как Вы полагаете, то есть меня – итак, нанимаете предводителя, чтобы он организовал и осуществил некое насильственное дельце, злодейски вмешался в самое тайное, самое пикантное, самое сокровенное и загадочное из того, что существует на свете – по крайней мере, в отношениях между мужчиной и женщиной – притом вмешался в самый неподходящий, самый деликатный момент в этих отношениях...

Да что же Вы это все норовите выдрать мне бороду? Вы бы лучше с соперником так, я то что, я посторонний *Дух*, я вот захочу, и пойду дальше, передайте от меня поздравления Августу!

Тут Мокей Львович тяжелым фолиантом хлопнул изо всех сил несчастного ревнивца по спине, и было и впрямь пошел вместе с книгой, но тот вцепился уже в его рукав и чуть не плача возопил: "Господин масон, Ваше превосходительство, миленький Вельзевульчик, что это Вы как-то не по-товарищески, да и книга-то еще моя, я вот ее возьму и в речку брошу, а Юлию... Юлию подпалю со всех четырех углов, и любовника на дрова... да, а где же они, я и без Вас, как я не подумал, я им сейчас устрою медовую ночь!"

– Ну, ну, не впадайте в безумие! Да впрочем, вы в него давно впали! Успокойтесь немного, остыньте, все еще поправимо, и время еще есть, нам нужно обстоятельнее разъясниться и решить, что делать, я изложу условия, а вы, если примете их, подпишете договор... Кстати, нам нужно спешить, а то через час закроются магазины!

– Какие магазины?

– Как какие? Винные, разумеется! То есть, водочные, я ваших советских ядохимикатов, называемых винами, не пью!

– Да при чем тут водка? Что с Юлией? Может быть, уже и водка не нужна?

– Хм, если уже *что́*, так только водка и нужна, вы же русский человек, значит, выбор невелик – зарезать, утопиться или напиться! Впрочем, и впрямь пора посмотреть, что с Юлией! Открывайте тринадцатую страницу... или, может быть, надо сначала постучаться?

– К черту "стучаться"! Открываем!

Александр Николаевич стремительно открыл дверь и оказался как бы перед некой кисеей, за которой хоть и смутно, но довольно явственно проступали очертания и звуки. Август надевал плащ, Юлия сидела в уголку дивана, бесстыдно заложив ногу за ногу, с расстегнутой верхней пуговицей на блузке, черный глянцевый ремень, обычно стягивающий ее талию, крутила она в руках.

– Дрянь! – прошептал Александр Николаевич. – Шлюха! Уже и пояс сняла!

– Котик! – жеманно и томно говорила между тем Юлия. – Ну нельзя же без шампанского! Кто же без шампанского? Вон я читала, что его всегда о борт разбивают, когда корабль спускают на воду, а я тебе что, шлюха какая-нибудь, чтобы просто так? Нет, пока шампанского не будет, я на твои колени не сяду и обнимать не разрешу!

– Бегу, бегу, уже убежал!.. Стерва! – сквозь зубы пробурчал Август. – Ты же меня ожидай, смотри телевизор, не скучай, я мигом... Впрочем, – уже про себя он снова добавил, – я тебя пока закрою на ключ, чтоб не сбежала.

Александр Николаевич захлопнул книгу, боясь, чтобы его не увидели, и уже спокойнее оборотился к масону.

– Так что мы теперь предпримем?

– Ну вы же видите, что мы уже начали действовать! Черта с два он скоро достанет шампанского, его нет нигде в городе, разве что в ресторане, да и то ему пришлось бы обращаться ко мне, а я, как видите, на вашей стороне! Так что идем за водкой, а потом ко мне – будем решать некоторые философские проблемы и подписывать договор. Кстати, у меня дома есть и веревка!

– А веревка зачем?

– Так Юлию же надо связать? Ведь она взбалмошная, что выкинет, сказать трудно, лучше уж связать.

А если и это не поможет, то, если захотите, можете и повеситься, я помогу... Ну, ну, не бледнейте так, я ведь не вполне серьезно, я так, примериваюсь. Висельников не люблю, вон Кармен их обожает, да вы, кажется, не знакомы? А она уже давно наслышана и жаждет, все прожужжала уши, познакомь да познакомь, я, говорит, погадать ему хочу!

– Очень приятно! – ответил Александр Николаевич, пожимая тонкую сухую руку. – Но словно я Вас где-то видел, только в другом обличи...

– Ах, это верно вы тетю мою встречали, она ко всем симпатичным молодым мужчинам пристаёт, прямо с ней стыдно ходить в общество, я ведь недавно только стала по гостиним шляться, меня не брали, молода еще, говорят! А когда ж и шляться, как не в молодости, потом кому ты будешь нужна? А я все-таки умею нравиться, за мною многие бегают, вон даже Михаил Юрьевич стихотворение мне посвятил, правда, я тогда совсем дитя была, не оценила...

– Хватит болтать! – оборвал ее Мокей Львович. – Я становлюсь в отдел, а ты иди пятак разменяй, принесешь две десятки, а сдачу можешь себе забрать.

Александр Николаевич уже ни о чем не спрашивал, покорно шел куда велели, ибо голова его давно уже кругом пошла...

### ГЛАВА 3

## ПИР

– Ну-с, за успех дела! – с пафосом воскликнул Мокей Львович и стукнулся стаканом. – Не унывайте, мой друг, все будет отлично! Пропустим по рюмочке, Кармен бросит карты, и *что есть, что было, что будет, чем сердце успокоится* – всё увидите сами, она мастерица! Да Вы закусывайте огурчиками, не стесняйтесь, нежинские, сам солю. Минуточку, к нам гости, полковник в отставке Синебрюхов. Анцифер Протасович, пожалуйста к столу! Знакомьтесь!

За стол прошел, гремя медалями, старичок с большим носом честной наружности, цепко ухватил стакан крючковатыми пальцами и опрокинул мигом, только кадык на тощей шее заходил быстро и радостно.

Выпили тут же по второй и, не переводя духу, по третьей.

Кармен отодвинула нежинские огурчики, ловко разбросала карты по столу и спросила:

– Что объяснять, прошлое, настоящее или будущее?

– Прошлое я и без того знаю! – пробурчал Александр Николаевич.

– Э, не говорите, молодой человек! Мало кто знает свое прошлое так хорошо, как будущее. Будущее – что? Оно у всех одинаковое, всем предстоит когда-нибудь по пути столбовая дорога, а в конце пути всеобщая и полная победа сил лучезарных над силами – прямо скажу – не лучезарными!

А вот прошлое – оно у всех разное, и никто его не знает, или знает весьма превратно. Ну, например, возьмем нашего доблестного воина Анцифера Протасовича. Посмотрим, какова была его жизнь. Не беспокойтесь, Александр Николаевич, наш друг Анцифер и глух и слеп, из всех чувств у него сохранились только чувство осязания и вкус водки, так что он на нас не обидится!

– Продолжайте, продолжайте, несравненная гадалка! Ах, дайте я Ваши пальчики поцелую!

Мокей Львович поцеловал пальчики, Кармен стукнула его шаловливо по лысине колодой карт и бросила колоду на стол.

Выпал король бубен при шпаге и в орденах, сверху упал валет, перевернулся, обернулся двойкой и показал язык.

– Я честно трудился, я строил мельницу! – фальцетом выкрикнул Анцифер Протасович и нашарил стакан.

– Все честно трудились! – возразила Кармен и открыла книгу. На странице появилась недостроенная ветряная мельница и подпись – 1932 год, Пролетарский мелькомбинат.

– Мы на горе всем буржуйам... – запел было фальцетом воин и поперхнулся.

В открытые ворота мельницы с правой стороны нескончаемым потоком шли и шли изможденные оборванные люди, из левых же ворот выскакивали ровные, без единой морщинки, улыбающиеся и счастливые, одетые с иголочки, с треугольным штампом на левой лопатке и надписью "ОТК. Проверено. Сорт высший, фасон № 13, тираж 2 млн." Молодой и счастливый, Анцифер крутил мельничное колесо и пел Интернационал.

Кармен перевернула две страницы и уже посерьезневший Анцифер шел бодрым шагом во главе новой колонны, несшей знамена и транспаранты и что-то яростно выкрикивающей.

На транспарантах было написано: *"Вместо буржуазных мер измерения требуем ввести единую для всех Высшую Меру!"*

Колонки все шли и шли, мельничное колесо крутилось все быстрее, и Анцифер укладывал в открытый кузов автомобиля одинаковые бумажные пакеты с надписью: *"Если враг не сдается..."*

Картинки замелькали быстрее. Появился Анцифер верхом на колокольне, забрасывающий веревку на крест; Анцифер с мечом и оралом; с винтовкой и наганом; Анцифер на бронепоезде и в топке паровоза; Анцифер еще только изучающий таблицу умножения – и уже изучивший ее; Анцифер времен первоначальной разрухи и Анцифер эпохи победившего социализма и всеобщей и полной *фонаризации* всей страны; и, наконец, появился маленький сохшийся Анцифер эпохи зрелого и развитого социализма, плавно перерастающего в коммунизм.

Маленький Анцифер уже не кричал и не улыбался, а неловко протискивался вдоль широкого и пустого продовольственного прилавка.

– Вы участник революции? – спросила его строгая дама.

– Да, я участник.

– Для вас отдельная льготная очередь, третий квартал налево, дверь номер семь.

– Я с шлакового завода, мы из врагов народа...

– Знаю, знаю! Будет нужно – позовем.

Мокей Львович ловко вставил в побелевшие пальцы ветерана стакан, жидкость весело забулькала и побежала.

– Все это мрачно! – заметил Александр Николаевич. – Я шлакоблоки не строил. И вообще, меня больше волнует судьба Юлии.

– А Вы не волнуйтесь, дражайший! Я на стреме. Кстати, наш друг Август только что купил шампанское, так что пора переходить к договору. Как Вы уже поняли, жизнь – это трагедия – по крайней мере, для тех, кто ее способен оценить. Большинство же понятия не имеет о том, как и зачем живет. Ну на кой Вам черт эта вертихвостка? Плюньте Вы на нее и будьте счастливы с другою! Ну, хотя бы, посмотрите на Кармен – чем не пара?! Сам Михаил Юрьевич посвятил ей стихотворение, а Вы хоть раз ее поцеловали?

– Ненаглядный мой! – закричала Кармен, ловко вспорхнула на колени к Александру Николаевичу, прижала его с неожиданной силой и запечатлела... не поцелуй, нет! – рыдание, стон, взрыв долго сдерживаемого чувства, вселенский символ – словом, запечатлела то, что Александр Николаевич вначале, не разобравшись, принял за укусы гадюки. Впрочем, он быстро опомнился и понял свою ошибку – это был, конечно же, укусы кобры.

– Но хватит страсти! Или, точнее говоря, повременим со страстью, нас ждут дела! Во-первых, нам нужно составить договор, во-вторых, связать Юлию. Итак, повторяю – жизнь – это трагедия! – для тех, кто способен видеть и переживать. Многие мучаются, да не многие понимают, что с ними происходит. А ведь есть мучения бессмысленные, и мучения, исполненные самого высокого смысла и подвига. Мучается пьяница с похмелья, мучается мать у колыбели больного ребенка, мучается *третий лишний*, а тем более четвертый или пятый! И если, даже не устраняя истинную причину мучений пьяницы, следует и ему помочь и поднести рюмку хотя бы и вашего советского пойла, то надо ли, тем не менее, помогать третьему лишнему? Справедливо ли это будет по отношению к лишнему четвертому, и справедливо ли по отношению к самому страждущему?

В общем виде, отвлекаясь от частных, которые, как известно, даже противореча правилу, лишь подтверждают его (пока, разумеется, не превращаются сами в правило) – так вот, отвлекаясь от частных, вопрос свой я формулирую так: следует ли вмешиваться в трагедию и заменять ее – чем? Всеобщим счастьем? Или всеобщим свинством? Как известно, ваш народ долго и упорно строил мелькомбинат, одновременно занимаясь искоренением *темняков* и *фонаризации страны*. Ну вот, мелькомбинат построен, враги народа перемолол... – тьфу, черт, а что это скрипит у меня на зубах? – вскрикнул Мокей Львович, дожевывая между тем кусок хлеба после очередного стакана. – Из какой муки пекли этот хлеб?

– Мука высшего качества, с полей Верхней Низинки имени Лучезарного, – робко ответила Кармен.

– Высшего... гм... а не там ли строил Анцифер свою мельницу? Ах, он, злодей, как перемолол грубо! А вы едите и даже не замечаете, что скрипит на зубах!

За столом повисло гнетущее молчание, даже Анцифер вдруг поперхнулся.

– Кстати, в чем вина – или, если быть снисходительнее, – ошибка ваших строителей? – продолжил философствование Мокей Львович, откупоривая уже третью бутылку, на которой большими буквами было написано: "Огнеопасно! Перед употреблением взбалтывать!"

– В чем? – я вас, умеющих мыслить, спрашиваю! Всеобщее равенство, всеобщая справедливость, полеты для счастья (при повсеместных ужасающих страданиях, надо заметить), подкупающая простота мировоззрения – да, это все имело большое значение! Но главное, я думаю, совсем в другом. Человек был прельщен

обещанием силы и могущества. Силу он водрузил на пьедестал как кумир, и силе стал поклоняться, и всему, чему поклонялся, он поклонялся лишь постольку, поскольку находил в нем силу; притом, заметьте, даже знание его привлекло не как источник чистого наслаждения, а лишь потому, что *Знание – Сила!*

Архитектура, музыка, литература служили самоутверждению, то есть укоренению силы в культуре, наука и техника – а техника в особенности! – использовались лишь для подчинения плоти мира, а что же касается духа, то здесь искушение оказалось самым глубоким, и Сатана таки уловил человека в свои сети. Видите ли, господи, *прекрасное – бессильно*, любовь тем возвышенней, чем больше в ней жертвы, во многом знании многая печали, современного же человека прельщает успех и превосходство, посему, когда ему был предложен выбор между Духовным Знанием (*приводящим к печали*) и Духовными Силами (*дающими власть*), он выбрал Духовные Силы. Превратить ли камни в хлебы? Христос, как известно, ответил, что не *хлебом единым жив человек*. Мы ныне, кажется, рассудили иначе: конечно же, превратить! И как можно больше, и как можно скорее!

Но, впрочем, пора связывать Юлию, если уже не надо вешаться отвергнутому любовнику!

За столом вновь наступило гнетущее молчание, и погрузневший Анцифер с глухим стуком упал на пол.

## ГЛАВА 5

### ПРОБУЖДЕНИЕ

Утро 31 декабря 95 года выдалось морозным и солнечным, что резко контрастировало с угрюмым видом озабоченных толп, текущих вдоль берегов Екатерининского канала вблизи сверкающего Невского проспекта. Александр Николаевич смотрел в загадочные и глубокие, как темный колодезь, глаза Юлии и усиливался вспомнить то странное безумное чувство, которое он испытывал когда-то прежде при взгляде в них – если только оно не приснилось ему.

– А может быть, я и впрямь проспал пять лет, и наши последние встречи были не наяву? – с грустной надеждою проговорил он, сжимая горячие нежные руки.

– Мой дорогой, я не пьянствовала с этим пошлым Мокеем, и не вламывалась к невинной девушке с веревкой в руках. Так что тебе судить, спал ли ты с похмелья, или был трезв и явственен.

Я три раза перечла твою рукопись, и знаешь – это совсем не обо мне! Ведь у нас все было иначе! Такого смещения действительности

и вымысла, а правильное сказать – правды и лжи – я не ожидала. Ты был болен ревностью, и все виделось тебе в преувеличенном мрачном свете, ты ревновал меня не только к мужчинам, но и к моим подругам, снам, мыслям, привязанностям. Бедного моего котенка, моего Августеночка, ты возненавидел с первого же дня – и только лишь за то, что я разрешила ему сидеть у себя на коленях и гладила его мягкую белую шерстку. Кстати, он пропал в ту самую ночь, как ты напоил меня шампанским.

Помнишь, говорил ты, что, по словам Христа, царство Божие подобно горчичному зерну – пока мы не делаем ничего для его приближения – а наши поступки, намерения, чувства увлажняют почву, на которой оно произрастает?.. Но прежде всего необходимо отрешиться от себялюбия, чтобы не зарости лопухами.

– Юлия, не омрачай нашу встречу упреками. Мы так давно не виделись, что мои обиды давно уже умерли, и я не хочу на тебя снова сердиться.

Но все же – что ты сделала с четвертой главой?

– Я ее сожгла в печке.

– Зачем?

– Но ведь всего этого не было!

– Как?! Только оттого, что ты сожгла рукопись, прошлое исчезло или переменялось?

– Да, огня достаточно. Особенно если это прошлое существовало в одном твоём воспалённом воображении.

– Ну, дорогая, я не хочу с тобою спорить, тем более, что никто уже не сможет понять, что было, а что казалось, и не было ли кажущееся более действительным, чем то, что было на самом деле – так притворщица уверяет, что любит, и обнимает и целует, ревнивец же подозревает притворство – когда, какая женщина сознается, что лгала, даже после того, как отвергнет несчастного любовника?.. Не отнимай свою руку, я верю, что ты меня любишь, и вовсе не тебя имею в виду.

Кроме того, с горчичным зерном сравнил я нашу любовь, дорогая, и произрастет ли оно, зависит от нас с тобою.

– Разве я тебе говорила, что *люблю тебя*? Я только обещала, что, *может быть*, полюблю в Новогоднюю ночь – ты, надеюсь, не забыл, что сегодня ко мне приглашен?



## ГЛАВА 4

## ЗАПИСКИ НА КОФЕЙНЫХ ЛИСТКАХ

## I

Кажется, только вчера я был счастлив, и целовал ее нежные пальчики, и пил кофе с земляничным вареньем, а красавица благосклонно выслушивала мои признания, и мои рассказы, обращаясь, правда, немилосердно с рукописью – она, за неимением подставки для кофейника, использовала ее вместо подставки.

И вот, не успев я насладиться ни счастьем, ни кофеем, как уже принужден лить слезы и ходить по самой дальней дорожке сада, так, чтобы до меня не доносились радостные восклицания соперника... счастливого ли? – вот вопрос! О, она давно намекала, что дело вовсе не во мне, и не в нем, а есть некая таинственная персона, пользующаяся на неё гораздо бóльшим влиянием, чем мы оба, некое Третье Лицо, речи которого выслушивает она в трепетном молчании, тогда как над нашими речами смеется.

Сегодня ночью произошло странное событие, и если это не был сон, то, следовательно, я знаю, кто скрывается за условным названием Третьего Лица.

Вот что случилось.

Я только что окончил последнее стихотворение, в котором поклялся ее позабыть, как вдруг порывом ветра распахнуло окно, и некто в мокром плаще перевалился через подоконник.

– Не бойтесь! – воскликнул он.

– Я не страшусь даже смерти! – с горечью я возразил. – Зачем мне жизнь, если любимая не благосклонна?

– Я могу Вам помочь, – продолжал незнакомец. – Что Вам дороже? – любимая или Ваша душа?

– Конечно, **она** мне дороже всего на свете! – простодушно ответил я, не веря уму нечистой силы.

– Так, значит...

– Да!

– Но Вы ведь меня не выслушали...

– Я понял Вас с полуслова.

– Что ж, по рукам?!

Я пожал его холодную руку и оказался в совсем незнакомой комнате за столиком с пишущей машинкой... но что же я делал? Увы, злосчастные записки свои, залитые кофеем, перепечатывал я в трех экземплярах. Тсс, бьют часы, и слышу крик петуха!

## II

Люди слишком заблуждаются, самонадеянно рискуя судить о предметах, коих тень они даже во сне видят смутно. И вот они распространяют легенды о том, будто я скупаю их "мертвые души" и плачу за них самую невероятную цену. Но кому же я их продам, кто мне даст за каждую дрянную душонку хотя бы ломаную полушку?!

А я устраиваю их личное счастье, я осыпаю их золотом или милостями томно глядящих красоток, я бегаю за кофеем и земляничным вареньем, а красotka между тем – о, несносная! о, взгляд, обволакивающий душу и бросающий в жар и заставляющий неровно биться сердце, о, смуглые плечи, поцарапанная коленка, вязаная кофта, служащая вместе и юбкой, ведьминский смех и ямочки на щеках, о, трижды греховное тело!..

Да разве я не отдам за него все эти ненужные мне души и свою в придачу – если, впрочем, она у меня или у них есть?!

Но – женщине душа не нужна!

Кипит кофейник, кофта сползла на одно плечо, обнажая...

О, ведьма! Что она со мной делает?!

## III

Нет, определенно, я перестал что-либо понимать! Вчера собственноручно уничтожил я все копии сих злосчастных записок, и пока прекрасная ведьма мыла в кухне чашки, схватил и залитые кофеем листки и сунул в камин. И вот, проснувшись утром, снова вижу их у себя на столе, а в доказательство, что сожжение не привиделось мне во сне, края их слегка обгорели.

Неужели она была у меня, пока я спал? – но для чего? Или ее таинственный друг вертит ею как куклой, или сам стал куклой в ее руках?

Вчера она показывала мне царапину на ноге, будто бы котенок шалил и упрямылся, когда она прогоняла его со своих прекрасных колен.

– Может быть, смочить ее кофеем? – предложил я негоднице, вкладывая в эти слова весь свой сарказм.– Как смачиваете Вы им некоторые сердечные раны?

Но красавица не оценила иронии, и, бесстыдно обнажив колено, велела бежать за кофейником.

О, если бы не эти записки, которые распалют мои подозрения и запутывают меня в непонятной интриге! Я отнесу их ей и потребую объяснений. Кто их автор, в конце концов? И кто же я сам, ибо я и в этом запутался? Ибо и помимо записок странностей много.

Вот уже третий день я просыпаюсь в уверенности, что это последний день Старого Года, и бегу пить кофе к прекрасной ведьме в надежде быть приглашенным на Новогодний вечер, но она глядит на меня обволакивающим взором, и я забываю все на свете, и даже о времени и календаре – но разве календарь может забывать, что ему надлежит следить и следовать за течением времени?

Сегодня, я надеюсь, тайны раскроются. Кажется, соберутся все – и загадочное Третье Лицо, и я сам, и даже тот – по крайней мере, она на это намекала – *"кости которого давно истлели"*. Но как же он явится? И в каком виде? И не упадет ли и сама прекрасная хозяйка в обморок?

#### IV

...Итак, кофта сползла на одно плечо... Коварная так увлеклась полемикой, что не замечает некоторой неполадки в наряде, а я... я зато теряю и нить разговора, и забываю положения, которые отстаивал, и свои возражения ее словам.

Да разве стóят все доводы разума одного этого бесстыдного очарования?... а кофта, между тем... и кофейник уже докипает...

О, ведьма! Чтó она говорит?

Ясен ли смысл выражения о продаже или закладе души дьяволу? Ведь душа не может расстаться со своим владельцем, как товар, который продают? И когда грешник мучается в аду, то не тело ведь его мучается, а эта самая "проданная" душа! Следовательно, сущность сделки с залогом души состоит в том, что за **временное** удовольствие *сегодня* человек соглашается расплатиться **вечными** мучениями своей души *потом*, после смерти. Но такая сделка должна быть признана незаконной, ибо она заведомо абсурдна, как например, опротестовываются же абсурдные завещания!

– Сегодня у меня будет бал, – смеясь, сказала красавица, – и в полночь пересекутся нити временного и вечного. Я хочу подать апелляцию и опротестовать одну сделку, а в крайнем случае готова и заплатить за расторжение.

– Сколько же Вы доплатите, несравненная? – волнуясь, я спросил, уже ничего не понимая.

– Эта кофта... она такая скользкая... как только не доглядишь, так она норовит совсем сползти с плеча... да, еще есть и царапина на коленке... Но – готовьтесь к Новогоднему балу!

## КАНУН СТАРОГО НОВОГО ГОДА

Новогодняя сказка для Юли

Как ни странно, Алексей Иванович Горемыкин редко бывал доволен встречей Нового Года, и утешал себя надеждой, что через две недели возьмет реванш, и уж в Старый Новый Год повеселится легко и беззаботно, радостно как во сне.

Но, увы, и эта надежда его обманывала.

Так наступило тринадцатое января, было уже четыре часа, а все еще не было никаких планов на вечер, никто его не приглашал в гости, и самому ему тоже ни с кем не хотелось встретиться.

Так и случилось, что в самом мрачном расположении духа из своего чулана на Николаевской улице, который он снимал у пропавшего пьяницы (хорошо хоть, что тот не докучал, и приходил только раз в месяц за скромной платой) – Алексей Иванович отправился пешком по бывшей Чернышевой улице в свой роскошный офис на Морской.

«Если ничего не случится хорошего, сегодня же застрелюсь, – думал он. – Не всякое прозябание надо терпеть, в цеплянии за неудачную жизнь нет ни достоинства, ни мужества, ни ума; к тому же, никто обо мне не заплачет, кроме налоговой. За офис не плачено год, квартальный отчет не сдан, последняя сотрудница сбежала еще в декабре, у друзей почти у всех те же заботы, если не хуже, у иных жена, у других дети – а что меня может привязывать к жизни?

Мои сочинения? – Их никто не читает.

Моя деятельность в Благотворительном Фонде? – Так я теперь сам нуждаюсь в благотворительности, но никто не подает, даже по праздникам».

Из подворотни выскочил какой-то мужик бомжеватого вида, чуть не налетел на Алексея Ивановича и завернул за угол. Алексею Ивановичу показалось, что это один из тех двух бомжей, что ночевали у него вчера на лестнице, он еще отдал им остатки былой закуски, да бомжи и тому были рады.

В первом дворе, проходя мимо мусорного контейнера, он вспомнил, что выбросил вчера неудачный набросок стихов, а сегодня попытался их вспомнить – что-то в них все-таки было не ordinarily, строка или слово, или хотя бы междометие... один язвительный критик так и сказал однажды Алексею Ивановичу в ответ на приставания, что стихи его не безнадежны, есть в них кое-что, что ему понравилось... «Что же?» «Союз "И" мне понравился!» «За что?» «За краткость».

Открыв крышку, Алексей сразу увидел листочки рукописи, но их прижимал какой-то бумажный пакет; он потянул его за уголок, пакет развернулся, и из него вывалился тяжелый армейский пистолет.

Рядом никого не было, тусклая лампочка у подъезда напротив раскачивалась, и казалось, что пистолет тоже движется.

«Это судьба. Бог все-таки есть, и Он обо мне вспомнил. Значит, так тому и быть».

Он сунул стихи и пистолет во внутренний карман куртки, и снова выскочил на Морскую – уход из жизни надо было обставить торжественно и красиво. Деньги экономить теперь уже не имело смысла, Алексей купил две бутылки шампанского, разной снеди на закуску, и букет цветов.

«Я застрелюсь не как прочие, а с улыбкой свободы, в одной руке пистолет, в другой – цветы. Стрелять буду прямо в сердце, так всего приличнее, и крови будет немного. На прощанье напьюсь, как Аполлон... Григорьев... "две гитары за стеной" занюхают жалобно... и все кончится».

Двор был перегорожен милицейским узиком, контейнер перевернут, милицейский чин весело оглядел Горемыкина, и насмешливо сказал: "Тебя только не хватало с цветами! Да подожди, это не с тобой мы на Рождество выпивали?"

«Ну да... И ты потом меня бросил».

«Никуда я тебя не бросал, а ты сам упал, хорошо хоть, ребята патрулировали, нашли, а я тебя еще искал. Ты-то куда пропал?»

«Лучше не вспоминать. А что теперь-то случилось?»

«Авторитета одного замочили, минут двадцать назад. Охранник на выстрелы выскочил, видел кого-то, тот поспешно из двора убежал, как раз, говорит, на Горемыкина со спины похож... Ну, я уже по журналу проверил, что тебя не было сегодня. Ладно, иди, если задержишься, я тебе звякну, может быть забегу».

Алексей Иванович прошел во второй двор, вошел в проходную, дежурил Сергей, с ним тоже ему выпивать приходилось.

«Ага, главный благотворитель страны пожаловал? Штаны-то поддерживать есть чем? Подают олигархи на реставрацию дворянских усадеб? Или только "вдовы жертвуют свои последние лепты"? А я тебя чуть уже не заложил сыщикам. Говорю, слышу выстрелы, выскакиваю во двор, смотрю, Горемыкин убегает. Ну, я, правда, подождал минут пять, чтобы ты подальше успел убежать, потом уже ментам позвонил. А ты и сам вернулся. Что, не всех олигархов еще замочил?»

«Да их, гадов, в одиночку не перемочишь, надо создавать особую отстрельную группу, ты-то пойдешь?»

«С удовольствием. Но не бесплатно. По бутылке за труп. Кстати,

если задержишься, я к тебе зайду, у меня сегодня есть самогоночка, я же на праздниках был на родине, в деревне, привез оттуда целую четверть!»

«А хорошо, если так, – подумал Алексей Иванович, – я с ними напьюсь, а потом они найдут рядом со мной этот пистолет, и так и останется им неизвестно, я ли замочил того авторитета, а потом застрелился, или это, наоборот, мне за него отомстили?»

Поднявшись в офис на четвертом этаже, Алексей переоделся в рабочую одежду и взялся за уборку, протер пыль, собрал грязную посуду и вымыл пол.

И тут зазвонил телефон.

«Главный благотворитель страны слушает!»

«Тут к тебе дама за благотворительной помощью. Пропускать? Советую не отказываться, только смотри, будь настороже, может, она подослана? Ну, ладно, не пугайся, она еще совсем юная... Учти, в журнал я ее не записываю, с тебя за это причтется. Пока».

У Алексея забарабанило сердце, он оделся как жених, и даже завязал галстук. В дверь позвонили. Не удержав идиотской улыбки, он широко ее распахнул, и замер от изумления.

На площадке стояла совсем юная девушка ослепительной красоты и тоже улыбалась.

«К Вам можно?»

«Разумеется, милости прошу. Вы прямо с неба или уже залетали на землю?»

«Нет, я довольно давно на земле, и Ваши земные порядки, точнее, беспорядки, уже изучила. Кстати, с Глебушкой я тоже уже познакомилась, он Вас рекомендует как святого и бессеребреника, только, говорит, с сегодняшнего дня Вы встали на новый, более правильный путь, начали мочить разбойников и олигархов. Но я поняла, что он шутит».

Алексей Иванович усадил незнакомку в кресло и сел около нее на корточки.

«Юля», – представилась она.

«Мм... Алеша... Алексей...»

«А по отчеству?»

«Да зачем отчество? Я ведь еще совсем юный, просто давно не брился, а так даже и ста лет еще нет... Рассказывайте, какая нужда, сдохну, но помогу!»

«Вообще-то я собираю в помощь детям, сиротам чеченской войны, в частности, в помощь самой себе...»

«Ага, Вы – дочь лейтенанта Шмидта?»

«Нет, я попозже расскажу, если хотите, кто я на самом деле... Итак, я собираю доброхотные подаяния, но при этом помогаю и

дающим, и даже спасаю их души. Короче говоря, я продаю новый Уголовный Кодекс, последнее издание. Так как Вы – президент Благотворительного Фонда (а я, как Вы поняли, тоже президентша, только бедная), то Вы имеете дело с деньгами. Раз Вы имеете дело с деньгами, то с Вами рано или поздно будут иметь дело соответствующие органы, и они Вас посадят. Чтобы этого не произошло, Вам надо заранее изучить Уголовный Кодекс, стоит он сто рублей, ну и плюс небольшой благотворительный взнос, сколько не жалко, лично мне».

«Ангел небесный, денег у меня нет, но ради Вас я займу у Глеба, я из него все вытрясу, я буду теперь собирать для Вас, я пойду на паперть, я даже готов пойти в разбойники, Вы станете скоро богатой, только у меня одна просьба – сегодня я собирался покончить с собой, и проститься с жизнью, у меня две бутылки шампанского, и шикарная закуска, я абсолютно безопасен, почти как котенок, Вы должны отпраздновать со мною встречу Нового Года».

«Ага, Вас посадят не за воровство и разбой, а за соращение малолетних. Вы знаете, сколько мне лет? Так вот, мне еще нет семнадцати. Впрочем, я почему-то верю, что Вы не только благонамеренный, но и подлинно *благо-творительный*, а так как я сегодня и вправду одна на всем свете, и никто меня не ждет дома, я снимаю угол вместе с одной девчонкой, она уже студентка, и сегодня уехала на два дня в какой-то поход со своей группой... Кстати, она меня учит всему, чему ее учат в университете, а я за это зарабатываю деньги для нас обоих, продаю книги, игрушки, лотерейные билеты... Ну, что ж, давайте, я помогу накрыть стол».

Работа закипела, через полчаса посередине офисной комнаты стоял веселый праздничный стол, посередине него стояла елочка, а под нею две бутылки шампанского.

Юля решительно собрала мусор в ведро и побежала выносить.

«Я уношу старую жизнь. Раз Вы начинаете новую жизнь, то и я тоже, за компанию. Только обязательно расскажете все о себе, кто Вы и что Вы, а я – о себе».

Юля убежала. Через пять минут раздался звонок, и с той же счастливой улыбкой Алексей Иванович широко ее распахнул, и замер от изумления.

На площадке стояли двое. Совсем юная девушка ослепительной красоты, и один из вчерашних бомжей в рваном ватнике с ножом в руке.

«Спокойно, хозяин, не делай лишних движений, если жить хочешь. Мы сейчас на цыпочках войдем к тебе в комнату, цыпочку я привяжу к креслу, потом ты отдашь мне свою одежду и деньги, я

привяжу и тебя напротив твоей цыпочки, и тихонько свалю. Как говорится, и я сыт, и Вы целы».

«Да денег у меня только мелочь, вот, бери!»

Алексей Иванович сунул руку в карман, достал пистолет и взвел курок.

«Сначала пристрелить, потом вызвать охрану, или наоборот?»

Бомж затрясся, нож вывалился у него из рук, он бросился на колени и запричитал: «Прости, хозяин, детьми клянусь, я больше не буду, прости меня ради Христа!»

«Тогда кубарем катись вниз, и не забудь в церковь зайти помолиться и прощения попросить!»

Они вернулись в комнату, Юля бросилась на грудь к Алексею Ивановичу и зарыдала.

«Ну, не плачь, моя ласточка, теперь все будет хорошо». – Алексей начал целовать ее руки, щеки, и вдруг поцеловал в губы. Юля замерла. Потом выскользнула из его объятий, но осталась рядом. Несколько минут прошли в молчании.

«А что это мы как на похоронах? Открывай шампанское, президент, гулять так гулять, тем более, что случилось более важное событие, чем встреча Старого Нового Года – в первый раз в жизни меня поцеловали, а я даже не зарезала этого смельчака! Или ты думал, что я современная девушка, и ничто из человеческого мне не чуждо? Нет, мой рыцарь, я воспитывалась по правилам гор, хотя я и русская. Правда, сегодня, как мне кажется, только начало, и чем дело кончится, предугадать трудно, может быть, я Вас еще и зарежу. Вы не возражаете, раз уж мы поцеловались, то перейдем на ты?»

«Конечно, моя богиня!»

«Как я уже сказала, я девушка строгих правил, хотя... если решаюсь пить с незнакомым мужчиной, то в этом я уже не уверена. Но на всякий случай разбойничий нож отдай мне, лучше, если мы будем оба вооружены».

Она выпила залпом шампанское и начала хохотать.

Алексей Иванович встал перед нею на колени и взял ее за руки. Да, более ослепительной красоты он не встречал. Она была и девочкой и женщиной одновременно, от нее исходило столько страстной женской притягательности, что у него закружилась голова и он чуть не потерял сознание.

Ее губы обещали и волновались, кофточка была полурасстегнута, и аромат молока, смешанный с тонкими духами, опьянял сильнее шампанского. Она была одета в короткую соблазнительную юбочку, которая и прикрывала и открывала стройные красивые ноги; тонкая

талия, гордый изгиб шеи, длинные темнокаштановые волосы ложились на плечи как цыганский платок.

«Ты можешь подумать, что я влюбился в тебя с первого взгляда? Нет. Я был влюблен в тебя всю твою жизнь, я вымечтал тебя в снах и воображении, в потерях и бедах. Тебя создали небесные силы и прислали мне на границе отчаяния.

*Я хочу целовать твои губы,  
И в глаза неотрывно глядеть.  
Как Европою дикие гунны,  
Так тобою хочу завладеть!*

– пробормотал он свои старые стихи.

«И я о тебе мечтала и видела во сне. С тобою я готова на все. Но сначала ответь мне на главный вопрос, который волнует каждую девушку: ты женат?»

Алексей Иванович помрачнел и чуть не заплакал.

– Был женат. И у меня была дочь, твоя ровесница. Пятнадцать лет назад они погибли при бомбежке, когда наше безумное правительство штурмовало Грозный, моей Сашеньке не было еще двух лет, как и тебе в то время. Я не смог с ними проститься. Я даже не смог их похоронить. На месте дома осталась одна братская могила.

Мне слишком тяжело вспоминать об этом, единственное, что удержало меня в жизни, это жажда мщения. Но мои обидчики слишком высоко парят, и имя им легион. Это дьявольское правительство, для которого мы все – только средство в их низких политических расчетах, в которых отдельный человек ничего не стоит, и даже сотни тысяч и миллионы. Это тупые и злые генералы, это нерассуждающие пьяные офицеры и солдаты, это верноподданный и равнодушный народ... Как мне отомстить им всем?!

Только Бог, если захочет, сможет помочь мне.

Ладно, мой ангел, расскажи лучше о себе...

– Сашенька?... Алексей Иванович... Алеша.. давай, пока мы оба не заревели, начнем праздновать проводы Старого Нового Года, и о себе я расскажу позже.. чуть позже.. вот выпьем еще по бокалу шампанского, и что-нибудь съедим, а то я с утра еще и не ела, у меня ведь денег ни копейки не осталось, я Сашеньке все отдала, думала, заработаю, но не везет весь день, вот и приперлась с Уголовным Кодексом. Кстати, пока мы не напились, и ты меня еще не соблазнил, купи у меня его, хотя бы за двести рублей.

Алексей Иванович взял у нее книжку, отдал ей двести рублей и захохотал: "Ну, воистину, жизнь – это чудо. Только что ты была нищей, а я богатею, и вот теперь все наоборот, двести рублей у тебя, а у меня ни копейки, и в моем углу меня никто не ждет не только

сегодня, но и завтра, и послезавтра... У тебя есть подруга, а у меня – просто приятели, сотрудники, знакомые... ну, иногда, бывает, что и «одна, *просто так знакомая...*». но я тебе обещаю, что отныне кроме тебя у меня никого не будет, я буду заботиться только о тебе, любить только тебя! Давай выпьем за любовь и чудо!"

Они выпили, и как-то так случилось, что снова оказались в объятиях друг друга, но Юля прижалась лицом к его груди, он целовал ее шелковые каштановые волосы, потом взял ее руку и стал целовать пальчики.

– Все, хватит! – решительно заявила Юля. – Если так дело дальше пойдет, ты меня соблазнишь еще до свадьбы, а законы гор за это строго наказывают – даже смертью! Кстати, ты ведь мне еще не сделал предложение, а я уже обнимаюсь... Ты – негодный Дон Жуан, а я уже превращаюсь в "даму с камелиями"... всё, больше никаких поцелуев... пока я не выйду замуж... за тебя или кого-нибудь другого... Ты что, думаешь, мне никто не предлагал руку и сердце? Мне даже один олигарх предлагал уже сто миллионов.. за одну ночь... я почти согласилась, но с условием, что он сначала напишет завещание, а потом... я его зарежу и уйду в монастырь... И вообще, давай поедим, у меня уже в животе кто-то песни поет.

И Юля набросилась на еду со всем пылом здоровой деревенской девчонки.

– Моя королева! – торжественно обратился к ней Алексей Иванович. – Я тебя люблю – сегодня, и завтра, и всю жизнь! Выходи за меня замуж!

– Согласна! – закричала Юля, и они потеряли сознание в безумном и страстном поцелуе, не заметили, как оказались на диване, и не понимали, как из одежд словно из пены морской появляется прекрасная нагая Афродита – еще прекраснее, чем в одежде.

– Сумасшедший... – шептала Юля, – ты хоть закрыл ли дверь, кажется, она не закрыта на ключ, а вдруг, кто-то войдет? И ты ведь на мне еще не женился, надо же венчаться в церкви, или хотя бы зарегистрироваться в загсе...

– Нас не обвенчают, пока тебе не исполнится восемнадцать. Но мы ведь любим друг друга, а разве любовь ниже священника и чиновника? Говорят, что Бог – это любовь, а я понял еще более важное: именно Любовь – это Бог! Ты согласна?

– Да, мой миленький, я согласна на всё, даже если ты скажешь, что завтра бросишь меня, я уже не откажусь стать твоей. Даже если я узнаю, что эта ночь – последняя в моей жизни, я согласна и на это, пусть будет наша ночь даже ценою моей жизни.

– Нет, нет, теперь мы будем жить вечно, не говори о смерти, даже в шутку... – воскликнул Алексей Иванович, целуя ее нежную

грудь, к которой не осмеливалось, возможно, прикасаться и полотно сорочки.

Руки его скользнули ниже, последний покров упал на пол, обнажая тайну... И в этот момент в дверь забарабанили.

– Алексей Иванович, да ты жив ли? Телефон не работает, звонок не звонит, если не откликнешься, я взломаю дверь. Тут к тебе еще одна посетительница, через пять минут мы с ней к тебе поднимемся.

– Жив, жив, ждем, только не раньше, чем через пять минут, я должен э-э... приготовить салат.

Юля встала, оглядела себя и покачала головой: «Если бы мои родители были живы, они бы меня точно зарезали! По-видимому, это они велят мне повременить с брачной ночью. Но ты не переживай, мой миленький, не в этом году, так в будущем, но я все равно стану твоей! Ты ведь сможешь потерпеть еще четыре часа, пока не наступит Новый Год?! А если и мне будет невмоготу терпеть, выпрем нашего охранника пораньше. Да ведь к тебе еще какая-то дама? Может быть, у тебя я не единственная?»

– Нет, ты у меня одна на всем свете. А что случилось с твоими родителями? Если только не слишком тяжело тебе говорить об этом?

– Я не знаю, что вообще случилось, я жила в Детском Доме, как я туда попала, я не помню, там я подружилась с девочкой, у которой тоже погибли родители, мы с ней вместе и теперь живем, а в разных Детских Домах были до шестнадцати лет, нынешней весной получили паспорта и приехали в Питер, поступали в университет, экзамены сдавали по очереди, кто что лучше знает, чтобы наверняка поступить, а договорились, что документы сдадим на ее имя, мы похожи, и одевались так, что никто нас ни в чем не заподозрил. Со мною, когда я попала в Детский Дом, была детская книжка, я ее держала в руках, и говорят, что не хотела выпускать ее из рук, она и теперь со мною, я ее всегда ношу с собой, как реликвию, а в этой книжке на первой странице рисунок пером, мужчина держит на руках маленькую девочку, я думаю, что это мой папа и я. И подпись: моей любимой Юленьке на вечную память!

Юля открыла сумочку, достала книжку, раскрыла ее на первой странице и подала Алексею Ивановичу, и только тут на него взглянула. Ей показалось, что его накрыло какое-то облако, отчаяние, смешанное с надеждой, горе, смешанное с блаженством, свет и тьма вместе. По щекам его катились слезы.

Он уже знал, что увидит, но еще боялся взглянуть. Наконец, решился и взглянул. Тот день, тот час, когда он сделал этот

маленький набросок на страничке волшебной детской книги, встал перед его глазами.

– Юленька, это не твой папа, это я подарил тебе сказки и нарисовал тебя и себя, а через два дня Вы все погибли, и твои родители, и моя семья... Я не знал, что ты чудом осталась жива, я попал в госпиталь, долго был без памяти, мне сказали, что никто не выжил из нашего дома.

В этот момент открылась дверь и вошел Петр Сергеевич с девушкой лет семнадцати.

– Саша, разве ты не уехала? – воскликнула Юля и, бросившись к подруге, схватила ее в объятия и сжала изо всех сил.

– Юлька, сумасшедшая, ты меня задушишь. Наш автобус сломался, мы вернулись, шли пешком десять километров, прихожу, на столе записка: «Пошла за деньгами в Благотворительный фонд на Морскую». Ну, я и захожу подряд во все подъезды, спрашиваю, нет ли здесь какого-нибудь Благотворительного фонда.

Зашла в соседний двор, там какой-то жуткий бомж сидит, я ему пирожок с капустой отдала, говорю, больше у меня ничего нет, а он, по-моему, совсем тронулся, иди, говорит, в соседний двор, они там, скажи, что в церкви я уже был, Бог меня простил, и я ухожу в монастырь замаливать грехи. Я, конечно, ничего не поняла, только почему-то сразу догадалась, что это Юлька... А кто же, думаю, еще? На Рождество мы гадали, и выпало исполнение всех самых сверхъестественных желаний.

Она стала смотреть на Алексея Ивановича, и лицо ее все бледнело.

– Скажите... пожалуйста... Вашу жену звали... Лизой?

– Да...

– Отец! – закричала Сашенька и потеряла сознание.



## СКАЗКА О ЦАРЕВИЧЕ-ПОСТРЕЛЕ

*Посвящается Ксени \*\*.*



В некотором царстве, в некотором государстве жил да был Иван-царевич, единственный сын у царя. Мать царевича умерла вскоре после рождения сына, и царь женился на другой женщине, которая пасынка своего невзлюбила, и чем старше он становился, тем ненависть ее становилась сильнее. Была у нее еще злая нянька, колдунья, которая в госпоже своей

души не чаяла, во всем потакала ей и помогала. Вот и решила, наконец, царица пасынка своего погубить, и приступила к няньке – как же нам, няня, извести нашего супостата, удалого охотника, царевича-храбреца ненавистного?

Колдунья ей и отвечает – давай-ка, мол, мы будем задавать ему разные заданья, якобы для испытания его удали и храбрости. Где-нибудь, да и сломит он голову.

На том и порешили.

Вот приходит царица утром к повелителю своему и говорит – хвалят-де Ивана-царевича во всем царстве и в заморских государствах за удаль да молодечество, а тем временем на земле всякая нечисть завелась и сладу ей нет – неровен час, нечисть эта и на нашу землю прикочует и погубит нас всех. Так что если сынок Ваш, царь-батюшка, и впрямь такой молодец, то не пошлешь ли ты его нечисть эту извести?

Пригорюнился царь, но делать нечего – не находит он, что супротив царицыных слов справедливых сказать.

Ну и призывают они царевича, и царица велит ему – пойдика ты, Иван, на край света белого, и там найди и изведи злую силу – "Ни то ни се"!

Закручинился Иван, но перечить не стал. Взял он меч булатный, лук свой охотничий, в котором семеро самых отважных воинов пытались тетиву натянуть и не смогли, стрелы каленые, суму переметную с разными припасами дорожными, вышел из дворца и

пошел на край света. Долго ли, коротко ли он шел, притомился и сел передохнуть, лук свой с плеча снял, и вдруг слышит отчаянный крик о помощи – высоко в поднебесье черный злой коршун бьет голубку белую.

Поставил Иван стрелу каленую в тугую тетиву, натянул ее до острого наконечника, и пустил стрелу в поднебесье. Полетела и запела стрела, и злому коршуну ударила в его черное сердце. Пал враг наземь, и где упал он, болотце возникло с черной водой, острой осокой поросшее. А голубка спустилась наземь, перекинулась через левое крыло, и подходит к Ивану-царевичу Марья-искусница, красавица ненаглядная и разумница сладкогласая, очи огнем блещут, уста алые как мед, грудь как снег бела, стан прямой и походка, что лебедь по морю плывет.

– Спасибо, Иван-царевич, что спас меня, а за то сослужу я тебе службу не на один день, а сколько нужды твоей во мне будет.

Рассказал ей Иван о заботе своей, и улынулась Марья-краса.

– Это разве забота? Иди-ка ты, Иван, все прямо на заход солнца, а на третий день и встретишь нечисть Ни то ни се, и если не оробеешь, то и будешь с победой. А я тоже с тобой пойду, но не в приметном виде.

Ударилась она оземь, и тут почувствовал Иван-царевич на безымянном пальце кольцо-изумруд, и голос услышал – коли будет туго, ударь о землю кольцо, и я тебе помогу.

Сказано-сделано, и на третий день к вечеру пришел Иван на край болота в лесу дремучем, и там на пеньке видит, сидит мужичок-с-ноготок в шапке рваной, веревкой подпоясанный и на один глаз кривой. Ни стати в нем, ни силы, ни ловкости, ни удалства, а так что-то непонятое, *ни то ни сё*.

– Здравствуй, Ваня! – ласково обратился к Ивану-царевичу мужичок махонький. – С чем пожаловал?

– Прости ты меня, чудо-юдо заморское, по прозванию "Ни то ни се"! Батюшка мой по наущению мачехи моей прислал меня к тебе с приказанием явиться в царский дворец для ответа, дескать, замышляешь ты погубить страну христианскую, и чтоб стало в ней повсеместно вместо лесов и пашен невесть что, словом "*ни то ни сё*".

– Ох, Ваня, тяжелое поручение тебе дали. Я же приказаний чужих не слушаюсь, живу сам по себе, и никого не трогаю, пока меня не тронут. Со мной лаской обходиться надо, а не угрозами. Спасибо, что уважительно говорить со мною начал, за то и я зла не сотворю тебе. Да как же ты дошел до меня?

– А что тут особенного? Шел-шел по тропочке махонькой, а потом смотрю, на краю болотца и ты сидишь.

– Да как же не утонул ты в болотах непролазных? Кругом же тебя топь топучая, и один только пригорочек твердый махонький, да и тот сейчас потонет!

Оглянулся Иван – и впрямь кругом бескрайняя топь разливается, еле на пригорочек он взобраться успел, да и тот уже качаться начал.

Тут слышит он, Марья-краса шепчет: Сымай, Ваня, скорее колечко, да оземь швыряй, а то пропадешь, да и я с тобой.

Сорвал Иван-царевич колечко, да и бросил его об землю, а сам уже по пояс в хляби стоит. Побежал от колечка ручеек воды чистой, и в нем ладья узорная, серебром украшенная, закачалась, а в ладье Марья-искусница сидит, и Иван-царевич впрыгнул в нее в последний миг.

– Здравствуй, мужичок "Ни то ни се"! – пропела Марья-искусница, кланяясь в пояс Чуду-Юду Заморскому.

– Приглашаю я тебя к свекру своему будущему погостить на денек, на свадьбу мою, мы на ладье туда мигом домчим, и назад я тебя так же доставлю. Да садись поскорей, не упрямясь, а то речка своенравная, все разливается, неровен час, в ней и все болота потонут, да и вместе с тобой!

Делать нечего, взобрался мужичок в ладью, хлопнула Марьюшка в ладоши, и тут же они и во дворце оказались.

Царь-батюшка встречает их, с Иваном-царевичем обнимается, Марьюшку целует, Чуду-Юду руку подает, велит столы для пира накрыть, и за стол приглашает.

Очень понравилось Чуду-Юду обхождение деликатное, пообещал он не трогать и не обижать царство христианское, и с соседями мирно жить, и подарил он царю-батюшке сразу же за дворцом, там, где луга зеленые были, три болота роскошных, одно болото ягодное, с клюквой да морошкой, другое со всякой дичью к царскому столу, а третье болото со зверьем для охоты, с диким вепрем, красавцем-сохатым, рысью и горностаем.

Со свадьбой порешили пока не спешить, а только обручили молодых, попиrowали три дня (ах, и какой же это пир был! И я там был, мед-пиво пил, и по усам текло, да кое-что и в рот попало!), отвезли на ладье "Ни то ни се" пьяненького к нему домой на болотце изумрудное, а тут злая мачеха опять злые речи повела, дескать, с "Ни то ни се" удалось подписать мирное соглашение, но еще дальше за владениями его, аж за краем света, живет "Безымянное зло", и уж от него сладу не будет точно, если не изведет его Иван-царевич.

Заплакал Царь-батюшка, закручинился Иван-царевич, загрустила и Свет-Марьюшка Краса – Золотая коса. Но делать нечего, собрались они в путь-дорожку, взял Иван-царевич за пояс меч булатный, повесил на шею лук и колчан со стрелами и говорит Марья Краса Ивану-царевичу:

– Пойдем, Ванюша, к моей матушке, только она нам может помочь. Была я с нею в ссоре, да придется помириться.

Вот и пошли они, не мешкая, шли три дня и три ночи, и пришли к синему морю, а на берегу стоит терем деревянный, весь резной, да посеребренный, мореным дубом стены изукрашены, полы яшмой выложены, наличники из чистого золота. Выходит из терема прекрасная женщина Василиса Премудрая, на голове кокошник, платье из голубого льна, сапожки сафьяновые.

– Здравствуй, матушка! – поклонилась ей Марьюшка. – Прости, меня, глупую и неразумную, за то, что не слушалась тебя, а своим разумием хотела жить. Оказался-то заморский принц злым волшебником, превратил он меня в голубку, а сам обратился в черного коршуна, и хотел вырвать из моей груди мое девичье сердце, да рядом оказался Иван-царевич, и спас меня. Благослови же нас, матушка, стать мужем и женой!

– А на свадьбу-то меня пригласишь, Марьюшка?

– Ну, конечно, матушка!

– Благословляю вас, дети мои, живите дружно и счастливо. Но вижу я, что гнетет вас еще и другая забота. Садитесь-ка за стол, закусывайте чем Бог послал, и расскажите без утайки все.

Выслушала Василиса Премудрая дочь свою и облегченно вздохнула.

– Ну, это еще не заданье, а заданьице. Безымянное зло живет за черными горами в фиолетовом краю в глубоком ущелье, а как к нему обращаться, узнаем при встрече.

Идите-ка все на закат, и на третий день дойдете. Но придется вам взять меня с собой, а чтобы не помешала я вам, буду я в неприметном виде, а как туго станет, вздохнете три раза, я и стану видима.

Так и порешили, взяли припасов с собой и отправились в путь. Долго ли, коротко ли шли, пересекли черные горы, прошли фиолетовую страну и на самом краю ее, среди диких скал, оказались они у входа в ущелье, откуда веяло сыростью и холодом и замогильным ужасом.

Взял Иван-царевич камешек, бросил его в ущелье, и тут же обрушилась одна из скал, еле они с Марьей Красой увернуться успели. Призадумался Иван, да вздохнул три раза, смотрит, а рядом уже Василиса Премудрая стоит, на скатерти-самобранке угощенье расставляет, вино наливает в серебряный бокал, конфеты и печенье и фрукты заморские в хрустальные вазы накладывает.

– Чудо-Юдо, *Безымянное Зло*, уж простите, не знаю как Вас по батюшке величать, не откажите в любезности отужинать с нами! – обратилась Василиса Премудрая к Неведомому, поклонившись в пояс. – Принесла я Вам гостинец от Вашей *внучки-Зюочки*, скучает она без Вас и подарочек шлет!

Зашумел ветер в ущелье, задрожали скалы, и вдруг, откуда ни возьмись, появился старичок с клюкой, веревкой подпоясанный, один глаз с бельмом, а другой как уголь горит, нос крючком, лапти стоптанные, и на спине котомочка холщовая.

Прищурился он и говорит: – Ну, и хитра же ты, Василисушка! А где ж ты с внучкой моей повстречалась?

Подает Василиса Прекрасная ему кiset, золотом и серебром вышитый, и вздыхает притворно:

– А когда я у Кашеюшки в услуженьи жила, давал он как-то бал по случаю приезда со сватовством Бабы-Яги. Я-то кушанья на стол ставила, а сахарную косточку под стол бросала – там паршивая собачонка сидела, на всех рычала, но моими подарками не брезговала. Я ведь и тогда уже смышленная была, и на всякий случай сдружилась с нею, а потом, как прознала секрет, которым ее заколдовали, снова в человеческий вид помогла ей войти. Зато она обещанье мне дала – большого зла не делать никому, а только по мелочам – где под локоть пьяницу толкнуть, а где хвастуна во лжи уличить. Да теперь когда я и сама берусь добро творить, без ее совета не обхожусь – люди злопамятны, добра не поминуют, но если немножко подгорчить его, то помнят лучше.

Взял старичок кiset, развернул, только хотел табак нюхнуть, Василиса и толкнула его под локоть – табак весь просыпался, будто его вовсе не бывало.

Засмеялся старичок. – Вот это по нашему! – говорит.

Сели они тут за стол, отужинали, и дало *Безымянное Зло* грамоту Василисе Премудрой, в которой прописано было обещанье зло творить умеренно, и православное царство целиком не изводить.

Вернулся Иван-царевич с Марьей-Красой во дворец, передал грамоту царю-батюшке, а злая мачеха только пуще распалилась и новое задание дает ему.

– Пойди-ка ты, Иван-Царевич, и не туда и не сюда, а туда, где никто не бывал, к самому Властелину Небытия!.. а сюда уж лучше и вовсе не возвращайся! – добавила она вполголоса.

Заплакал старый царь, заплакала Марьюшка, – да делать нечего, перечить мачехе никто не посмел.

Сыграли наскоро свадьбу, собрались в путь-дорогу, и отбыли из дворца, не чая в него уже вернуться.

Это задание оказалось воистину испытанием трудным. Блуждали они по многим странам, спускались в подземелья и поднимались на высокие горы, но до границ этого мира добраться все не удавалось.

В положенный срок родился у них сын, и удивил даже бабушку свою, Василису премудрую.

Не успели они его еще окрестить, только помыли, спеленали и в колыбель уложили, заснуло дитя крепким сном, а рядом Марьюшка

уснула, утомившись от трудных родов. Бабушка пошла на крестины соседней звать, Иван-царевич на охоту отправился дичь к столу промышлять, и в доме стало все тихо.

Поднялось высоко солнце, протирает Марьюшка глаза, смотрит, а сынка то в колыбельке и нет! Испугалась она, выходит на крыльцо, навстречу Василиса Премудрая идет, а там и Иван-царевич с добычей спешает.

– Сынка украли! – всплеснула ладошками Марьюшка.

– Да здесь я, маменька, на ключ за водой ходил! – вдруг слышит она голос, и точно, сынок с ведром студеной воды подходит.

– Я уж и дров наколот, печь истопил, а вот и водичка – надо же обед для гостей приготовить!

– Наш Пострел везде поспел! – засмеялась Василиса Премудрая, и так и стали они маленького царевича Пострелом звать.

Долго ли, коротко ли, но время шло, надо было и наказ выполнять, и снова отправились Иван-царевич с Марьей-красой на поиск Властелина Ничто, да и сгинули, только через десять лет старый Ворон прилетел из-за синих гор и весточку принес – записку краткую на шелковом платочке, золотыми ниточками вышитую.

– Постреленочек, дорогой, на тебя вся надежда, мы за Геркулесовыми столбами в заточеньи у Властелина Ничто, повелевает он тебе явиться к нему, а тогда, де, и нас опустит при некоем условии тяжком.

Каркнул Ворон три раза, три раза хлопнул в ладоши и царевич Пострел, и очутился он на краю земли у начала того, у чего ни конца нет, ни даже начала.

Но не даром долгими зимними вечерами учила бабушка Василиса Премудрая своего смышленного внука всему, что знала сама, и что от матери и бабушки своей в наследство получила, не даром ходил он на Ведунью-гору и слушал, припав к земле, о чем шептались духи гор и подземелий – не было, казалось, тайн во вселенной, о которых бы не знал он или не слышал.

Повернул Пострел колечко на безымянном пальце, и расступилась ткань небытия на краткий миг, но в миг этот краткий увидел он волшебный дворец Властелина запредельного мира и имя его, чеканенное на золотой арке у входа во дворец, прочитал. Трижды поклонился он у невидимой черты, разделяющей два мира, неведомому владыке, и так речь свою начал:

– Превосходящий! Я пришел по Вашему повелению и готов переступить черту, за которую не дано заходить смертным, и предстать там, где Ваша власть *незыблема, несомненна и до скончания веков.*

– Я рад, Постреленок, что ты не дерзнул меня послушаться и подчинился непреложному закону. Входи же в мое царство, но знай и

помни, что возврата из него нет, ибо он невозможен. В награду за послушание я освобожу твоих родителей из плена времени, но, отменив уготованное им бесславное будущее, я лишу их и славного прошлого, которое привело их к бесславию. Они вернуться туда, откуда дерзнули отправиться на мои поиски. Я повелю, чтобы злой колдунье не приснился вещий сон, и она не узнала о существовании таинственных скреп мироздания – о слабом мужичке "Ни то ни се", о "Лихе Безымянном, царе болот", и о Неизбывном Ничто, *Повелителе всего, чего нет во Вселенной*. Я повелю, чтобы черный коршун промахнулся, нападая на голубку, и Марья Краса Ненаглядная осталась жива и нашла свое счастье, – но не встретила с Иваном-царевичем. Все вернется в то злополучное утро, с которого начались бедствия, и вновь начнет разматываться клубок жизни, только я заменю его, и потому ничто не повторится из того, что было, кроме того, чего не было.

А ты останешься со мною навечно и будешь украшением среди моих слуг.

– Позволь, о Превосходящий, прежде нежели войду, обратиться с речью.

– Позволю.

– Итак, не смею я оспаривать Вашу волю – и пусть скрепы мироздания вновь встанут на свои места, а Иван-царевич и Марья Краса вернуться в то утро, в которое они встретились. Но прошу дозволения, о Превосходящий, уже войдя в твое царство, рассказать небольшую историю о том, что случилось, когда тебя, о Превосходящий, еще не было!

– Я был всегда, Твое Выдающееся Ничтожество, и посему разрешаю тебе рассказать свою нелепую историю. И впредь я буду разрешать тебе многое, ибо ты будешь моей любимой игрушкой, но знай и помни, что ты останешься здесь навечно, ибо выхода отсюда нет, ибо он невозможен.

Пострел-царевич шагнул за невидимую черту и раздался грозный гул горного обвала. Он оглянулся. Там, откуда он пришел, ничего не было, даже пустоты, но впереди стояли величественные дворцы, роскошные сады, журчали фонтаны и пели заводные птицы. Впереди и сзади, вверху и внизу раздавался голос, напоминающий шум водопада, каждая струя которого звенела, как колокольчик.

– Я слушаю твою историю о том, что могло случиться во времени, которого не могло быть.

– Итак, о Превосходящий, во времени, которого хотя и не было, но в котором правил твой дед, *Превосходящий Второе*, случилось вот что (хотя это никогда не случалось).

Некто дерзнул подойти к оси времен и взглянуть на нее. *Дерзновенного* немедленно схватили и повелели казнить. Казнь должна

была состояться на рассвете перед восходом солнца, палач должен был взмахнуть топором и отрубить дерзкому голову за мгновение до того, как первый солнечный луч скользнет на эшафот.

Все было подготовлено тщательно и ничто не могло произойти иначе, чем это должно было быть.

Но случилось вот что.

В главных царских покоях внизу камина был небольшой лаз, который вел в некий лабиринт между столбами каминного фундамента. Там жила небольшая мышьяная семья и каждое утро до рассвета она отправлялась на поиски пропитания. Трижды Превосходящий и сам просыпался до рассвета, ему не спалось, ибо он был слишком могущественным, слишком мудрым, но при этом уже очень старым и дряхлым. Ничто не развлекало его во дворце, где жизнь была слишком размеренной, где даже расчислены были все мыши царства.

Но эта мышьяная семья была под особым покровительством Трижды Превосходящего, и даже сам Великий Вычислитель не дерзал нарушить маленькую слабость повелителя – повелитель любил, просыпаясь очень рано, слушать мышьяную возню за камином, ибо мышьяная семья просыпалась одновременно с ним.

Великий Вычислитель в особое тайное время, о котором он никому не говорил, производил исчисление и этой мышьяной семьи, но необходимо было соблюдать иллюзию неисчисленности, ибо повелитель любил слушать мышьяную возню за камином и не хотел знать, что возятся они не как им заблагорассудится, а в соответствии с исчисленным *планом Возни*.

Что ж, у Повелителей есть свои слабости, и дело подданных следить за тем, чтобы все шло как надо, и слабость была вовремя учтена.

В это утро, на которое была назначена казнь *Дерзновенного*, Трижды Превосходящий встал раньше обычного, было слишком много государственных дел, поэтому, к его большому сожалению, не пришлось ему насладиться любимой мышьяной возней. А жаль, ибо в эту ночь произошли великие события, потрясшие империю до основания.

Дело в том, что мышка-мать собиралась произвести на свет маленького наследного принца маленького мышьяного царства, обитающего во дворце – естественно, что именно закаминная семья в покоях императора была царствующей.

Роды должны были состояться в следующую ночь, когда всходила луна, но роды – это самое трудноисчислимое событие во вселенной и даже Великий Вычислитель пасовал перед ними. Известно, что и прадед, и дед, и отец Превосходящего Трижды родились за день до

положенного срока, не был исключением и он сам, Превосходящий Трижды.

Естественно, что и в мышинной семье многое склоняло к тому, чтобы маленький мышонок явился на свет ранее исчисленного срока – с вечера еще во дворце шли приготовления к казни, все мыши во дворце шушукались об этом, стучали топоры, сооружая лобное место – дело в том, что постоянного лобного места в царстве не было, всякая крамола исчислялась и предотвращалась задолго до того, как мысль о ней могла зародиться в чьей-то голове.

Мышка-мать не смогла уснуть, она страшно волновалась, поэтому роды начались в три часа ночи на день раньше срока, благополучно закончились, и на свет явился очаровательный мышонок. Усталая мышка-мать наконец уснула счастливым сном, мышонок дремал рядом с нею, и *мышь-отец* отправился на поиски еды даже несколько раньше обычного, – но повелитель уже ушел из покоев по государственным делам.

Великий Вычислитель задерживался, он *исчислял* палача – не простое дело отрубить преступную голову ровно за мгновение до восхода солнца.

Но топор был уже наточен. Помост был готов. Любопытные толпы стояли у ограды. Под звон барабанов выводили осужденного. *Мышь-отец* задерживался, переполненный счастьем и восторгом, он тащил своей любимой половине слишком большой кусок сыра, весь взмок, бросить было жалко, а тащить тяжело. Надо, кстати, заметить, что в силу царской слабости к мышинной возне в царстве не было кошек.

Звон барабанов разбудил мышонка, он встрепенулся и почувствовал голод – первый раз в жизни. И тут до его обоняния донесся прелестный, неопиcуемый, ни с чем не сравнимый, божественный запах куска старого заплесневелого сыра. Повинуясь зову предков, более сильному, нежели все исчисления в царстве, мышонок пошел на запах, но так как он был слишком мал и неопытен и еще никогда не выходил из подкаминных лабиринтов, то в темноте заблудился, попал вместо главного выхода в узкий черный ход, которым никто не пользовался, такой он был узкий, но в который благополучно пролез наследный принц, и оказался за камином. Там хранился всякий хлам, швабры, ведро, веник, сломанные игрушки, старые выцветшие обои и тому подобное.

Среди отвергнутых игрушек была одна, о которой все забыли, ею когда-то играл Превосходящий, отец Превосходящего Трижды, она заржавела, не заводилась, старый завод ее давно кончился, но, видимо, в старой заржавелой игрушке хранилась капля былой молодецкой упругости. Мышонок задел за швабру, она упала и толкнула обои; рулон покотился и стукнул по ножке колченогого

столика, на котором стояла давно не работавшая, забытая кошка – разумеется, не живая, а механическая, с давно израсходованным заводом. Столик покачнулся. Игрушка скользнула по его гладкой поверхности, перевалилась через край и упала на пол. Пружина вздрогнула и начала распрямляться – увы, что-то еще в ней хранилось, так и старая дама вдруг рдеет, когда нечаянно неосторожно взглянет на балу в ее некогда роковые очи отставной генерал.

Вы догадались, что это была – да, это была та самая игрушечная кошка, гроза всех игрушечных мышей, пока не были и живые и механические кошки изгнаны из пределов империи, а во дворце не поселились мыши. Ржавое колесо где-то глубоко внутри ее повернулось, маленькие колесики заскрипели, повернулась автоматическая масленка и последняя, чудом не высохшая капля масла упала вниз и побегала по шестеренкам и зубчикам сложнейшего механизма.

Двинулись и открылись зеленые глаза, вспыхнул в них магниевый свет, и после тысячелетий, миллионолетий вынужденного безделья имперская гроза мышей, изловившая, казалось ей, всех мышей империи, увидела – о ужас! – маленького живого мышонка, стоявшего прямо перед нею, чуть не прикасаясь к ее носу черным блестящим носиком. Былая резвость начинала возвращаться к старой охотнице, но не так скоро, острые коготки медленно выпускались наружу, лапа тянулась к беззащитному обреченному существу, но древний ужас, который вначале парализовал его, пробудил мгновенно и все инстинкты жертвы. Мышонок подпрыгнул и вцепился в ручку глобуса. Кошка прыгнула мгновением позже, но глобус уже катился, а на его круглом чреве танцевал, пытаясь удержать равновесие, отчаянный мышонок. Из царских покоев глобус выкатился в главный коридор, где, естественно, никого не было – все ушли на казнь, – проскользнул в открытую дверь, выкатился на балкон и покатился к водосточному желобу. Мышонок ухватился за край карниза, кошка снова прыгнула, но мышонок не удержался своими слабыми лапками и полетел вниз. Мгновением позже, перелетев карниз, кубарем вниз полетела и кошка.

Само собою разумеется, помост для казни находился прямо под балконом Трижды Превосходящего повелителя – вдруг бы его величество пожелал наблюдать за казнью с балкона. Но его величество в роскошном кресле под балдахином сидел на помосте по правую руку от палача. Солнце готовилось взойти. Палач взмахнул топором. Император вытянул голову из-под балдахина, чтобы лучше видеть величественное зрелище. И в это мгновение, ровно за полтора мгновения до восхода солнца, мышонок упал точно за шиворот палача, человека, который, на беду, единственный в империи боялся

мышей. Было предсказание, что мышь принесет несчастье всему его роду. А некогда любимая кошечка императора, которую он забыл и предал, увлекшись мышьиной возней в своем царстве, упала с неба, забывая и преданная, прямо в его дрожащие старческие руки.

Палач был лучшим палачом империи. Долю мгновения боролся он с безумным ужасом, но на эту долю он все же промедлил. Солнце плеснуло горячим светом по его глазам и, отразившись от топора, ослепило императора и стражу. Топор упал – о ужас! – мимо, и краем своим разрубил толстую веревку, которой был привязан осужденный.

Когда прошло ослепление, произошло вот что: палач с воплем вытащил из-за шивороты мышонка. Император держал в руках боевую стальную кошку. *Дерзновенного* на помосте не было, но действующим лицам было не до него.

В ужасе отшвырнул палач дрожащего мышонка, а император – любимую кошку. Дамы попадали в обморок – каждой казалось, что мышонки упали ей за декольте. Народ разбежался, ибо стальная игрушка носилась по непокрытым головам...

Впрочем, суматоха длилась недолго. На подобные случаи были предусмотрены чрезвычайные правила чрезвычайных происшествий. Кошку водрузили в клетку. Мышонок чудом вернулся к себе под камин и прижался к маме, которая только что проснулась. *Мышь-отец* притащил, наконец, сыр. Глашатай зачитал указ о том, что утро нынешнего дня отменяется как *небывшее* и о нем повелевается вовсе забыть. Подданные легли досматривать сны и проснулись, когда солнце было уже высоко, недоумевая, отчего это они сегодня так поздно встали, и не зная о том, что палачу отрубили голову. *Дерзновенного* не было в пределах империи, но о нем уже никто и не помнил.

Пред императорские очи предстал Главный Надзиратель, ведавший тайной канцелярией, палачами, стражей и Вычислительным центром.

– Докладывай, как сие могло случиться?! – грозно спросил повелитель.

– Дело в том, – начал Главный Надзиратель, – что моя жена поздно явилась домой. На мой вопрос, где она шлялась, она ответила, что была у портнихи – не могла же она явиться на казнь в старом платье! На очной ставке, через полчаса, портниха созналась, что моя жена ушла от нее еще три часа назад.

– Короче! – нетерпеливо прервал повелитель. – Кто виноват в том, что жена твоя смогла незамеченной выйти от портнихи? Разве за нею не следили?

– Дело в том, о мудрейший, что начальник стражи именно в это время разговаривал со своей тещей, которая пришла домой не в духе...

– Разве это не было учтено?

– Это учитывалось, но были непредвиденные обстоятельства...

– Что? – грозно закричал повелитель.

– Во времена Вашего прадеда, о Превосходящий Всех, Комиссия по проверке исчислений установила, что возможно появление *неисчислимого остатка*, который с тех пор, разумеется, учитывался, и поправки были внесены во все таблицы, но само знание о существовании *неисчислимого остатка* вносило в таблицы *неустрашимую погрешность*, пока оставалась память о существовании *неисчислимого остатка*.

Ваш прадед был могущественным и мудрейшим из всех Превосходящих, к тому же он был самым старым и дряхлым из них. Он повелел, чтобы все вычислители, начальники тайной канцелярии и хранители знания, кроме самых дряхлых, были уничтожены – и повеление немедленно было исполнено. К концу казней никто из дряхлых уже не помнил, по какому случаю начались казни, не помнил о том и сам Повелитель и страшно сожалел о столь многих жертвах чьего-то злого приказа. Само наименование *неисчислимого остатка* исчезло из памяти, таблицы стали действенными и исчисления стали безупречными.

– Так как же произошли сегодняшние странные события? И куда делся главный смутьян?

– Он, увы, выпал в прореху времени, которая открывается один раз в сто лет. Дело в том, что как только кто-нибудь в империи узнаёт о *неисчислимом остатке*, ось времени отклоняется от своего положения, и появляется прореха.

– Каким же образом узнал об этом *Дерзновенный*?

– Это очень длинная история, Ваше величество, прикажите прежде закусить, ибо рассказывать ее придется до вечера. Все началось с Вашей прабабки, когда в пажих у нее был прадед *Дерзновенного*.

В этот момент ныне царствующий Его непревзойденное Величество император и держатель скреп Вселенной "Неизбывное Ничто Превосходящий Трижды " прервал Пострела-царевича:

– Послушай, твое ничтожество, и я проголодался тоже. Свою сказку ты расскажешь мне позже, а пока мы позавтракаем. На время завтрака я назначаю тебя главным опахальщиком, ты будешь держать надо мною опахало. Для того же, чтобы ты не уставал и не следовал ненужным чувствам, главный надзиратель империи заменит тебе твое непрочное живое сердце на безукоризненное механическое, сделанное из высших сортов легированной стали...

– Увы, Ваше Величество, я проголодался тоже, да и мои родители скоро проснутся, а им нечего есть. Придется мне вас покинуть.

– Куда же ты отправишься, Ничтожный?

– Как куда? Домой!

– Где же твой дом?

– Там, – показал царевич за спину.

Повелитель рассмеялся:

– Там ведь ничего нет! У всех пределов империи кончается существование и начинается *неизбывное ничто*. Даже я не властен тебя отпустить, ибо назад нет дороги. Впрочем, если бы каким-то чудом ты и попал *туда*, откуда со своими неразумными родителями отправился в роковой путь, то именно в то мгновение, в которое ты бы туда вернулся, прекратилось твое существование. Вернувшись назад, родители в лучшем случае вернуться к началу своего знакомства, тебя же тогда не было, и ты вряд ли когда-нибудь там появишься, ибо ты уже есть, и есть здесь.

– Вы забыли, Ваше Величество, что раз в сто лет открывается *прореха времени*, и именно в данное мгновение она начинает открываться. Там, где я стою сейчас, был тот самый древний помост, с которого исчез Дерзновенный, мой знаменитый прадед. И я готовлюсь воспользоваться открывающейся дверью. Слышите, скрипит старая ось? Никто не хочет ее смазывать, она смещается слишком редко, всего один раз в сто лет. Будьте осторожны, Ваше Величество, а то Вы выпадете вместе со мной. Вернусь же я хотя и к началу знакомства своих родителей, но точно таким, каким Вы меня видите, – или я не правнук своего знаменитого прадеда и не сын Марьи Красы? Легкие противоречия в Бытии я улажу.

Прощайте же, Ваше Величество! Приятно было познакомиться со столь могущественной личностью, которая, к тому же, приходится мне троюродным дядей. Закройте рот, Ваше Величество, Вы проглотите муху, она сейчас прилетит, ее проморгали Ваши вычислители. Прощайте!

И Царевич-Пострел шагнул в бездну.

Пространство обрушилось так, словно раскололся ледяной щит, покрывавший землю. Осколки льда сползли в Великий океан, и обнажилось царство, откуда все трое отправлялись когда-то на поиски *Неизбывного Ничто*.

На роскошной цветочной поляне под величественным дубом на прекрасном персидском ковре спала непробудным сном Марья Краса, Иван-царевич протирал сонные очи...

... А в это время во дворце уже готовились к свадьбе...

Но это было совсем другое время...

## V

### НЕСЕРЬЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ



Эти любовные истории скорее надо бы назвать *увлечениями*. Здесь представлены те из них, предметом которых были девушки. Но разве только из-за них пылали голова и сердце? Литература, математика, философия – увлекали меня подчас еще сильнее, и читатель уже увидел из моих книг, что им отдал я дань бо́льшую, по крайней мере, в последние годы.

Ну а прежде?

И прежде было то же самое, только, увы, еще две пагубные страсти иногда мною владели: игра в карты и пьянство. Но можно ли сказать, что они не относятся к Метафизике любви?

Не было ни одного увлечения, которое можно было бы из нее исключить вполне – и собирание книг, и изучение коммунистических учений, и мечты о борьбе с мировым коммунизмом, и проповедь христианства, и критика его, и мука о творчестве... Нет, я открыл лишь часть любовной драмы, и сомнительно, что достигну хотя бы относительной полноты в своем рассказе. Так что, девушки, не обольщайтесь, не только перед вами стоял я на коленях и готов был умереть от счастья или горя...

## ПОВЕСТЬ ПРО АКАДЕМИКА ГРОТА

Русский человек доверчив до удивительности, и при том наряду с самой подозрительной, самой неверующей недоверчивостью! Когда таинственный восточный маг двигал взглядом стакан с водой вот на этом столе, *недоверчивый* заявил, что он все равно не верит и верить не будет. Принесли пленку и засняли движенье на пленку. При нем снимали, сам проявлял и сушил, и вот на белой простыне уселся маг и снова стал вздымать стакан в воздух. Потер голову недоверчивый, крикнул с досадой и сказал – все это обман чувств и глаз, а пленка поддельная.

– Я – говорил он в другой раз, – если б на месте Фомы Неверующего вложил персты в язвы Христовы, и то б не поверил, потому что это соблазн, а ведь там же сказано, – если око соблазняет тебя – вырви око свое!

Но да о неверии я в другой раз скажу, теперь-то как раз доверчивость меня умилила. Хотя больше всего заманивается русский человек, когда авторитетом его заманивают, например, если по радио что услышит, иль на лекции об инопланетянах, – но верит часто и без всяких оснований, а пуще всего слухам, и чем несуразней слух, тем легче верит. Вот тот же *неверующий*, о котором уже упоминалось, прибежал как-то сияющий и кричит не отдышавшись – бежим скорей, на углу пиво с воблой дают, пиво бесплатное, а на воблу небольшая наценка всего, сейчас от мужиков слышал!

Ну и конечно побежали, и конечно никакой воблы не было, а пиво давали, правда, как всегда по 22 копейки... Но говорили в очереди, будто все ж и вобла была, только разобрали быстро. Может, впрочем, и вправду была?

Сегодня доверчивость меня чуть не погубила, но и спасла! С утра был я растерян и в растрепанных чувствах – к шести должен был собраться народ, и кроме другого прочего слушать мои новые сочинения, которых я за недостатком времени сочинить еще не успел. А встал я в одиннадцатом, время бежит, как единорог разъяренный, и не только сочинения, но и темы, и мысли, и хоть какой завязки самой плохонькой – ничего нет!

Когда-то Чехов сказал, будто писать рассказ можно про что угодно, даже про пятна на обоях или про муху, ползущую по стеклу, а позже даже целую теорию создали формалисты, смысл которой состоит в том, что в искусстве будто бы (ну и в литературе тем более) важно не о *чем* писать, а *как*; дескать, сухой и неинтересный писателишка про Ниагару напишет так, что покажется, что там рыба корюшка водится, а на крючок не идет; а другой, размашистый, про речку Лившаньку, мельчей ручья которая, понапишет такое, что из зоопарка за крокодилами на нее поедет экспедиция целая.

Отчасти сие все верно, но как и все в нашем неверном мире, лишь

отчасти верно. Ибо и вообще всякое верное не до конца верно, а и зато ложь всяческая хоть немножечко да и содержит правды...

(К слову сказать – я это в скобках скажу – последнее замечание навело меня на мысль, что ведь если *она* меня не любит, то тоже *не до конца не любит*, а немножко значит любит таки! Пожалуй, завтра я еще ее спрошу об этом, а пока возвращаюсь к рассказу).

Чтобы с Чеховым закруглиться, вот еще что добавлю.

Цель в литературном произведении – ну, например, назидательная, нравоучительная, поучительная, воспитательная, просветительная и т. д. – мне всегда была неприятна. Так хорошо писать популярные брошюры и беседы для лиц дошкольного возраста, а красными чернилами выделять основную мысль вроде: дети, в классе в учителя бросаться хлебными корками неприлично! Или – слушайте маму, когда она говорит: черт с тобой, не мой посуду, я сама вымою...

О, нет, чем писать дни и ночи, и наконец доказать как дважды два, что монсеньер А положительный герой, а некий ничтожный В вовсе отрицательный, и все оттого, что еще в первом классе отказался участвовать в классовой борьбе и поэтому оказался за бортом общественных интересов – о нет, лучше и дни и ночи сладко спать или кататься на велосипеде или стоять в очереди за *два девяносто семь*.

Но и превратить литературное творчество в бесцельную игру души и воображения, в свободный порыв моцартовского парения было, все-таки, не по мне.

Словно не зная, для чего богатеть надо, одну только мысль усвоил твердо –

Нет, выстрадай сперва свое богатство,

А уж потом свободно расточай!

Протикало проклятое радио, и натикало полдень. Осталось шесть часов, а темы по-прежнему нет – ведь нельзя же потчевать гостей магического вечера скучными спорами о смысле литературного сочинительства, не напоив чистым вином вдохновения, равно как нельзя бы было заставить их выслушать полезную лекцию о пользе Пользы и насмешливости смеха, не насмешив, а лекцию о прелестной радости шутки, головокружения, правдивого обмана, очарования чародейства и колдовстве фокусов закончить словами – милые барышни, фокусы мы покажем вам в следующий раз!!

Маргарита открыла холодильник, ахнула и всплеснула руками, и вслед за этим, ошеломленный, с сумкой в руках в половине первого я отправился в гастроном за капустой.

– Воплотись ль ты в Фауста и продашь ли дьяволу душу за литературный дар или кокетливый взгляд феи, притворяющейся ведьмой или наоборот; явится ль Мефистофель и начнут ли летать стаканы над головами гостей – неизвестно! А вот что известно подлинно и досконально, так это то, что если не будет пирогов и горячего чаю, то пустые стаканы станут летать над головою хозяйки – хотя бы в воображении гостей!

Увы, мне, грешному!

Отстоял я очередь на улице в холоде, отстоял в гастрономе к лотку с кочанами, отстоял к весам рычажным уравнивающимися и, наконец, встал в очередь к кассе, еще не подозревая, что се *грядет гибель и спасение вместе!*

– Крайний кто? – удрученный заботой обратился я к старику с белою бородой и в интеллигентных очках из народа.

– Надо говорить: "последний", молодой человек! Чему вас только в школе учат!?

– Видите ли, достопочтенный! – меланхолически отвечал я ему – не говоря уж о кандидате наук Тепикине, который – как кротко в аналогичной ситуации заметил кроткий Ганечка – тоже говорил не "последний", а "крайний"; не решаясь сослаться на глас народный, который хотя бы иногда – когда Бог дремлет – является гласом Божиим – позволю себе сослаться на знаменитого академика Грота, придавшего русской грамматике форму и научность.

Так вот, *сей последний*, уравнивая преимущества "последнего" и "крайнего", хотя и лишен был прекрасной возможности познать народ и тонкости народного говора в благодатной атмосфере очередей, интуитивно постиг не нормативный, а стихийный характер русской души и русского языка, и сказал так:

Не грамматика предписывает языку, как ему развиваться и жить, но язык, вечно живой и непрерывно обновляющийся, диктует грамматике ее формы.

Язык изучают не в бухгалтерии. Постоянные кампании под лозунгами "Правильно ли мы говорим" и "Как надо правильно говорить?" уместнее были бы в китайской школе для глухонемых, а не там, где говорить и дышать – одно и то же.

Да, можно научиться шире и свободней дышать – и говорить чище и выразительнее! Но не пропалывая наше чахлое поле, вырывая вместо сорняков хотя и колючие, но зато крепкие растения, а напротив взрыхляя его и засевая гуще, разбивая окаменевшие проплешины и их засевая тоже.

Огрубляется дух языка, душа его черствеет, мелодия бледнеет, сумма оборотов, фигур, интонаций, приемов, подъемов и падений, намеков и недомолвок, оговорок, ошибок – намеренных и мнимых – уменьшается, рисунок речи ломается, слова стираются... Да разве в том дело, чтобы запретить говорить "хочут" вместо "хотят" – хотя, к слову сказать, первое речение древнее и сильнее и по крайней мере имеет право на одновременное существование, ибо ведь говорим мы и "блещут" и – "блестят"; говорим "клеветуг" – хотя и "льстят" – и... но, продолжаю, в искорененьи ль более древних форм назначение ревнителей языка?

А не о том ли надо болеть и вопить, что вся безграничность оттенков *хотения* вмещается ныне, в речи говорящего, в одно лишь речение "хотеть", и не услышишь от пьяницы: я жажду напиться; от голодного:

смотрю на снедь как зверь алчный; от модницы: желаю покуражиться; и от влюбленного: томлюсь и стражду и душа изнывает.

Конечно, *томиться*, *жаждать* и *алкать* – архаические формы, но как часто сиюминутное волею судьбы безнадежно тонет, чтобы не всплыть, а только что казавшееся архаическим обретает все права современности! Разве не потому ли привилось к пьяницам название "алкаш", что формально будучи уменьшительным от "алкоголика", по значению оно опирается именно на живущее в памяти слово "алчущий"?

Или вот, к примеру, многие ли помнят, что предшественник нынешних шариковых авторучек сначала называли "вставочкой" – когда железное перо стали вставлять в трубочку, а позже – "вечным пером"?

И кто не знает теперь почти так же распространенного как "хлеб" слова "тунеядец"?

А ведь это – древнее слово, двадцать пять лет назад еще совсем не употреблявшееся в речи!

Рядом со мной, уже плавно по-ораторски машущим рукою, остановилась старушка в платочке, и горестно заметила: дак, батюшка, двадцать пять лет назад они только родились еще, раней их еще не было!

Ты мне вот что, батюшка, скажи, а что означает слово "акафист"? Наверде, я понимаю, как гимн – а правильно ли?

– Это греческое слово, бабушка, и понимаете Вы в общем правильно, именно – это хвалебная песнь, исполняемая стоя, например *акафист Божией Матери*...

– А отчего, говорят иногда "мага́зин" вместо "мага́зин"? – обратился давешний старик.

– Или вот еще: *лавка*... Раньше-то все магазины "лавками" называли.

– Да и нынче так же называют, только не замечаем в речи. Вот приезжает в деревню фургон с товарами и говорим: *автолавка* приехала; или приносит жена домой сыру швейцарского и хвастается: из-под *прилавка* достала.

Магазин же слово английское, не более двухсот лет как пришедшее в язык, и ударение его долго не устаивалось, когда-то и мага́зин было законным, а ныне так тоже можно сказать, но имея намерение подчеркнуть комический или заговорщицкий оттенок в речи, вроде: *хляем в мага́зин, берем полбанки и ссытаемся на хазу*.

– Против блатников Вы верно, товарищ, речь ведете! Бить блатников надо! – с жару добавил запыхавшийся гражданин с авоськой, ввинчивающийся в окружающую толпу.

– Но Вы нам насчет воспитания посоветуйте, это теперь живо-трепещет! Когда он, бандюга, в подворотне нож вострит, уж поздно, а вот когда еще в пеленках – вот тогда что, как его тогда-то надо воспитывать, а? Надо бить, или все на гуманность напирать надо?

– Да, да, вы нам про воспитанье, просим, просим! – зашумела толпа.

И как лошадь, уронившая ездока, понесся я вскачь про воспитание.

Толпа прибывала.

Уже вторая кассирша торопливо запирала кассу и объясняла соседке:

– Грот, академик, выступает! С комиссией в магазин к нам прислали, и вот попросили лекцию сделать. Ты сходи в отдел, может, копченной колбасы на всякий случай выбросить надо?

– О, язык! Надо ли повторять уже избитое выражение, что он могуч и он прекрасен? Да и правда ли это?

Каждое утверждение, претендующее на полноту описания – лживо, ибо оно необходимо односторонне. Прекрасна ли буря, вырывающая деревья и срывающая крыши с домов, переворачивающая автомобили и шаланды, бросающая корабли на мель и рвущая телефонные провода? Прекрасна ли сердечная буря, разбивающая сердца? Прекрасна ли влюбленная, уходящая к другому? Прекрасен ли нож в руке разбойника?

Так и язык, обнимающий собою всю полноту бытия, сам не вмещается ни в формулу, ни в метафору, он многолик, миллионо-лик, он и сад и пустырь, и прекрасный храм, и мусорная свалка вместе, он и богач, не считающий богатства, и последний нищий, обшаривающий карманы в поисках хотя бы одного не изношенного слова.

Почтенье к языку, преклонение перед его мощью, гордость за него – бессодержательны. Мы не гордимся сердцем, которое бьется безпрестанно; мы не гордимся воздухом, которым дышим, так не должны мы *гордиться* ни языком, ни народом, но – *любить* их и заботиться о них.

Какова же должна быть наша забота?

Есть чистюли, которые отряхивают со слов каждую пылинку, да и не каждое слово пробующие на вкус и проталкивающие сквозь гортань. Они лишают себя разнообразия. Нет ни одного несъедобного слова, но аромат и вкус зависят от сочетания их. Так ведь не подобает сластить перец медом, или, напротив, посыпать мед перцем, но разве "соленое словцо" всегда неуместно? Клянусь, нет ни одного слова, которое нельзя было бы использовать при строительстве литературного здания, а уж тем паче на улице, но соединение их должно быть гармонично.

Но есть и гряззули, сваливающие в одну тарелку капусту и мускатный орех, запивающие пирожное кориандровой, а шампанское – томатным соком, который, тем не менее, так хорош с тормозной жидкостью или средством для чистки посуды! Есть гряззули, объясняющиеся в любви на языке жокея и изучающие грамматику по надписям на заборе.

Итак, дело вовсе не в том, что одни слова предпочтительнее других, или *правильно* или *неправильно* мы их произносим – у слова достаточно большой запас изменчивости и велика способность к приспособлению. Нужно быть свободным и щедрым, точным и выразительным, менять слова и построение их, как модница меняет наряды, не злоупотреблять лишь крепким и соленым, но не избегать и соли.

Однако, чтобы не впасть в суесловие, скажу на прощание, что есть нечто и выше речи.

Это лепет ребенка и молчание влюбленного.

В плавное течение проповеди назойливо врывалось воспоминание и чем-то тревожило меня. И вдруг, взглянув на старушку в платочке, с счастливо открытым ртом слушающую меня, я вспомнил давнее подобное же происшествие.

Забрел я как-то в церковь на Смоленском кладбище, вскоре после пасхи. Остановился у столика для освящения даров и благоговейно вслушивался в звуки хора в притворе; а возле меня отчего-то стали собираться, и вот тоже старушка в платочке дернула меня за рукав, сунула яичко в руку да и говорит: помолись, болезной, за раба Божьего Федора!

Я яичко принял, и кротко обещал помолиться. После другая старушка поднесла кулич, просила освятить и тоже помолиться Богу; а там уж и очередь возникла, и с улицы подходить стали, и с соседних улиц, а после пришлось двери церковные закрывать, чтоб давки не было; да говорят, что еще на третий день с других городов приезжали, спрашивали, где тут святой и чудотворец, который за всех молится, а особенно за грешниц кающихся.

Вспомнилось мне бывшее происшествие, когда уж поздно было. Уж директор магазина мне руку тряс, благодарил, зам его пахучее что-то в карман незаметно всовывал, а два милиционера осторожно под руки брали и к выходу вели.

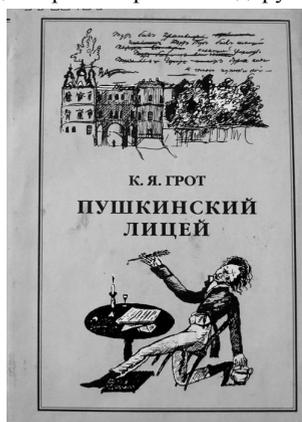
— Охраняют их! — почтительно заметил кто-то и все расступились.

К счастью, отделение оказалось близко, доехали быстро, и через десять минут я уже сидел за столом. Рядом графин с водой, напротив лейтенант с авторучкой, а на скамьях милиционеры в новенькой форме. Интересовали их слова преимущественно блатного происхождения вроде как *фраер*, *клевый*, *отмазать*, *капуста*... Тут я про капусту вспомнил, и заторопился... — Граждане, говорю, служители Фемиды! Тут у меня неподалеку друг живет, внук друга моего, академика-слависта Чернышева В. И., а у него сегодня вечер, посвященный происхождению слова "фармазон".

Начало в шесть часов, а там еще пирог надо испечь и к лекции подготовиться.

Пожали мне руку, спасибо говорят, и я домой побежал.

Господи! Уже пять часов, а мне еще к лекции приготовиться, а в шесть часов гости придут. Хорошо, если опоздают! А ну как во время придут?!



## **О ВРЕДЕ ПЬЯНСТВА ИЛИ СЛОВО В ЗАЩИТУ ПЬЯНИЦ**

**В** субботу у Николая Федоровича Калошина собрались гости; сидели весь вечер за столом, отдавали дань закускам и вели разговоры.

Разговоры вскоре приняли односторонний характер. Дело в том, что Николай Федорович бросил пить, а посему из напитков на столе оказались только ситро самодельное из смородинового варенья да клюквенная водичка; а известно, что чаще всего говорят о том, что всегда было, а чего теперь вот – нету... Раньше анекдоты и острословие крутились вокруг масла, да сыра, как еще раньше вокруг колбасы разных сортов и наименований, и следовательно отсутствующая выпивка стала новым центром притяжения умов.

Общество, собирающееся у Николая Федоровича, не чуждалось ни поэзии, ни философии, и если речь заходила хотя бы даже о самой прозаической вещи, вроде например плавяных городских сырков, вы могли быть уверены, что предмет сей будет исчерпан со стороны самой глубокомысленной и возвышенной, то есть не столько в отношении физиологии или экономики, сколько политики и философии.

Так, конечно, случилось и в этот раз, и присутствующие, после небольшой дискуссии на тему "пить или не пить", смирившись кажется с необходимостью "не пить", пустились по очереди рассказывать назидательные истории, связанные с выпивкой. Общий же тон всех историй был, так сказать, антиалкогольного свойства.

Первую историю поведал сам хозяин.

Начал он, как всегда, издалека.

– Я, кажется, уже говорил вам, – начал он – что несмотря на привычку опаздывать – на работу, на свидание и т. п. – ни разу не опоздал на поезд. То есть даже если случалось так, что я опаздывал хотя бы и на час – поезд, конечно же, опаздывал на целых два, и я, торжествуя, говорил, что даже рановато вышел из дому!

Но так было до позапрошлого лета, когда все случилось иначе. Ехал я в Сибирь к родным, вез с собою пятилитровую бутылку грузинского вина, которое купил прямо на подъездных путях виноводочного завода, а в чемодане среди всякой дорожной чепухи небольшого формата изящно изданную книжку Евангелий. Если миссионеры, отправляясь обращать язычников, в левой руке держали крест, а в правой меч, то я, как видите, одной рукой держался за Евангелие, а другою – за бутылку темно-вишневого цвета!

Как правило, приезжал я без предупреждения. Но тут, не иначе, сам Сатана ввязался, и под руку подтолкнул, и в Свердловске – благо поезд стоит почти полчаса – побежал я на почту давать телеграмму.

Только раздраженная ведьма за стойкой начала мне отсчитывать сдачу трехкопеечными монетами, как вдруг объявили, что ввиду

опоздания поезда стоянка будет сокращена – а в окно вижу: по второму пути мой поезд и впрямь начал сокращать стоянку.

– Выдайте мне, пожалуйста, ассигнации – вежливо и спокойно говорю я злой бабе, – а мелочь можете себе оставить, ибо вот – стоянка сокращается..

Но нет, усмехнулась нечистая сила, и пока до последней копейки медь не отсчитала, за ассигнации не взялась.

Я все же таки надеялся, думал, вдруг остановится, бежал сзади, ну а... потом махнул рукой, и вернулся на почту.

– Вы мою телеграмму еще не отправили?

– Что ты, миленький, отправила, тут же отправила!

Пришлось писать другую, ввиду опоздания поезда приезд откладывается на несколько часов, подробности – по приезде...

Горя нетерпением, сел на ближайший же поезд, но уже в пути выяснил, что на некой, дотеле мне неизвестной станции по имени Камень Уральский, его путь расходится с моим.

В Камне Уральском принялся изучать расписание – оказалось, что времени мне хватит даже на то, чтобы изучить и сам этот пыльный и огорчительный городишко, так как поезда в нем останавливаться никак не хотели.

Было уже начал я сетовать на судьбу свою, и посылать проклятья вслед уходящему поезду, на который так неудачно поспешил сесть, как вдруг ко мне присоединился еще один жарко дышащий любознательный мужчина средних лет в майке, пижамных штанах и тапочках на босу ногу.

Исследовав расписание, плюнул он в сердцах и мрачно попросил у меня займы три рубля (кстати, так до сих пор и не отдал).

Мне стало почти весело. Лишний раз убедился я в том, что хорошо не тогда, когда хорошо, а когда другим – еще хуже.

В общем, день я провел неплохо. Посетил универмаг и книжный магазин, обошел городок по радиусу и вокруг, дошел до леса, видневшегося за полем и оврагами, вернувшись, сходил в баню и выпил местного пива, несмотря на что остался жив.

Ночью добрался я до Омска и там меня ждали вещи; получал я их по списку часа два, перечислены были носовые платки и три рваных носка, зубная щетка, пачка бритвенных лезвий, спички и прочая ерунда в этом же роде. Евангелия, увы, не было. В списке оно тоже не числилось.

– А бутыль с красным вином?

– Да вон же она под столом стоит!

Я так обрадовался и удивился – ожидал то ведь я, что вино выпьют, а книгу не тронут – что разразился чуть ли не речью.

– Вот – сказал я – все ругают народ, что де пьет да только о плотском печется – а вот, смотрите-ка! Вином пренебрегли, не стали увеселять Плоть свою, а о Душе не забыли! К Духовному народ тянется-то, к Духовному, вот что!

Ну, приехал я наконец к родным. Поезд пришел ночью, все уже спали, но однако праздничный стол устроили и среди ночи поставили на стол и выпивку, и закуску, а все извинялись, говоря, что сейчас де только на скорую руку почествуют меня, ну по рюмке, две выпьют да полягут, а уж завтра как следует встретят.

Я рассказал о мытарствах, очень посетовали на потерю Слова Божьего, но, говоря, не сетуйте, а радуйтесь – вот ведь человек волен был выбрать между Злом и Добром, и выбрал Добро, а Злом пренебрег – бутыль то цела!

А вино, говорю, замечательное, я его немножко попробовал до отъезда, но почти и не пил, решил, что с вами выпью за встречу. Цвет, говорю, у него был замечательный, темно-вишневый, за дорогу поблек что-то, наверно, от тряски... Ну, говорю, давайте выпьем за то, что народ русский Слово Божьему предпочтение перед вином отдает, к свету тянется!

Налили мы рюмки, стали пить, а я пока не пью, торжественно за выражениями лиц наблюдаю – такого вина, думаю, они здесь тысячу лет не пили.

И вдруг у всех лица скривились, и недопитые рюмки на стол поставили, а на меня глаз не поднимают – Батюшки мои, что же это такое? – думаю – Неужели и здесь так от вина отвыкли, что даже рюмку допить не могут, кривятся? А вот критики разные на народ клеветают, дескать, об вине только и думает...

Взял я и свою рюмку и отхлебнул, да невольно и сам скривился... Не только цвет за дорогу поблек, и запах винный выветрился, но и вкуса вина не осталось, один только вкус воды, то есть попросту говоря, вовсе без всякого вкуса.

И тут осенило. Да ведь гады не только Евангелие сперли, но и вино выпили, а воды налили!

Все христианство наизнанку вывернули, на русский манер: Христос воду в вино превращал, а эти нехристи вино превратили в воду, кудесники, чтоб их черти в аду и без воды и без вина оставили!

Николай Федорович кончил рассказ, закашлялся, грустно стол обвел затуманившимся взором, выпил смородинового ситро и примолк, приготовившись сам слушать.

Тут, конечно, настала очередь хозяйки.

– Я короткую историю расскажу, а то у меня чайник на плите стоит.

Ну, все мы начитались да наслушались о вреде пьянства, да и в жизни насмотрелись безобразий столько, что будто в сумасшедшем доме. Но вот я и доброе слово о пьянстве скажу, не только от вина вред, все зависит от того, в каком наклонении мысли, когда человек пьет. Если мысли ко Злу наклонены, то вино его туда пуще потянет, а ежели к Добру, то пьет человек, и плачет, и так ему всех жалко, что даже последнюю рюмку не жалко ближнему отдать, не только рубаху с плеча.

Десять лет назад снимали мы квартиру на Литейном, и хозяин у нас был пьяница и человек вредный, все любил с топором ходить, когда пьяный; приходит и говорит – порублю, кричит, все эти ваши книги, вред от них один, всякого Бога проповедуете, сектанты, кричит, баптисты, нет Бога никакого, это все книжники навдумывали, круши их, так их так...

Но ничего, рубить не рубит...

Мы на такой случай приятеля одного ночевать приглашали... Хозяин стоит посреди комнаты с топором на плече, разоряется, а приятель наш в углу по кирпичу ребром ладони стучит.

– Чего это он? – Хозяин спрашивает.

– Да руку тренирую, чтобы одним ударом можно было шею перебить... некоторые даже с размаху стену пробивают... Каратэ называется... Вот, дай попробую!

Ну, вот так мирно мы и жили.

А один раз прихожу домой, в квартире во всей – никого! В комнате нашей хозяин стоит, топор лежит на столе, а хозяин меня не замечает, сам с собой разговаривает и чего-то руками машет. Я прислушалась.

– Ну, дурак я, не верил Божественному, ну дурак! А в нем то силы побольше, чем в химии! Ага, ну-ка еще испытаю!

Тут он хватя что-то в воздухе и торжественно двумя пальчиками, вроде как мышку за хвостик, несет на стол. Вроде положил, рукой придерживает, другой рукой гвоздь берет и начинает к столу приколачивать. Приколотил, руки потер.

– Ага, ловко! Повертись, повертись, чертеняка, как рыбка на крючке, куда ты теперь у меня, голубчик, не денешься, возьму вот и сам тебя в масле изжарю, пока до меня очередь не дошла! Ага, боишься?!

Ну, так, попробуем на тебя разные средства...

Берет он топор, поднимает и обухом по пустому месту довольно сильно – тюк! Аж стол зазвенел.

– Вот, холера – говорит – обух его не берет. Так, попробуем кислотой!

Берет бутылку в шкафу, льет на стол, дым пошел.

– Надо же, и кислота не берет! Ладно, ладно, холера, маслицем теперь я тебя угощу.

У него на столе электроплитка стоит, сковородка калится и масло в ней кипит.

Хватает он сковородку тряпкой и раз – поливать начинает то, что за хвостик к столу приколотил.

– И это не берет? Ну и сила в тебе, не зря нечистой силой зовут! Ладно, кайся в грехах, смертный час пришел! Вот теперь я тебя так испарю, что и мокрого места не останется!

Тут он складывает три пальца шепотью и троекратно крестит и орет на весь дом: Наша взяла! Еще одного изничтожил!

А потом бегают по всей комнате, гоняется за ними, крестит, к потолку подпрыгивает, потом под кровать полез крестить, за шкафом, и в шкафу все перекрестил. Остановился, весь красный, потный.

– Уф! Кажется, всех перебил, до одного!

Увидел меня, не удивился.

– Видела, как Божья Сила ихнюю силу одолела? Все, иду в церковь Бога признавать... Подожди, ты мне три рубля не дашь?

– Зачем?

– Свечку надо поставить.

– Так свечки и за 30 копеек есть, зачем же за три рубля?

– Не, за 30 копеек мало, надо дороже. Ты уж поддержи, раз я тоже в сектанты пошел.

Пришлось поддержать.

И ведь что вы думаете? Перестал носить топор, говорит, силы в нем мало. Как придет, перекрестит все в комнате, три рубля попросит – и уходит – в церковь. А вы говорите, вредно пить.

Хозяйка побежала на кухню чай заваривать, гости завздыхали и заерзали.

Делилось же все общество на две части – одна часть – самая нежная, тихая, прелестная и почти неземная – пить вино еще не бросила, потому что и не начинала, другая часть – глубокомысленная, утонченная, возвышенная и почти небесная – пить уже бросила, но еще страдала.

На стол поставили пряники. Первые к ним прикасаться робели, вторые – не желали.

В воздухе сгушалась тоска и слово взял начинающий философ, то есть человек, который еще почти не обжигался ни на воде, ни на молоке и на мир смотрел восторженно.

– Можно, я тоже про пьяниц что-нибудь расскажу? Вчера случилось при мне одно забавное происшествие, оно, правда, не имеет назидательного смысла, а может и никакого смысла не имеет, но ведь мы и насчет всей жизни в целом не уверены, есть в ней смысл или нет? Так вот.

Пришел я в гастроном, взял за чем послали и стою у кассы, а передо мною пьяный стоит качается, прижимает к груди буханку и отсчитывает медяками плату. Двух копеек у него не хватило. Перешарил все карманы, больше не нашел.

– Ладно – говорит кассирша – бог с тобой, иди так. Вот уж тридцать лет торгую, и что у пьяниц на вино не хватает – каждый день вижу, но вот в первый раз вижу пьяницу, который за хлебом пришел, а у него – на хлеб не хватило.

Рассказчик замолчал.

– И все? – спросили гости.

– Все.

– Ну, знаешь, таких историй можно возами возить, не перевозить.

Тут кстати вернулась хозяйка с чайником, разлила чай по стаканам,

притронулись к пряникам, поговорили о том о сем, снова выпили чаю и опять замолчали.

Среди гостей сидел некто в черном и он предложил продолжить обсуждение темы – пить или не пить, а заодно послушать небольшой рассказ, посвященный этому предмету.

– Читать?

– Да читай, чего уж там!

Автор выпил клюквенной водички, откашлялся и мрачно начал свой рассказ.

В жаркий летний день у пивного ларька на Голодае растянулась полусонная очередь. Невдалеке, возле груды поломанных ящиков, соображали на троих и блаженствовали, и, уже разлив по стаканам горький нектар, замерли в напряженной позе. Высокий и грузный мужчина средних лет, с всклокоченной бородой и громадной гривой седеющих волос произносил речь.

– Выпьем, друзья, за души страждущие и ищущие.

("На дне стаканов!" – ехидно вставил молодой парень из начинающих).

– Молчи, пьяница безалкогольный, и слушай умных и постигнувших смысл жизни, а также смысл питья.

Ну-с, так выпьем за тех, кто ищет в вине не забвения, не наслаждения, не куражу и возвеличения, а Истину и Господа Бога, и уголяет не простую телесную жажду, а духовный пал.

Чокнулись радостно, выпили, запили золотистым пенистым пивом и повеселели пуше.

Нет, что ни говори, а как бы ни возвышенны были поиски Истины, но я предпочитаю простые житейские радости! Живем-то, братцы, больно коротечно, сегодня живем, а завтра – кто знает?

Так на кой черт мне истина, что от нее – водка крепче станет?.. Погодите, погодите, возражения ваши я и без вас знаю, и сам я не такой уж дурак! Да, конечно, и я не амеба, и я – и истину искал, и справедливость, и Бога, и Душу...

Да – а что нашел? И вот бросил искать, водочку попиваю, на девок смотрю, на рыбалку езжу опять же с друзьями – да моя жизнь и полней и духовней стала с тех пор, как духом переболел и выздоровел. Вы вот заведетесь, и будете языки чесать – а я!? Я развалюсь на ящике повальяжнее, на облака погляжу, воздуху вдохну глубже, скажу: Хорошо то как, братцы!

Вот, ищите... И следственно глаза закрыли, уши затворили, всматриваетесь внутрь, а там – темно! Из всех чувств и ощущений ваших одна только рефлексия, одно только бесплотное смотренье, мучительное смотренье в себя – притом в себя бесплотного, выключенного из жизни, худосочного, бесчувственного!

А я?

– А ты развалишься на ящик повальяжнее, да и закукарекаешь: Хорошо, мол, как!

А что хорошего?

Чтобы замурлыкать от тепла и покоя, вовсе не надо бы в человека превращаться, а гусеницей оставаться, листочком каким зеленым, или уж котенком мурлыкающим.

Кто ищет веселья в жизни сей, тому незачем вино пить, тот и без вина весел.

Нет, истинный человек – это тот, чья Душа больна разладом Души и тела, кто сей телесный непосредственно явившийся чувствам образ мира не приемлет, ибо Душа в нем не помещается, ей тесно, ей жмет мир как тесная одежда, но и пуститься в путь босиком и голой Душа не желает, ибо как одежда, то есть нечто внешнее для тела, выявляет красоту тела, делает тело зримым, так и мир выявляет Душу и без него она не видима.

Только – если даже для своего брэнного тела скроить и сшить или купить в магазине подходящую одежду труднее, чем найти жену, то что уж говорить об одежде для бессмертной Души?

Или – продолжу сравнение в другом роде. Мир – это грубый и глупый самодовольный мужчина, а Душа – нежная, тонкая прекрасная женщина.

Что хорошего в их союзе?

Грубый мир издевается над своей нежной женой, поколачивает ее, пока и она не опустится в грязь и не приложится к рюмке, или же не сбежит от него в монастырь.

Но и что хорошего в их разладе?

Истинный человек – это ребенок, плачущий от непримиримости отца и матери, и мать его – Душа, а отец – мир.

Так выпьем же, друзья, за Души плачущие и страждущие...

("Вина страждущие" – опять ехидно ввязался тот же молодой парень.)

– Тьфу, черт, не даешь тост закончить! Чтоб тебе, ехидне, больше пьяным не быть! Чтоб перед тобой магазин закрывали, чтобы гривенника на бутылку не хватало, чтобы в стакан не доливали, последнюю трешку жена стащила, чтобы рядом пили, тебе не налили, чтоб тебе опохмелиться не давали!

– Да ты прямо садист какой-то, а не свой брат-собутыльник. Лучше я тогда один пить стану! – обиделся молодой.

– Нет, уж, сиди! *Один* пьет уже полный пропойца или возвышенный философ, а ты еще ни до первого не опустился, ни до второго не поднялся. Ну, так с Богом, братцы!

Выпили вдругорядь, еще радостнее закусили сырком плавленым и задумались.

– А что, братцы, не сбежать ли нам за бутылочкой?

Слушатели оживились, повеселели.

– Это у тебя что, в рассказе так, или ты от себя предлагаешь?

– Вообще то в рассказе... да я могу и от себя сказать тоже!

– А как же история, которую ты нам читаешь?

– Да там больше ничего особенного не происходит, я могу в двух словах рассказать.

Выпили они еще по паре рюмок, на радостях, потом драться стали, философу накостыляли, он с горя еще тяпнул и на берегу речки Смоленки спать лег, благо дело было летом, тепло, безветрено, а жена его из дому турнула. Вот и все.

Так что сбегать и я могу.

– Нет, друзья! – вздохнул хозяин. – Уж коли я всерьез пить бросил, то и силы небесные мне в этом намерении помогают – и хотел бы согрешить, да не могу: десять часов уже, магазин закрыт!

– Эх, вы, интеллигенция! Что бы вы без меня делали? – отозвался из угла молчаливый человек с бородой (кстати сказать, тот самый, что некогда кирпич ребром ладони тюкал) – а антимионии поразвели: дескать, силы небесные за трезвость стоят, магазины по их просьбе рано закрывать стали... ежели и вправду небесные силы за трезвость, то силы в них – маловато супротив сил земных. Ладно уж, несите рюмки!

И жестом фокусника раскрыл портфель, из которого выпорхнули, правда, не розовые голосистые птенчики, а шесть бутылок темно-вишневого цвета.

*6 сент. 1982 г.*



## НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ ВСЕХ ДОМА"

**В**начале он обижался, когда о нем так говорили, а после привык, стал отзываться и, наконец, начал гордиться прозвищем, как иные гордятся орденом.

– Где ты шлялся? – спрашивает кротко жена у приятеля его Кольки Лаптева, когда тот является в третьем часу ночи несколько забрызганный грязью, босой и без шапки.

– Гулял... – отвечает Колька... – а после к "Нековсемдома" домой заходили... Шапку, поди, у него забыл...

– А сапоги?

– Ах ты, едрена бабушка! Вот сволочи, и на сапоги польстились! А впрочем, их уже давно выбросить надо было, негодные сапоги-то...

Ну, да ладно, это присказка. А теперь послушаем сказку... Викентий Сергеевич, Кеша, по прозвищу "Не все дома", 31-го декабря, как правило, бывал в покаянном настроении и клялся непременно завязать со старой жизнью и начать новую. С Нового Года.

Так и в последний раз, встав утром с больной головой, колотьем в боку и опухшими глазами, он сжег газету, одел старую рваную телогрейку, встал на колени в прихожей и посыпал нечесаную голову пеплом.

– Все! – заявил он торжественно! – Теперь уже окончательно и бесповоротно, предчувствие есть, со старой жизнью завязываю! Близится... Обновляюсь!

Жена не поверила, и в знак протеста уехала встречать Новый Год к какой-то своей новой потрясающей подруге, а Кеша остался дома один.

В восьмом часу вечера, обзвонив в последний раз и друзей и подруг, и пожелав им счастья и любви, Кеша окончательно понял, что он один и никому не нужен, и что счастья на свете нет.

"А, поеду куда глаза глядят!" – решил он огорченно, оделся во что попало – а, впрочем, выбирать все равно было не из чего – и поехал на Невский. Никому до него не было дела, все были оживлены и целеустремленны, по Невскому толпа бурлила как в реке горной, и не за кого было уцепиться.

С горя уже собравшись вернуться домой, у входа в метро со стороны канала Грибоедова Кеша обратил внимание на девушку с непокрытой головой, в расстегнутом пальто и странной задумчивостью во взгляде, которую до сих пор у девушек видеть ему не приходилось. А притом она была так изысканно и модно одета и сверх этого так вызывающе красива, что редко кто не замедлял шага, проходя мимо нее.

Кеша откашлялся, попросил про себя: "Господи, подмогни!" – и подошел.

– Вы, я вижу, стоите одна...

– Проходите! – коротко бросила красавица, не повернув головы.

– Да Вы даже не посмотрели на меня! – возмутился Кеша.

Девушка взглянула лениво и отвернулась презрительно. Кеша отошел к соседней колонне, постоял с минуту и, с уже сильно боющимся сердцем, подошел снова.

– Вы, может быть, не знаете, но я не в силах уйти просто так, я Вас искал всю жизнь!

– Ну, что же, если сил мало, поможем.

Как духи из бутылки, появились два недобрых молодца и взяли Кешу под руки.

– Бить будете? – холодея, спросил Кеша.

– Само собой! – коротко они ответили, и дальше шли уже молча.

Довели Кешу до Михайловского сада, и тут один стукнул слева, другой справа, с Кеши упала шапка, но он устоял. Молодцы посмотрели на него внимательно, бить больше не стали и ушли.

Ужасно как не нравилось Викентию Сергеевичу, когда его били. Это для него было еще хуже, чем вызов к начальнику и даже молчаливые протесты жены, но без битья ни один большой праздник не обходился. Вернувшись к метро, он увидел, что красавица стоит все также и молодцов возле нее нет.

– Вы меня извините, что я подхожу снова, я ведь совсем не от того, что пристаю, а даже с благоговением к Вам подхожу... Вы необыкновенно красивы, а я всю жизнь о красоте необыкновенной мечтал.

– Слушай, ты мне надоел... Тебя, что, мало били?

– Нет, врезали хорошо!

– Ну, так если ты сейчас не *слиняешь*, то получишь еще больше.

Кеша отошел, спрятался за колонну и выглядывал оттуда.

Девушка осматривалась заинтересованно, словно искала кого-то, и вдруг, вызванные ее чарами, появились молодцы и вновь повели Викентия. Теперь он ни о чем не спрашивал, и сердце билось испуганнее.

Били уже основательно, и, хотя Викентий прикрывал лицо, из левого глаза посыпались искры.

Девушка стояла в той же позе, с той же задумчивостью и удивленно подняла брови, увидев Викентия.

– Я приглашаю Вас к себе в гости на встречу Нового Года, – торжественно произнес он. – Можете взять с собой даже телохранителей и кого хотите еще, только, разумеется, чтобы они меня больше не били.

Красавица взглянула на часы, опечалилась, огляделась, махнула рукой и вдруг засмеялась:

– А, ладно, давай, черт с тобой! Поедем.

Кому-то покачала головой она выразительно; приложила палец к губам, и Викентий Сергеевич взял ее под руку и повлек, как похититель, в недра земли.

Через сорок минут они были дома, часы пробили половину одиннадцатого, и Марианна заметалась по кухне, пытаясь наскоро приготовить праздничный ужин.

Вскоре они уже сидели за столом, горели свечи, в бокалах мерцало вино.

– Основным мотивом моей жизни, – начал речь "Не все дома", – является ожидание Чуда.

Но нельзя сказать, что я лишь безропотно ожидал его, ничего не предпринимая. Нет, я ждал его деятельно, повсюду, заглядывая в укромные уголки жизни, даже в подворотню и канаву, и это отнюдь не было распушенностью, о нет!

Это было отчаянным поиском, иногда даже опасным ... вот, например, совсем недавно меня били...

Но я ждал и надеялся, и вот я чувствую, чудо уже просыпается и делает первые робкие шаги, оно уже подходит, оно уже у двери!..

Входная дверь хлопнула, и в прихожей действительно послышались шаги, а через мгновение на пороге появилась жена. Викентий Сергеевич не шевелился. Он удивительно стал похож на скульптуру воина с мечом, только вместо меча в руке был зажат побелевшими пальцами бокал.

– Марианна! – воскликнула жена. – Где же ты была и как здесь оказалась? Я прождала тебя целый час, не дождалась, и вот вернулась с горя к своему обормоту. Какая же ты умница, что догадалась ко мне приехать сама. Звони скорее своему милому и помирись с ним, он как раз успеет приехать до двенадцати. Что поделаешь, иногда стоит и мужчин прощать, хотя они, конечно, того не стоят и не поймут. Но да Новый Год не каждый день, а к тому же надо ведь кому-то показать свои новые наряды!

– Ура! – закричал Викентий Сергеевич и взглянул на жену. Перед ним стояла...

"Разве это моя жена? – подумал Викентий Сергеевич. – Как будто я ее когда-то видел, но уже довольно давно. Эти свободно ниспадающие брюки, кружевные оборки на бесстыдном вырезе блузки, высокая прическа, сверкающие глаза, меховое пальто... Откуда у нее пальто, черт возьми? ... И такие красивые губы!..."

– Сударыня! – произнес он вслух. – Я Вас искал в подворотне, а Вы совсем близко. Разрешите пригласить Вас на встречу Нового Года и первый тост выпить за необыкновенную чудесную встречу – я встретил Вас ...

*13.12.1984 г.*

## ЧУДЕСНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

**П**етька-хулиган, по прозвищу "Бесконвойный", с утра 31 декабря чувствовал себя скверно внутри и снаружи – снаружи побаливал глаз, который поранил он о штакетину... или штакетина сама... да, впрочем, черт ее знает, объяснить он затруднился, так как не помнил точно – уж слишком быстро и невдумчиво пролетело: кулак, штакетина, забор, мельтон, поллитра, сапоги... да, пролетело, а потом стал саднить глаз.

Внутри было скверно еще неопределимее – не то брюхо болело, не то душа, не то на душе было мутно оттого, что болело брюхо. Изъясняясь деликатно, трудно было изъяснить то, что требовало слов под стать поллитре и забору... Правда, слова эти существовали, и Петька их нашел – да и не искал вовсе, ибо они в нем присутствовали вместе с брюхом – но вот что странно: чувствуя ярость и возмущение и формулируя чувства свои в словах простых и точных, как лай собаки, Петька удовлетворения не испытал.

А дело было, видно, в том, что стояло с утра последнее число последнего месяца года, и даже такая душа, как у Бесконвойного, то есть вполне молекулярная и пищеварительная, подчиняющаяся всем законам Дарвина и Гей-Люссака, выделяющая слюну по Павлову и желчь по правилу Лопиталья – даже такая кристальная, простая и ясная, не испорченная раздумьем душа томилась о чем-то возвышенном и неуловимом, неопределимом ни методами простой, ни квантовой механики.

Шел тихий снег, остановилось время, торопливые прохожие несли последние елки-палки, прижимая к груди лишние иголки дары леспромхозов, двери гастрономов гостеприимно раскрывались, полки

прогибались, а вот у Бесконвойного вывалился в снег и потонул в нем последний двугривенный, хотя и у него душа горела и вознестись жаждала. Да и не все было дело в том, чтобы наскрести на "пузырь", найти парадняк с подогревом и, прислонясь спиной к горячим железным ребрам, "принять на грудь" триста – все это было вчера, и вчера было хорошо, а вот сегодня стальные законы молекулярно-кинетического мира забуксовали и привели к невыразимой тоске. Хотя сформулировать и определить тоску словами не удалось, но чувствовалось определенно и грубо – исчезающий день настолько отличался от всех других пошлых и подлых дней подлой жизни, что только грандиозная драка со звоном хрусталя и радостным визгом чувих достойна была его украсить. Петька засунул руки в карманы, левое плечо слегка развернул вперед и пошел одиноким и гордым бойцом, но молча. Жизнь – так решил он – поможет сама и направит, и только б не прозевать тот краткий миг, когда бить всего легче.

Около кинотеатра взгляд привычно скользнул по афише с рекламой старинного фильма ужасов – "Чудовище Нового Света" – но капризы дождливой декабрьской зимы стерли конец ужасного слова, и "Чудо Нового Света" остановило шаг.

Около фонаря стоял фраер. Ну, фраер как фраер, с бородой, интеллигент, хотя и без очков, и нагло смотрел, выставлялся... *воображал*... думал, что он один умный... Ну, пару раз костыльнуть, фотокарточку слегка подновить, и фраер бы поумнел...

А фраер и говорит вдруг:

– Что, Петя, по нарам скучаешь, на хазе мара ждет и сухари сушит? Или фикса во рту мешает, выплюнуть помочь? Я блатных уважаю, и левой рукой бью вполсилы, до аптеки доканаешь, а там медицина поможет! А может, сразу в ящик сыграем? – или только костыли обломать?

Петька-хулиган руку из кармана забыл достать, обалдел, и на фраера глаз открыл.

– Второй подправлять не будем? – интеллигент спрашивает.

– Чего второй?

– Шары-то полуторно шарят, забор был слева, а скос направо, на правый глаз примочку положим, и мир на обои стороны осимметряет!

– Ты кто? – Бесконвойный выдохнул.

– Я-то? Господь Бог твой! Непохож, что ли?

– Непохож будто...

– *Разуй люстры, падло!* Какого еще Бога хулигану надо? И этакий-то с лихвою хорош, а то б вовсе урку прислали, и сопи в тряпочку!

– Дак, что ж, по-твоему, хулиган и не человек вовсе? – обиделся Петька. – Подлизам да тихоням полúчнее что, а нам что поплóше?

В школе не вертись, чуть что – в угол или за дверь, на заводе премию если – так Петькина фамилия и не ночевала, а вот на суд товарищеский – кроме Петьки будто и некому! Ну вы там совсем офонарели – Бога и то какого-то блатного прислали!

– Не петушись! По курочке и яичко! Вчера в гастрономе стекло разбил?

– Один, что ли я? – Бесконвойный возмутился.

– Ну, не один, с дружками, но и ты бил. Горянов Таньку провожал – Горянова бил? Ну, тоже не один, тоже с дружками, когда Горянов с дружками шел, а ты один был – ты в подворотне прятался!

Да, ладно... Раз уж встретились, и Новый Год на дворе, старые грехи не стану поминать, и бить не буду, а совсем напротив, могу и какое-никакое желание исполнить. У нас, видишь ли, план по чудесам горит, вертелся как проклятый, а до ста одного процента все одно не дотягиваю! В октябре дачу одному построил – зарплата восемьдесят, дача на пятьдесят тысяч – хочешь?

– Давай! Но чтобы бар встроенный был, эта, как ее – сауна, и все как полагается...

– Впрочем, нет, не успеть! Времени осталось мало. Вот в ноябре я из-под следствия делегату одного вытащил – сто тысяч хапнул, я ему и шепнул – хапни еще полмиллиончика! – послушался, дело прикрыли... Хотя, правда, ты по другим статьям проходишь... А в декабре... да, в декабре я и вовсе учудил... Жаль только, второй раз не получится, через три часа год кончается. Ну, ладно, говори скорее, чего душе хочется, только водяры не проси, на мелочи я не размениваюсь, держи трешку, сам в гастрономе купишь, да вот тебе еще алтын на закуску...

Петька задумался.

– Чего ж бы мне больше всего хотелось? – подумал он вслух. – Дачу с сауной, вишь, некогда ему строить, а хапать по-крупному я не умею... Да, чего б такого загадать-то? А может быть, мне в какого другого человека превратиться? И жизнь тогда переменится, а то, по правде говоря, собачья жизнь у меня, утром думаешь, где бы опохмелиться, вечером – с кем бы подраться... Ну, все, решено, стану-ка я другим человеком! Вот хохма будет, когда к кирюхам заявлюсь – не узнают! И на бутылку есть, будет чем новую жизнь обмыть! Согласен, гражданин главный начальник, выполняй план, затевай чудо, гони мне жизнь новую, с иголки!

– Молодец, Петруха! Я чувствовал, что столкнусь с тобой, ты – с головой парень, и жизнь под корень видишь. Предлагаю на выбор – для души или тела? Да вон как раз писатель идет, новый роман вчера написал – представляешь? – слава, деньги, женщины... Ну, и

вино, конечно! В президиум посадят, цветы подносить начнут...  
Согласен?

– А, черт с тобой, где наша не пропадала, бывало и хуже... В писателя, так в писателя, посмотрим, что за хмырь такой, и с какой руки ему по очкам вмазать! Давай!

Откровенно-то говоря, Петька писателей этих страсть не любил как, а особенно за то, что в книгах своих они только над *положительными* слюни распускали, а как человек порядочный, нормальный – ну, то есть, *отрицательный*, так они его так замордуют, что только читаешь и плюешься; и вообще умников не любил, со школы еще, что учитель спросит, руку сразу и тянут, выйдет такой к доске и разливается соловьем... а тут, понимаешь, стоишь красный весь, слова все вылетели, а которые прилетели, попробуй те скажи, тут не к доске, а к директору пойдешь!

...Хотя, с другой стороны, за умниками этими девчонки что-то не особенно бегали ... и ночи, бывало, над Шеллингом просиживаешь, а придешь на танцы – все вокруг этого пустопорожнего Бесконвойного вьются и над пошлыми шуточками его хихикают... да, такие дела!..

Интеллигент-Бог вздохнул, посмотрел на часы печально – еще два чуда оставалось устроить, а времени в обрез, завернул за угол – и тут подошел неуверенно как-то, боком, понурый некто и в растрепанных чувствах.

– Простите, Вы ждете кого-нибудь? – неуверенно обратился понурый. – Извините, что беспокою, но мне показалось, что мы уже где-то виделись...

– Помилуйте, что за церемонии, я не барышня... Скучно в мире... А с кем имею честь?

– Петр Афанасьевич Горяйнов, писатель... впрочем, теперь уже бывший... Видите ли, вчера я роман закончил, позвал друзей, несколько глав прочел, хвалят, на премию, говорят, тянет, а сами в глаза не смотрят. Жена, конечно, радуется, вот-де тебя, наконец, напечатают, пальто купишь, пирог испекла, за бутылочкой даже сама сбегала...

А я как спать лег, вижу сон чудный, будто бы снова, как год назад, в Танины ясные глаза смотрю и клятву повторяю остаться верным мечтам и идеалам... с голоду, мол, сдохну, а идеалы не предам!

И вот встаю утром, в комнате холодно, а у нас в старом доме, в коммуналке, еще камин остались... Ну и растопил камин, сжигу, греюсь, жену греться позвал, как это ты, говорит, догадался камин затопить, совсем поумнел у меня, и горит-то как хорошо!

– Баракло потому что, – отвечаю. – Вот так легко и вспыхивает!

Эх, черт, лучше уж воровать да жульничать, да на ворованное машины и дачи покупать и Таньку по ресторанам водить, чем дүши доверчивые травить и обворовывать! Я вижу, и Вам невесело, так

может, сбросимся на бутылочку да и зайдем ко мне, благо жена меня сегодня покинула?! И никто нам мешать не будет?!

– Послушайте, Петр Афанасьевич, а Вы и впрямь так из-за Таньки голову потеряли, что рукописи в огонь швыряете, или идеалы покоя не дают?

– Да, видно, и то и другое – и подлецом быть совестно, и без Таньки жизни нет!

– Джайший мой и бесценный Петр Афанасьевич! – льстиво заговорил ненатуральным голосом известный нам *интеллигент*. – Благородством и талантом еще никому не удавалось покорить женщину, а вот если бы подарили Вы ей шубу французскую и колье с бриллиантами, то умнее и тоньше никакого во всем свете не нашла бы Ваша Танечка человека, чем Вы! – клянусь Вам ее прабабушкой Евой, которую я знал так хорошо, как художник знает свою картину, хотя и не я был ее первым учителем! Дело в том, что я – как бы это Вам сказать поделикатнее – ведь в Бога Вы не верите! – так вот, я – *всеобщая мера, начало Бытия и "Все во всем"*, как полагают отцы-иезуиты. Я тот, который не существует, но тем не менее мне надо еще пару чудес совершить, план горит, а время уходит. Вы мне нравитесь, и я хочу Вам добра... Хотите, я сделаю Вас решительным и богатым, и Танька Ваша?!

– А, делайте кем хотите! – махнул рукой Петр Афанасьевич, обрывая на пальто последнюю пуговицу, и тут вдруг ветер взметнул снег с сугроба и бросил в лицо.

– Ну и погодка! То дождь идет, то буря разыгралась! – с сердцем проговорил директор ресторана Петровани, бывший кавказский человек, а ныне ударник труда и кавалер трех грамот, и плотней запахнул кожаное пальто. – Ах, да счастливому человеку любая погода в счастье, а несчастному и на Олимпе холодно. Черт разберет этих женщин – то наглядеться, дура, на браслет не могла, то мне же его в морду швыряет! Ну, Танька, ну, дуреха, не видела ты еще изнанку жизни, а вот загремлю я по этапу, пусть с тобой этот прощелыга Бесконвойный бормотуху в подворотне пьет! Господи, и за что дуракам счастье?! Так уже устал я ловчить и изворачиваться, что кажется – а и черт с ними, деньгами, а предложи мне кто-нибудь всю свою сложность и ловкость забыть и превратиться в Бесконвойного – с радостью соглашусь!

Буря тотчас улеглась. Петька-хулиган обалдело озирался, в руке его лежала смятая трешка, Танька пробежала мимо, не заметив, а довольный Господь Бог потирал руки: "Ну, кажись, добрал я свои сто процентов, и премия будет!"

31.12.1982 г.

VI  
РОМАН И ЖИЗНЬ



## **НОВОГОДНЯЯ ФАНТАСМАГОРИЯ**

### ПРОЛОГ.

В канун Нового, две тысячи тринадцатого года в Петербургской филармонии давали праздничный концерт.

– Ты не знаешь, зачем я приехал в эту страну? Нет, ты не знаешь.

В Европе каждый день предсказуем, все дела расписаны на неделю, на месяц вперед, точно известно, всем, не только спец-службам, когда и где ты проснешься, когда и где ляжешь спать.

Здесь же ни в чем нельзя быть уверенным. Если тебя не ограбят и не убьют бандиты, значит ограбят и убьют менты, или правительство, или конкуренты.

Здесь мы боимся собственной тени, но зато, доживая до вечера, счастливы. Вот за этим счастьем мы сюда и едем! – горячась, говорил привлекательный мужчина лет тридцати пяти своему спутнику, мужчине уже в летах, но стройному и поджарому, с цепким взглядом юриста или сыщика или телохранителя.

Впрочем, он был и тем, и другим и третьим.

Импозантно одетая пара прогуливалась в фойе, давали вторую симфонию Малера, дирижировал сам маэстро.

Вдруг говоривший остановился и замер, восхищенный: мимо прошла другая пара, моложавая привлекательная мама и ее дочь, совсем юная девушка с распущенными длинными волосами. Она была не только красива, она была очаровывающа, на бледном лице сверкали, иначе нельзя было сказать, темно-синие очи, взгляд ее был высокомерен и презрителен.

– Друг мой, второе отделение тебе не удастся дослушать, узнай, кто она, это вопрос жизни и смерти. Если узнаешь, я поверю, что это ты выкрал у ливийского диктатора его самую красивую наложницу.

– Слушаю и повинуюсь, мой господин! – шутливо, однако с некоторой долей подобострастия произнес телохранитель.

Когда концерт окончился, он уже был одет и ждал своего хозяина с его меховым пальто. Они немного отошли от гардероба, но недалеко, Петров ждал пару, которая привлекла его внимание.

– Маме около сорока, она пробовала себя и в театре и в кино, в поэзии и в прозе, но с Одинаковым успехом, то есть безуспешно, – докладывал сыщик. – Дочери шестнадцать лет, вышел сборник ее стихов, прекрасно изданный, и немалым тиражом, вероятно, кто-то ей спонсировал.

В составе поэтической группы выступала на концертной площадке, пела под гитару песенки собственного сочинения, ее заметили, уже есть и поклонники. Говорит по-английски и по-французски, знает древнегреческий и латынь. Играет на фортепьяно, виолончели и скрипке.

В это время мама и дочь получили студенческого покроя куртки и отошли к зеркалу. Петров оказался рядом.

– Мадам, разрешите Вам помочь?! – обратился он к матери по-французски.

– Ах, может быть, месье знает английский? Я недостаточно хорошо говорю по-французски, не говоря уж о древнегреческом...

– Разрешите представиться, – ответил он по-английски, – граф Петров, кавалер мальтийского ордена, владелец «заводов, яхт, пароходов», гражданин Монако.

Небрежным движением он водрузил на плечи даме ее куртку и отобрал куртку у дочери.

– Надеюсь, Ваша юная дочь разрешит мне поухаживать и за нею?

– В отличие от мамы, я хуже говорю по-английски, но мы могли бы продолжить беседу на древнегреческом! – с вызовом ответила дочь.

– Лучше уж по-японски...

– Вы знаете японский?! – воскликнула красавица по-японски.

– Нет, к счастью, нет! Но я зато не забыл еще русский, и буду рад, если мы продолжим беседу на нашем родном языке. Я ведь не всегда был монашкой. Что до яхт и пароходов, то это истинная правда, в списке Форбс я на почетном семьдесят третьем месте.

Он протянул дочери буклет, где и впрямь на седьмой странице жирным шрифтом был означен граф Петров.

– Вы, сударыни, произвели на меня неизгладимое впечатление Вашей образованностью. Может быть, Вы знаете, какая звезда благоприятствует влюбленным на смене нынешних эр?

– Кассиопея! – ответила мама. – Но зато моя дочь – победительница международной математической олимпиады...

– и она знает, что дифференциал с интегралом не пересекаются... или в бесконечности... – добавила дочь.

– Сударыни, меня и моего спутника ждет автомобиль, я приглашаю Вас закончить беседу за чашечкой кофе в уютном ресторанчике здесь неподалеку, и затем мой шофер отвезет Вас домой. Тем более, что у меня есть к вам небольшое деловое предложение, оно отчасти имеет отношение и к Вашим стихам, мисс, – поклонился он дочери.

Только храните нашу встречу в тайне, я в России инкогнито, так как ваше правительство вынашивает планы меня выкрасть. К счастью, они не знают меня в лицо.

– Как романтично! – иронически протянула дочь. – Впрочем, мы, кажется, готовы уже согласиться, не так ли, мама?

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

В баре в гостинице Европейская в затемненном уголке на маленьком столике стояла уже блестящая новогодняя елка с настоящими свечами, официант зажег их, стало светло и по домашнему уютно.

Тонкий аромат кофе приятно щекотал ноздри. Надо сказать, что мама с дочкой за хлопотами забыли пообедать, к тому же эти билеты в филармонию не вписывались в их скромный студенческий бюджет.

Кстати, дочь училась уже на первом курсе в университете, и Вы будете недалеко от истины, если предположите, что ее специальностью была астрономия. Или математика. Или и то и другое. Впрочем, стихи она сочиняла и на лекциях, и между ними, и даже в метро. Она сочиняла их с пяти лет. С тех пор, как познакомилась с Пушкиным и решила его превзойти.

Заметив голодный блеск в глазах подруг (а мама и дочь были настоящие подруги, и все делили между собой, кроме кавалеров), граф велел принести маленькие бутерброды с икрой и мороженое. То и другое было принято с благодарностью.

– Ну-с, а теперь приступим к делу! – обратился к дамам граф по-французски.

Сначала замечу, что мое предложение покажется вам экстравагантным или оскорбительным, но я высказываю его со всей серьезностью и почтительностью.

На всякий случай, чтобы предупредить ваши сомнения о возможном моральном ущербе, который вы вправе усмотреть в моем последующем предложении, я выписываю вам чек на сто тысяч долларов. Формально будем считать, что это деньги за право издать Ваши стихи в переводах, – поклонился граф дочери и послал очаровательную улыбку маме, передавая ей чек.

– Чек, как вы видите, на предъявителя, вы можете подойти к стойке банка справа от нашего столика и проверить его подлинность, это даже необходимо, вы будете чувствовать себя более по-деловому.

Лука, проводи наших спутниц!

Дамы в сопровождении телохранителя отошли к стойке, через несколько минут вернулись.

– И что нам теперь делать с этим чеком?

– Спрячьте его в сумочку, мадам, мой телохранитель проводит вас домой и даст вам еще тысячу долларов, чтобы у вас были деньги на карманные расходы.. Что до чека, то будем считать, что это – Новогодний подарок, независимо от того, примете ли вы мое предложение, с которым я вас сейчас познакомлю, или нет. Если предложение будет принято, завтра мы улетим в Париж, если же нет, в Париж улечу я один, а вы останетесь в нищей России жить и, как говорится, и добра наживать.

Ну-с, приступим к делу!

Да, я волнуюсь как мальчишка. Если бы я был теперь в Монако, я бы не волновался. Там ко мне все отнеслись бы с пониманием. Но эта Россия... Знаете, народ здесь все таки гордый. Почти как в Польше. Или на Каймановых островах...

– Вы были на Каймановых островах?

– Легче сказать, где я не был. Я не был в Антарктиде. Но мы туда поедem послезавтра, если решим наше маленькое дело.

Итак, небольшое предисловие. На Западе (и даже в Занзибаре), словом везде, кроме России, отношения между женщиной и женщиной

имеют характер сделки. Заключается контракт, форма его уже разработана, вставляются только имена и сумма, которую получает слабая половина в случае его расторжения. Словом, мужчина, предлагая женщине совместное проживание, ее покупает. Но я более справедлив. Я выплачиваю стоимость покупки сразу, а при расторжении контракта – неустойку не меньшую первоначальной цены, независимо от причины расторжения. Но, предупреждаю, никаких прав на мои баснословные богатства. Только та сумма, которая будет обозначена при заключении нашей сделки. Иными словами, речь идет о купле-продаже.

Цену назначает покупка. Какую вздумается. Если цена мне покажется слишком высокой, я предложу свою. Но слишком можно не стесняться, я достаточно богат.

Итак...

Граф встал. Встали и дамы. Встал телохранитель. Все оглянулись. Рядом больше никого не было. Даже официант замер в отдалении.

– Мадмуазель! – продолжал граф по-французски. – Имею честь предложить Вам стать моей спутницей жизни на ближайший год. Вы посетите Монако, Антарктиду и Каймановы острова, и любые другие места на планете, где Вам захочется побывать.

Я не спрашиваю, любите ли Вы меня и готовы ли полюбить. Это не имеет значения. Я Вас просто покупаю. Если Вы согласны, назначьте цену. Считаю до семи. Если не согласны, телохранитель Вас проводит.

Итак. Один...

– Это неслыханно! – воскликнула мама.

– Два...

– Нормально, – парировала дочь. – Они только на это и способны.

– Три...

– Не трудитесь дальше считать...

– Четыре...

– Я же вам сказала, что я...

– Пять...

– Согласна. Миллион долларов. Мне. Я девушка скромная. Я еще заработаю. Пять миллионов маме. Она прожила трудную жизнь. Она имеет право на небольшие радости. К тому же ей надо устроить свою личную жизнь.

Но... У меня есть особое условие. Я думаю, что я не менее красива, чем Клеопатра. Но я не требую взамен Вашу жизнь. Только – как и Клеопатра, я продаю только одну ночь. Не более.

– Контракт действует в течение года, – холодно заметил граф. – Я готов согласиться с тем, чтобы Вы принадлежали мне только одну ночь, но в течение года Вы будете жить в моей здешней квартире (за исключением того времени, когда мы будем путешествовать, с Вашего согласия). Там две половины, они и раздельны, но между ними дверь, она не должна закрываться. Мы все таки должны хотя бы проживать вместе. Входя к Вам, я буду стучаться.

– Учтите, если Вы будете ко мне приставать, я Вас зарежу. Я каждый день хожу на занятия в школу восточных единоборств, там же я изучаю японский язык. Небольшой клинок спрятан здесь, в браслете, окаймляющем мое запястье.

Она нажала кнопку, и выскочил изящный клинок.

– Ну, что ж, будем считать, что мы обо всем договорились.

Тогда перейдем в главный зал ресторана, там сегодня Новогодний вечер, будет и посол Монако, я вас познакомлю. Переодеться можно будет в моем номере, портье проводит вас в костюмерную, вы выберете себе подходящую одежду. Телохранитель оформит контракт. В полночь вы его подпишете. Более того, я иду Вам на уступки. В последний момент Вы сможете отказаться. Если захотите, вы сможете остаться на новогоднем балу до утра, но я откланяюсь и исчезну.

Итак, разрешите Вашу руку, мадемуазель.

Лука, предложи маме руку!

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

Граф был не в духе. Он хотел прилететь в канун японского Нового года и нагрянуть неожиданно к жене-наложнице, но из-за сильных снегопадов самолет задержали, и домой он попал только в пятом часу утра. Из половины жены доносилась легкая музыка. Сбросив пальто и пиджак на спинку кресла и сняв ботинки, он подошел к двери, прислушался. Было тихо, только звенела в полутон музыка. Граф постучался. Дверь немедленно отворилась, словно его ожидали, за порогом стояла Ксения, с распущенными длинными волосами, в которые была вколота жемчужная диадема (подарок графа), с неизменным браслетом на запястье и... Больше ничего не было. Она стояла как Афродита, вышедшая из воды, только еще красивее.

– Вы не замерзните, мадемуазель? Разрешите, я отнесу вас в постель, а то можете простудиться.

Не ожидая ответа, он схватил ее на руки и понес в спальню. Постель была разобрана, но простыни не были смяты, следовательно, Ксения еще не ложилась спать.

– Вы что же, спите без ночной рубашки? Это мило, я не знал...

– Нет, сплю я обычно в ночной рубашке, – невинно ответила Ксения, но сегодня ночью мы с друзьями праздновали наступление японского Нового года, у нас был небольшой костюмированный бал, и это мой новогодний наряд. Я изображала японскую ведьму... или гейшу... или кого-нибудь еще, я не помню. Мы пили sake и шампанское, и у меня кружилась голова...

– И много у тебя было друзей?

– Трое. Мои товарищи по Школе восточных единоборств.

– Мужчины?

– Ну конечно же!

– А больше никого не было?

– Точно не помню... Кажется, была еще моя подруга. Да, точно.

– Ну, вот что... Сегодня я раздражен, у меня депрессия, мне нельзя оставаться одному. Я ложусь к тебе.

И он плюхнулся, как был в одежде, на кровать, и грубо схватил ее тело и прижал к себе. Ксения вывернулась как змея, в последнее мгновение граф выставил перед собою руку, клинок полоснул его около локтя. В следующее мгновение она выхватила из-под подушки пистолет.

– Он заряжен и снят с предохранителя. Неосторожное движение – и я нажму курок, я тоже на взводе.

Граф был человеком умным и осторожным, несмотря на экстравагантность своих поступков. Он предпочел с позором ретироваться, нежели мужественно лежать у ног Ксении с простреленной грудью.

### ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

Прошло полгода. «Супруги» уже успели слегка помириться, ездили вместе в Южную Африку, замерзали на Байкале, шли пешком по Гренландии, купались в Тихом океане, только попыток оказаться в одной постели ни та ни другая сторона не предпринимали.

Стояла золотая осень, вдруг разразился шторм, по дороге в Токио из Берлина самолет совершил вынужденную посадку в Пулкове, погода испортилась, ожидание в аэропорту наскучило, и граф приехал домой. Был поздний вечер, на половине жены звучала музыка, доносились приглушенные голоса.

С бутылкой шампанского в руке и тремя бокалами граф постучал в дверь.

Через несколько секунд она открылась, словно его ждали.

– Шампанское? Как мило? А почему три рюмки?

– Но ведь ты не одна? Я слышал голоса...

– Да, у меня гость, Петр Сергеевич, бродячий философ, вроде Диогена. Хочешь, я тебя с ним познакомлю?

– Тогда я схожу за водкой.

– Не надо, у меня есть, мы тоже отмечаем.

– Он твой любовник?

– Нет, что ты, я ведь девушка строгих правил! Он мой учитель.

Они прошли в столовую, философ был худой и выглядел и впрямь как бродяга. После трех рюмок, после тоста на брудершафт и «ты меня уважаешь?» граф заплетающимся языком сказал:

– А я ведь не представился. Граф Петров, мультимиллионер. У меня к тебе деловое предложение.

Я тебе даю миллион долларов и ты валишь куда подальше, хоть в Америку, но Ксению больше ничему не учишь. Идет?

– Нет, – серьезно ответил философ, словно бы и не пил. – Я ищу смысл жизни и пытаюсь стать человеком, деньги тут ни причем. Они даже мешают. С ними человеком стать трудно. Почти невозможно.

– Тогда я дам тысячу долларов бродяге в ближайшей подворотне, и он тебя зарежет.

– Твои проблемы это не решит. Только мои. Причем, ты не оригинален. Два месяца назад Ксения нашла меня умирающего в подворотне, она услышала, что мяукает кошка, пошла спасать бедняжку, а спасла меня. Судя по всему, второе убийство будет тем, что мне недостает, чтобы завершить свой путь. Я ведь не ишу счастье, не ишу блаженство, даже не ишу истину. Я ее уже нашел. Она состоит в том, чтобы стать достойным человеком, чтобы достойного человека видели во мне другие, и худшие завидовали. Если ты меня зарежешь и я умру и не воскресну, то я окончательно вочеловечусь.

У тебя много денег, но нет Ксении, а она у меня есть. Она мне не любовница, но мы любим друг друга, и я твердо уверен, я это чувствую так, как свое дыхание, что недостойного она любить не будет, сколько бы у него не было денег.

– Отчего же она мне продалась?

– Она была в начале пути. Человека подстерегают искушения. Ты ее искушил. Точнее, ты оказался орудием той жестокой силы, которая испытывает человека на прочность. А она ведь была хрупкой, почти ребенок, и теперь на тебе лежит тяжкий грех – ты испортил сразу две судьбы, и свою, и ее.

– Что ж, значит, деньги и достойная жизнь не совместимы?

– Все возможно на свете, но одно бывает легко, а другое... Возьми огонь и воду. Можешь ты их соединить, чтобы они были одним, как двое влюбленных? Ты можешь вскипятить чай в чайнике на костре, но каждый из них будет сам по себе.

– Я не удивлюсь, если окажется, что ты тоже пишешь стихи!

– Писал. Но уже бросил. Последнее стихотворение я сочинил сегодня ночью.

– Так что же мне теперь делать?

– Стать человеком.

– Но пока я им стану, мы уже успеем состариться, Ксения увянет, а я ведь полюбил в ней молодость, красоту и очарование.

– Надо довериться судьбе и чуду Преображения. Иногда и тысячи лет не хватит, чтобы дойти до вершины, а иногда для этого достаточно семи мгновений, как и для того, чтобы упасть в пропасть.

– Прочти свое стихотворение.

– Слушай...

Дождь льет в небесные дыры,  
И в них проникает свет истины.  
Счастливый иду я по мокрой улице,  
Глядя на крыши домов.

– Дай мне руку. Закрой глаза и представь, чего тебе больше всего хочется: богатство или Ксения, выбирай. Вместе они почему-то невозможны. Не знаю, почему, вероятно, она слишком хрупкий цветок, чтобы его можно было привить к нашей грубой жизни.

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

– Моя дорогая, ты молчишь уже семь минут, а обещала ответить сразу же. Владимир Игоревич ждет твоего ответа. Он сделал тебе лестное предложение, мне кажется, раздумывать нечего. И его босс...

На нее с улыбкой смотрел мужчина уже в летах, но стройный и поджарый, с цепким взглядом финансиста или разбойника. Впрочем, он был и тем и другим. Его спутник, лет тридцати, смущенно переминался с ноги на ногу.

Ксения встряхнула красивой головой и пронзительно на него посмотрела.

– Так Вы уже не граф? И не мультимиллионер?

Парень покраснел.

– Я сопровождаю графа в его поездке в Петербург и приставлен к нему от археографического общества. У графа есть ценные рукописи русских поэтов и он обещал их подарить России.

У меня к Вам два предложения, Вы хотели дать ответ через семь мгновений, а прошло уже семь минут.

– Да? Со мною что-то случилось, как будто я переносилась в будущее, и из него вернулась, но совсем не туда, откуда взлетела. Вы что, решили переиграть свою судьбу?

Парень покраснел снова.

– Возможно, что-то случилось и со мною, я словно бы видел странный сон... Но я уже все забыл.

– Покажите Вашу руку, около локтя. Поднимите выше рукав.

Владимир Игоревич подтянул рукав, около локтя белел шрам.

– Вы не помните, откуда он у Вас?

– Нет.

– А что Вы мне предлагаете?

– Во-первых, зайти в ближайшее кафе и выпить по чашечке кофе...

– А может, и по бокалу шампанского? – добавил босс по-французски.

– Я угощаю! Ведь сегодня же Новогодний вечер!

– А во-вторых, босс летит в Японию, и я его попросил взять с собой нас обоих. Вы ведь изучаете японский, а я его почти не знаю. К тому же, наш институт будет Вам платить командировочные. И вообще, я мог бы устроить у нас Ваш вечер, Вы бы читали нараспев свои стихи, а я бы играл на гитаре...

– Уж не влюбились ли Вы в меня?

– Вот еще! У меня большие планы по научной работе, в ближайшие годы глупостями заниматься мне некогда.

– И что, Вам совсем не жалко Ваших миллионов?

Молодой человек покраснел снова.

– Так Вы согласны или нет?

– Сколько времени Вы готовы ждать ответ?

– Вечно! – прошептал Владимир Игоревич еле слышно.

– Тогда я согласна.

27. 12. 2012.

## ВЕСЕННИЙ ЧЕЛОВЕК

Сегодня ночью я заболел ангиной. Проснулся в четвертом часу, долго полоскал горло, спать было тяжело, вспомнились вдруг школьные годы, время, когда я сочинил свой первый рассказ и прославился. С тех пор, вот уже пятьдесят лет, рассказы я почти не писал, и вдруг захотелось снова окунуться в действие, а не только в размышление, как все последние годы моей умозрительной литературы.

Воспоминания протекали во мне, как весенние облачка на сквозящем небе, я видел юные лица, слышал чарующие голоса, и сам я был и юн и чарующ.

Прошлое пришло ко мне не случайно, давила и болезнь, и окружающая жизнь, и все то, что вычитывалось в газетах: а хотя телевизор я не смотрю (да его у меня и нет), но газеты еще читаю.

А прочитываю я ужасные вещи, например, приехала в вымирающую деревню съемочная группа кино. В деревне работы нет, есть только самогонка и закуска, и последние старушки и последние вымирающие их дети. Режиссер собрал народ, оглядел, я, говорит, вас всех осчастливилу. Три месяца вы у меня будете как короли зарабатывать. На всю оставшуюся жизнь заработаете. Плачу по тыще рублей в день! (А они тыщу-то и видом уже не видывали). Работы много, и для плотников, и для столяров, и для землекопов. Будем снимать и батальные сцены.

Проработали так мужики два дня (а он платил им поденно), получили две тыщи, на третий день на работу не вышли.

Что такое?

Устали. Нам пока хватит. Езжай в другую деревню, там мужики еще свежие, еще не уставшие.

### 1.

Стояли прелестные дни конца апреля, когда небо было бездонно, солнце припекало, все вокруг словно было напоено музыкой. Но с утра было прохладно, и я одел куртку. К тому же продрались сзади мои единственные брюки, а куртка скрывала изъян.

День был воскресный, утром я сделал что-то по обязанности, а потом встречался с Алей, по ее просьбе.

Я кончал восьмой класс, мне было пятнадцать с хвостиком, а Аля заканчивала школу, у нее впереди оставались выпускные экзамены и начиналась взрослая жизнь.

Аля была самая первая, самая необыкновенная красавица в школе, да и в нашем городке, да, возможно, и во всей нашей Восточно-сибирской России, в которой красавицами трудно было кого-нибудь удивить.

Не только приударять за нею никто не решался, но даже смотреть.

Я был смущен, не столько от самой Али, сколько от проклятой дырки в брюках, а обнаружил я ее уже утром и зашить не успел.

– Идем на речку! – приказала Аля. – Да сними свою куртку, жара начинается!

Сама она была в весеннем платье, рукава были длинные, но на груди был небольшой прямоугольный вырез, который не столько открывал, сколько намекал, а намеки на меня действовали иногда пуще, чем самые откровенности.

Я шел, стараясь не поворачиваться к Але спиной, и курткой прикрывая себя сзади, поэтому был не так разговорчив, как обычно.

– Я вот о чем хочу поговорить с тобой... Ты всех с толку сбиваешь, вот что. Себя-то ты уже давно сбил, ну, тебе это, возможно, нипочем, но и самых толковых ребят из моего класса, мы собирались с ними вместе ехать учиться в Красноярск, в крайности в Новосибирск, а теперь они решили податься в Москву, им теперь ФизТех подавай! А мне что делать? Я теперь одна с девчонками остаюсь?

– Да это они мне сами про ФизТех напели, я тут ни при чем...

– Не оправдывайся, ты всегда при чем. Сейчас еще всю школу взбаламутил какой-то необыкновенной стенгазетой, дескать на весь край прославимся, уже корреспондент из Красноярска приезжал. Что десятиклассников от газеты отставили, это хорошо, но что моя Анька целый день вчера возле тебя делала? Учти, она еще в седьмом классе, голову ей не дури! Это она по виду такая большая, внутри она махонькая! Ей, может быть, еще рано читать Есенина? Да и тебе стоит ли, ты сразу под его влиянье попал, ну что ты пишешь: «Неустанно брожу по дорогам.» По каким дорогам ты бродишь? И почему неустанно?

– Но мы же идем?!

– По тропинке. К речке.

Речку нашу взрослый мужик перешагивал, а я, разбежавшись, мог перепрыгнуть. И все же там было хорошо. Росли кусты черемухи и акации, была запруда, в которой летом купались, а далее начинались совсем дикие заросли кустов, в которых прятались парочки.

– Постой, дай я с тобой померяюсь! О, да я тебя выше!

– Я еще расту. Не успеешь оглянуться, станешь мне по плечо.

– Вряд ли... Но не расстраивайся, я не в укор про рост сказала, не к тому, что, мол, ты еще не дорос, я тебя очень ценю, только оберегаю. Надеюсь, сама я больше расти не буду, сейчас у меня античные пропорции, на заключительном спектакле я буду играть Пенелопу.

А ты читай Блока, он тебе полезнее. И меньше про любовь, рано тебе еще. А тем более Аньке. И из драмкружка не перетаскивай таланты в свою стенгазету, театр важнее! Да не дергайся, нужно мне на твоей... на твою спину смотреть! Приходи к четверем, бабушка борщ сварила, велела тебя пригласить, я, собственно, за тем и пришла. И Блока у меня возьмешь. Да кстати, если что-то новое сочинил, тоже принеси. А пока будешь борщ доедать, я тебе брюки заштопаю!

(Хранил я эти брюки, хранил, даже уже когда у меня и новые появились, без дырки).

## 2.

В девятом классе жизнь закипела с утроенной силой. В сентябре нас посылали на картошку, я там влюбился в председателю племянницу, синеглазую девочку с модной городской прической: она училась в районном центре и уже начинала форсить.

Чтобы привлечь ее внимание, я сочинил рассказ, редактору районной газеты он понравился, напечатали его в двух номерах, на разворотах – рассказ получился длинный.

Начался скандал чуть не всероссийского масштаба. Редактора от работы отставили. Меня вызвали на какое-то расширенное судилище, где заседали чины чуть не с генеральскими лампасами. Завуч школы, Мария Андреевна, испуганно меня уговаривала: Я поставила в обсуждение тему «Границы вымысла в современной литературе. Влияние попутчиков». Ты должен будешь признать, что в рассказе большая часть нетипична для советской действительности, мы тебя пожурим, пообещаем провести общешкольное обсуждение, а ты пообещаешь рассказ творчески переработать, дескать, на ошибках мучимся...

Я так и пообещал, но один там запел про оппортунизм, я ему и врзал, дескать, сегодня на повестке дня борьба с догматизмом, догматики свою узость и скрывают за старыми песнями.

Кончилось тем, что меня исключили из школы.

Впрочем, это было не впервой, в седьмом классе исключали за Дневник, тогда это переживал я трагически, а теперь в дни неожиданных каникул я бродил свободно по городку и пожинал плоды славы. Все почти были на моей стороне. Седовласые старцы переходили улицу, чтобы пожать мне руку.

В один из солнечных дней середины октября побежала через улицу ослепительная красавица в том же весеннем платье с прямоугольным вырезом.

– Ага, упиваешься славой? Скоро в кабаках начнешь стекла бить, как Есенин? Кстати, моя бабушка его притязания отвергла, вот так! Хотя он и посвящал ей стихи. А ты мне всего одно, да и то, может, Аньке...

Читали мы в общежитии твой рассказ, я думаю, что это все чепуха. Начинаешь с того, что, дескать, водка полезна, потом ты со своим беспутным дядей пьешь эту гадость, идете в музей и разлагольствуете, что обнаженные девушки привлекательнее, поэтому, мол, у греков скульптура и была на высоте. Ну где тут политика? Чепуха есть, а политики нет! Я вчера приехала, встречалась уже с Артемом, он теперь освобожденный секретарь, собирал бюро, поставил вопрос об исключении тебя из комсомола. Я ему и говорю, как же вы его исключите, если он никогда не был комсомольцем?

Посмотрел на меня безумными глазами, говорит, ничего, мы его сначала заочно примем, а потом исключим, чтоб другим неповадно!

Это, говорю, ты Василечкиного Дневника начитался? Тебе бы в монастырь пойти, грехи отмолить, а ты упорствуешь! Революционная бдительность все никак не угомонится!

– Узость и догматизм. Парень он не такой уж плохой, но догматизм его съел.

– А ты откуда такие слова знаешь? Ах, да, ты же с семи лет газеты читаешь, я и забыла!

– А сама ты откуда знаешь про газеты?

– Анька рассказывала. Узнаю, что ты ей стихи посвящаешь, убую! Обоих. Я, может, народоволка...

А кстати, как тебе мое платье?

– Да ведь это то самое, в котором ты весной щеголяла.

– Я его перешила. И вырез сделала больше. Постой, давай примеримся. О, мы уже сравнялись! Это ты не меня ль догоняешь? Только смотри, не перестарайся, чтоб не перегнать!

Тут, отчего-то, мы смутились оба.

– Приходи к четверем на борщ. Я ведь в Москву перевожусь, представь? Дядю реабилитировали, и квартиру вернули, буду к нему на лекции бегать, учиться в университете. До лета уже не увидимся. Вот так. И, наконец, по секрету. Я с Марией Андреевной разговаривала, исключение твое отменяют, завтра будет решение Рона, и во вторник возвращаясь в школу. И даже редактором Стенгазеты остаешься. Ты у нас теперь всенародный любимец, не только отдельных... Ладно, ждем на обед...

### 3.

Прошло двадцать лет! С Алей мы не виделись ни летом ни зимой, потом я сам уехал в Питер учиться, потом закрутила и меня новая взрослая жизнь.

В Питере апрель тоже бывает чудный, с необыкновенными запахами, струением воздуха и света и каким-то таким сдвигом всего бытия, когда головокружение мира начинается с утра и не кончается даже к ночи.

И вдруг в такой ясный апрельский день (а я, по счастью, был дома) раздался телефонный звонок.

– Вася, это ты?

– Да, я.

– А мы звоним с Невского, из автомата. В справочном дали твой телефон. Ты представь себе, я иду по Невскому, думаю о тебе, а навстречу Аля! Такая же, как была. И тоже, ты не поверишь, в этот момент о тебе думала. Она предлагает встретиться. Ты не против?

– Я встречу вас у метро через полчаса, приезжайте.

Они привезли с собой бутылку коньяку, с помощью Али я приготовил закуску, сели, налили рюмки.

– Ну, что, за встречу? – спросила Аля.

– А можно, я первый скажу? – попросил Артем. – Мне Аля сказала, чтобы я тебе смело звонил, что ты ничего, дескать, не помнишь из прежних детских обид, к тому же на твою долю выпали испытания, которые заслонили, как она думает, все прежнее. Мы ведь знали, что ты

сидел, и где ты сидел, и все, кто тебя знал, за тебя переживал. Видно, у тебя такая судьба, все время попадать в передряги.

А помнишь, в десятом классе тебя опять исключили, теперь уже за любовь? Даже не верится... Ты встречался с практиканткой...

– Конечно, помню.

– Я уже учился в институте, но тобою по-прежнему интересовался. Между прочим, я звонил в Роно, там у меня родственник, может быть, и мое заступничество тебе в тот раз помогло.

А еще я тогда вышел из комсомола, был большой скандал, меня исключили из института, не помогло даже заступничество родных.

Ну, ладно, постараюсь короче.

Так вот, короче говоря, язва прошла через мою душу, и до сих пор. Ты что-нибудь помнишь, что тогда было?

– Конечно помню! Я не такой хороший, как обо мне думает Аля. Царапины и во мне не зарастают. В тот год, когда я учился в седьмом классе, мы ведь с тобою жили в одной комнате в общежитии...

– Не знаю, простишь ты меня или нет, но я пришел попросить тебя прощения. Даже если ты меня не простишь, мне уже будет легче, я повинился.

– Дружище, я ждал тебя двадцать лет. Молодец, что ты пришел. Это самая счастливая минута в моей жизни! Если ты хочешь выпить за забвение, то я согласен. Представь себе, я часто переписываю свои стихи и рассказы, почему бы не переписать одну страничку из жизни?

– Нет, я ее переписывать не буду. Она меня учила жить. И я ей благодарен. А за то, что ты меня простил, спасибо!

Когда бутылка была выпита, Аля повела меня на кухню поговорить наедине.

– Нам уже пора убегать, через два часа поезд. Поэтому моя исповедь будет тоже недолгой. Помнишь наше знакомство? Тебе было одиннадцать лет, ты стоял возле кабинета директора и безутешно плакал.

– Меня не хотели брать в эту школу...

– А я была тринадцатилетней девочкой с большими глазами и розовым бантом. Мне тебя стало так жалко, что я решила, что буду тебя защищать. Как оказалось, в первую очередь от себя самой.

Через год моя сумасшедшая тетя, она работала в бухгалтерии машинисткой, начала на машинке перепечатывать твою детскую повесть, ни больше, ни меньше, как о войне. Я ее читала. И она даже произвела на меня впечатление. Потом один раз мы играли с тобою в спектакле, ты играл девочку, и мы должны были с тобою поцеловаться. Но мы оба смутились и целоваться не стали. Вот уже и юность почти вся прошла, не знаю, встретимся ли, а мы с тобою так и не поцеловались. Я тебя как-то не так любила, как надо, не как мальчишку, а скорее как ту девочку из спектакля... или того маленького плачущего мальчика, которого встретила в первый раз. Если бы ты знал, сколько раз я сама проплакала из-за тебя! Закрой глаза, я тебя поцелую. Так, как хочу!

## 4.

После этого прошло еще двадцать два года, я был без работы, в школе вакансий не было, научные учреждения закрылись, я продавал постельное белье, картошку, разгружал даже вагоны на товарной станции. И вдруг мне предложили поработать полтора месяца в школе, в группах учащихся, готовящихся и к выпускным экзаменам и к поступлению в вуз. Работа была ежедневной, по четыре часа подряд. Предполагались между уроками перерывы, но школьники не давали мне перерваться.

Однажды после уроков одна из учениц попросила меня задержаться и объяснить, почему ее решение не совпадает с ответом. Она взяла мел и написала на доске свои действия, держа тряпку в левой руке.

– Дай мне мел, я зачеркну лишние действия.

– Нет уж!

– Ну дай тогда тряпку! – и я начал отбирать тряпку. Невольно наши руки соприкасались, и вдруг мы оба замерли. Я словно бы поскользнулся и упал в ее сине-голубые с рыжинкой глаза. Поскользнулась и она.

Я попытался обратить все в шутку и сказал: – Вот в чем дело, я уже начинаю видеть сны наяву.

– А я их уже вижу давно! – ответила она.

Ни слова не говоря, я быстро собрался и пошел из класса, но на пороге обернулся.

Девочка помахала мне рукой и подняла выше голову, словно говоря, что она выше судьбы.

На следующий день после уроков я уже пошел домой, как на улице меня догнал какой-то мальчишка и попросил срочно вернуться в школу, якобы меня вызывают к директору.

Около школы, у небольшого садика с кустами черемухи и большой белой березой стояла она.

– Не спешите, никто Вас не ждет, кроме меня. А я улетаю в далекие страны... – она пропела последние слова. – Нет, правда, я улетаю завтра утром. В Аргентину. Надолго. И, возможно, мы больше не увидимся. Вот видите, ваша жизнь складывается по-прежнему трагически, а теперь еще и моя.

Я смотрел на нее недоумевающе.

– Я читала Ваш роман, так что почти все о Вас знаю. Я вымечтала вас еще до знакомства. Кстати, вот эта береза называется Исполнительницей желаний. Надо только взяться за руки и обойти вокруг нее три раза.

Пойдемте?

Как во сне, я повиновался

– Может быть, меня уже пора расстрелять?

– За что?

– За то, что я внушаю неправильный образ мыслей и чувств своим ученицам, а, возможно, и себе самому. Конечно, я просто сплю, а во сне человек не всегда отдает себе отчет в том, сколько ему лет и кто он такой.

– Я тоже сплю, но все прекрасно сознаю и вижу. Передо мной мужчина неопределенного возраста, скорее старый, чем молодой, но улыбающийся, как будто ему шестнадцать лет. Сознайтесь, вы себя именно таким ощущаете?

– Да, верно...

– Ну, вот. К тому же, я вас воспринимаю как некий образ из сна.

Мы обошли вокруг березы один раз и тут она резко остановилась.

– Я умру. Поддержите меня, я теряю сознание...

Я взял ее сильно сначала за локоть, потом за талию и почти прижал к себе, чтобы она не упала.

– И на Страшном Суде я покажу, что Вы ни в чем не виноваты. Наступила эпоха безвременья, теперь после зимы сразу приходит лето, весны больше нет, и только Вы – человек-весна. Вы – апрель. Или май. В Вас, может быть, тоже все пороки, как и в других, как и в земле черт его знает что, и щепки, и кора, и камни, и перегной, и глина и песок. Но из земли растут цветы, а из Вас растет головокружение. И мне наплевать, сколько вам лет, пусть даже сто пятьдесят. Мне ведь хочется влюбиться, но не в кого. Кроме Вас никого нет. Это не значит, что Вы такой хороший, вы довольно плохой. Но другие еще хуже.

Я остановилась не потому, что мне жалко себя. Мне показалось, что если мы сделаем еще два круга, сбудутся все мои желания, а я не выдержу этого. У меня болит сердце, я изнемогаю, я не метафорически, а буквально умру. Я остановилась, потому что защищаю Вас, как сказала бы сестра моей бабушки тетя Аля. Что Вы будете делать с мертвой девочкой на руках? Или умирающей? Или еще живой, но готовящейся к смерти? Я знаю, что я не первая прыгнула с карусели, которая нас вертит в круговороте жизни, чтобы подойти к Вам. И я знаю, что Вы спуститесь за мной в пропасть, в которую я Вас поведу.

Но мы расстанемся. Давайте только на прощанье посмотрим друг другу в глаза, и сразу же уходите.

Она взяла меня за руку, приблизила лицо, так что наши губы почти соприкасались. Мы начали падать. Два чувства я испытывал одновременно. Безоговорочную необъяснимую катастрофическую любовь маленькой шестнадцатилетней девочки, губы которой почти не трепетали, но я словно бы слышал, что она кричит: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

И такую же разрушительную, как камни в землетрясении, мою собственную любовь, надземную и земную, или даже подземную!

Святую и порочную вместе. К ее взгляду, дыханию, словам, трепету губ. И к ее безгрешной еще плоти, которую мне хотелось сорвать как цветок и владеть безраздельно.

Переселение душ?

Порабощение тел?

Или та райская чушь,

Которой человек не хотел?

Которой не хотели вдвоем...

А собственный нам не построить дом...

## **ВЫДУМКА ПРАВДЫ И ПРАВДА ВЫДУМКИ**

Сочиняя рассказ, я выдумываю события и героев; ибо если описывать реальность, то для описания одного только чувства или мысли надо, быть может, всю жизнь мою описывать, иначе непонятно будет, почему я думал или чувствовал именно так а не иначе, следовательно, надо писать роман, а не рассказ.

Но если роман – зеркало, отражающее *все мое*, и вчерашний день тоже, а рассказ – всего лишь осколочек зеркала, то разве не может и в осколочке *все мое* отразиться, как в небольшой части обыкновенного зеркала отражается солнце и облака впридачу? Но здесь – новая проблема, ибо надо ли отражать праздного прохожего, остановившегося у витрины магазина... Почему современная живопись – только дым? Потому что у прохожего есть и тело, и душа, а воссоздает ли современная живопись хотя бы его тело? Снимите верхний красочный слой – под ним, как под кожей, должны открыться капилляры, а еще глубже и сердце и душа, ударьте по холсту или по дереву иконы ножом – и должна потечь кровь, положите срез под микроскоп – и не пустота должна обнаружиться между редкими неровными мазками, а плотность плоти, в которой нет пустоты, а только неисчерпаемость.

Вот, скажете, хватил! – кистью и краской создать живое тело и кровь алую?!

Но разве мой приятель Петр Афанасьевич непил две недели кряду не закусывая, и разве перестала у него течь кровь? Так хуже ли простой древесной водки небесный сурик?

А еще скажу о душе: остановился глазающий у витрины, и поворот фигуры и выражение лица, и может быть даже чувство, промелькнувшее в это мгновение, может передать и фотография. Но живопись тщится изобразить не исчезающую грань между прошлым и будущим, не то, что живет только одно мгновение, а в следующее уже перестает быть собой, но именно и прошлое и будущее вместе.

Искусство, или поэзия, прикасаясь к преходящему, выявляют в нем неисчезающее, оно – гаданье цыганки, остановившей бегущую на свидание молодницу: *Постой, милая, не беги от судьбы, я объясню тебе, что – было, открою – что будет, и тогда узнается, на чем успокоится сердце. А были в твоей жизни легкие измены, но любви не было; а будет и измена и любовь несчастная; и сердце успокоится в сырой земле.*

Вот мое отношение к искусству и литературе, и теперь мне не надо будет оправдываться перед читателем за разбросанность мысли.

Я, видите ли, вроде того чудака, который сразу на все четыре стороны света бежит.

И я еще и тот чудака, который, о чем бы ни думал, чем бы ни занимался, что ни писал, думает и пишет только об одном. *Как и для чего жить, да и жить ли вообще?*

Сравнивая детскую жизнь с взрослой, видишь, что детская жизнь – игра, воображение, скаканье на палочке и возня с куклами, преувеличенное вниманье у девочек к тому, что, кто и как сказал, раздуванье обид и вымышленные обиды; шум и телесная возня у мальчиков, с беготней, потасовками, нелепыми выкриками – и ничего созидательного!

А взрослые большую часть сил затрачивают на созидание, делают жилища, одежды, хлеб выращивают, конструируют и производят машины и магнитофоны, да еще и театры устраивают.

Но живешь-живешь, на собственную жизнь пытаешься глубже взглянуть, и неожиданно приходишь к другому, парадоксальному выводу.

Если условно разделить человека на два существа, на физическое и на духовное, то и вся его деятельность разделится на две части – физическую, вроде вспашки земли или стоянья у доменной печи, и духовную, включающую переживание обид, влюбленье-разлюбленье, познание и размышления, восторг и разочарование, и главнейшее из всего – усилие понимания – *зачем живу и как жить надо*.

Детская игра есть и у взрослых в форме театра или чтения книг, но вот самого главного – усилия понять, зачем и как жить, – то есть того единственного, что только у человека есть, а у птиц небесных, и то нет – этого то нет у взрослых. То есть было – да сплыло! Устали понимать, сделали вид, что поняли, или в сутолоке все потеряли, кроме того, что есть и у птиц – то есть сначала летать туда-сюда искать подругу, чтоб вместе гнездо вить, затем носить веточки на это гнездышко, яички откладывать, высиживать птенчиков, комариков ловить, себя и деток кормить, от ястребов отбиваться, гнездо чинить, деткиных деток кормить – а там уже и крылья носить перестали и в гнезде места мало.

Значит, начальные годы жизни, с игрою в куклы и разбойники, с бросаньем за шиворот девчонкам лягушек и тяганием их за косички, с неведением житейского, – и есть подлинная жизнь Души, а вся последующая, когда гнездо, и птенцы пищат, и червячки в клове – прозябанье.

Правда, взрослые противопоставляют безмятежности и неведению Детства свое Ведение, приобретение знаний и житейского опыта. Что до последнего, то каждую новую частичку опыта я бы сравнил с ожогами, царапинами, потергостями и заплатами. Вот на мне свежая белая рубашка и свежий цветок в руке – это символ моей наивности, неопытности; а вот уже я в испачканной рваной рубаше, с синяком под глазом, с запахом вина и табака, с недоверием в глазах, избитыми мудростями на устах, осторожностью в мыслях и вороватостью в движениях – это уже я, умудренный житейским опытом. А о чем разговаривать? Вокруг нас сиянье солнца, душистые запахи трав и цветов, щебет птиц, синее небо и белые облака, алая заря и чистая радуга – разве взрослый, несущий свой крест на плече, видит это, и имеет силы говорить? Уж разомкнет уста и распрямит спину, – так цены на масло и повышены зарплаты, завтрашние болезни и вчерашнее похмелье, неисправный кран на кухне – и снова крест на плечи и ползти, ползти, а крест все тяжелее и гора круче!

## Философская лирика Василия Чернышева

Эта книга философской прозы и созвучной высокому строю песен царя Давида лирики приходит ныне к читателю своей трудной стезей, неотделимой от общего крестного пути России XX века.

Путь же этот выдвинул из сонма ее сынов и тех, что не отреклись от нее ни ради шкурнического расчета удержаться при "рогатых хозяевах жизни", ни просто впав, по причине своей душевной убогости, в идиотическое состояние Ив́анов не помнящих родства. Нет! Единственной целью своей жизни они избрали поиски потерянного рая – Святой Руси, поиски ее воскрешения и преображения хотя бы в своих поэтических грезах и умозрительных мирах. Но как бы ни был возвышен, замкнут и отрешен от земного праха и злободневных дел этот чисто духовный, романтический эксперимент, его авторов неукоснительно постигала известная участь – психиатрические больницы, тюрьмы и лагеря. Не избежал ее и Василий Чернышев.

Существовать нелегально по отношению к прославлявшей себя до недавнего времени эпохе – едва ли не самый доминирующий знак его судьбы. Он и на свет появился в самый смертоносный, как бы запретный на жизнь, год в судьбе своей страны (1942-й), когда ни на что, казалось, другое, кроме как на минимум надежды касательно своего выживания и на максимум истребительных побуждений по отношению к врагу не был способен человек. За рождением последовал другой факт нарушения должного – крещение в младенчестве, запрещаемое идеологическим диктатом эпохи. Следующим отступничеством явилось позже такое же тайное венчание.

Нарушением (и, несомненно, дерзким!) было и то, что Чернышев, оказавшийся в будущем диссидентом и антисоветчиком, принципиальным последователем изгнанных из страны философов-идеалистов, родился не в каком-нибудь из столичных городов, с их всегда готовой противоречить властям, идейно ненадежной интеллигенцией, а в глухой сибирской деревушке (Иркутская область, село Урал), в глубинах и толщах тех самых любезных правящей партии "масс", верноподданность которых она мнила несокрушимой.

Расплачиваться ему пришлось, когда к цепи этих относительно еще мелких нарушений присоединилось обнаруженное "недреманным оком" карательного органа власти крупное его преступление – мышление и чувство вразрез эпохе (называвшейся, кстати, в начале 1970-х ни мало, ни много "эпохой развитого социализма").

Ее уход – в связи с наступившей ныне в России переменной исторических декораций – отнюдь не спровоцировал ее недавнего отщепенца и заложника на какое-либо чрезмерное выражение своего праведного гнева по отношению к ее "деяниям". Личный прошлый конфликт с нею он, следуя своим философским, глубоко христианским, убеждениям, включает в более общую проблему осмысления сложных и, скорее всего, неразрешимых противоречий человеческого бытия.

Острее всего заявлена в книге Чернышева проблема сегодняшней России. Он, например, не принимает весьма призывно сейчас звучащих и давно, по сути дела, знакомых деклараций о любви к ней как таковой, вне какой-либо соотнесенности с уроками истории. Испытавший эти уроки на себе, автор книги дополняет такие призывы существенной поправкой. Целью любви должен стать человек, а не идея и фикция, не государственный Левиафан. Великий и светлый Национальный Дух и нечеловеческий, злокозненный Демон Государственности неразделимы, к сожалению, в историческом теле России, на котором, в частности – позор семидесятилетнего "сожительства с тиранами", "миллионы истуканов, расставленных по городам и весям" при разрушенных и оскверненных храмах. ...Россия, "предавшая свою веру, своих поэтов и пророков!.." Такая Россия нуждается не в возвеличении и поклонении, а в покаянии и искуплении, тем более, что в ней так и остались, по большому счету, не разделенными палачи и жертвы (сами нередко рекрутировавшиеся из палачей).

Путь России к исцелению и Возрождению, по мысли автора книги, только один – через Преображение в Духе и прежде всего "преображение" самого русского человека в "новую личность, вырастающую из Духовной Свободы и воплощающую... мистическую глубину, возвышенную любовь и полноту национальной культуры и судьбы..."

Вопросам становления и развития такой личности всецело посвящен объединяющий творчески, художественно ярко выраженные силы русского Возрождения журнал "МЪра" (выходил с 1993 года по 1997-й в Санкт-Петербурге). Одним из его учредителей, а также главным редактором и являлся Василий Чернышев. Духом этой же идеи Возрождения и Преображения России проникнуты и составляющие настоящую книгу произведения, значительная часть которых впервые увидела свет на страницах этого издания.

*А. Михайлов*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### **I. РОМАНТИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ**

Поляна в лесу	4
Ландышевое половодье	15
Благословенна боль	24
Ведьма	46
Пети-мети	61
Учитель освобождения	66

### **II. ВОЛЯ И СУДЬБА**

Записки отщепенца	70
Бога нет!?	93
Разговоры с бабой Шурой	111
Больные сны на исходе белых ночей	154
Последняя пятница	184
Рубашка ближнему	191
Женская доля	197
Простое дело	201

### **III. СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ**

Любовь под открытым небом	206
Ночь перед полетом на небо	215
Встреча не на всю жизнь	227

### **IV. ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОРИИ**

Горчичное зерно	231
Канун Старого Нового года	250
Сказка о царевиче-Постреле	258

### **V. НЕСЕРЬЕЗНЫЕ РАССКАЗЫ**

Повесть про академика Грота	273
Похвала трезвости	279
Новогодние приключения «Не всех дома»	287
Чудесные превращения	290

### **VI. РОМАН И ЖИЗНЬ**

Новогодняя фантазмагория	296
Весенний человек	304
Выдумка правды и правда выдумки	311
<i>А. Михайлов. Философская лирика</i>	313

Василий Иванович Чернышев

**МЕТАФИЗИКА ЛЮБВИ**

книга 2

**ПОЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ**  
(Рассказы и повести)

Подписано в печать 4 мая 2018  
Формат 60x90 1/16 19,75 п. л., 316 стр.

Текст книги размещен на сайте  
[spb-pisateli.ru](http://spb-pisateli.ru)

«НАПИСАНО ПЕРОМ»  
Санкт–Петербург, 16 линия

**Печать по требованию**

Санкт–Петербург  
2018